

# ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

5

КНИГА

МАЙ

1947

ОКтябрь

1947

# ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА  
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

*ГОД ИЗДАНИЯ XXIV*

5  
КНИГА  
МАЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
МОСКВА 1947



# Белая берёза

Роман

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Шумел листопад. Леса покорно и печально, почти не стихая, поросили листвой. Когда налетал ветер, тучи листвы поднимало, кружило в просторной вышине и несло на восток, и тогда казалось, что над унылой, осенней землёй бушует багряная метель.

В этот день Андрею было тяжело и грустно, как никогда в жизни. В полинявшей гимнастёрке, со скаткой шинели и винтовкой он шёл неровным, усталым шагом, часто обтирая запылённое лицо пилоткой, и сам удивлялся, что идёт: так плохо чувствовал под ногами землю. Шум листопада наполнял его душу тоской и тревогой. Эта осень ворвалась в родные места хотя и в положенное время, но всё же, как думал Андрей, как-то внезапно и дерзко. И только она ворвалась, — весь край родной наполнился запахами увядания и тлена. Андрей не мог спокойно смотреть на сверкающие холодной позолотой леса, на голые, обнищавшие поля и видеть, как всюду торжествует жестокая сила осени.

В полдень, остановившись на гребне взгорья, Андрей с большой тревогой осмотрелся вокруг. По лощинам понуро тащились толпы солдат. На дорогах, в белесой мгле пыли, ползли колонны машин и обозы. В просторном поднебесье тянулись на восток немецкие самолёты, сверкая на солнце серо-жёлтой беркутиной покраской своих плоскостей; они с воем бросались на дороги — и над землёй взлетали чёрные, кудлатые султаны дыма. Андрею почему-то подумалось, что его батальон заблудился в страшном

мире ветра, стога и грохота. Обтерев лицо пилоткой, он крикнул:

— А мы... куда надо идём?!

Отделённый командир — сержант Матвей Юргин, высокий, смуглый и угрюмый сибиряк — ответил со злобой и горечью:

— Оно и не туда бы надо, да что сделаешь?

— Дальше куда же? Сюда?

— Шагай за мной!

Отступали бездорожьем, плутая по лесам и болотам, по которым уже проходили наши части. Всюду валялись винтовки, гранаты, вещевые мешки, противогазы, каски... Андрею вдруг захотелось подбирать это добро, и он быстро набрал много разных вещей. Увидев его с ношей, Матвей Юргин задержался и удивлённо спросил:

— А это... это зачем?

Андрей свалил наземь груды потрёпанной амуниции и оружия, осмотрел её так, будто сомневаясь, что мог нести такую тяжесть, и сказал осуждающе:

— Вот, бросают!

Матвей Юргин поймал его за руку, спросил тревожно:

— Что с тобой? Захворал?

— Видишь, какая осень? — не ответив, прошептал Андрей. — Здесь не бывало такой.

— Осень шумная..!

— Страшная, — шопотом возразил Андрей.

— Ты захворал, — убеждённо заметил Юргин. — Горишь, а?

На склоне небольшого пригорка, у самой дороги, одиноко стояла молоденькая берёзка. У неё была нежная и светлая атласная кожица; казалось, что от неё струился, как марево, тихий свет. Берёзка по-детски радостно встряхивала ветви, точно

восторженно приветствуя солнце. Играя, ветер весело пересчитывал на ней звонкое червонное золото листы. Было что-то задорное, даже дерзкое в её одиночестве, и солдаты, проходя мимо, ласково кричали ей:

— Эй, милашечка, айда с нами!

Андрей увидел эту берёзку и сразу понял, что сама природа одарила её чем-то таким, что на века утверждало её в поле. Внезапно свернув с дороги, Андрей подошёл к берёзке, чувствуя, как что-то рвётся у него в груди...

С ранних лет Андрей любил берёзы большой, властной, самому непонятной любовью. Он любил смотреть, как они, пробуждаясь весной, ошупывают воздух голыми ветвями. Любил запах их листвы, густо брызнувший на заре. Любил смотреть, как они шумно водят хороводы вокруг полян, а зимой протягивают к окнам ветки, опущенные инеем, и качают на них краснобрюхих снегирей...

Матвей Юргин окликнул Андрея с дороги. Тот не обернулся, не ответил: торопясь, он сбрасывал скатку шинели. Тогда Юргин, торопливо подойдя к Андрею, сказал, сузив глаза:

— Ты что — отстать хочешь?

Андрей взглянул на сержанта и глухо сказал:

— До каких же пор отступать будем?

Юргин удивлённо отступил. Он никогда не видел Андрея таким. Это был солдат кроткого, доброго нрава; на его красивом, задумчивом лице всегда ровным весенним светом светили родниковые глаза. Что с ним стало? Лицо Андрея горело тёмным, сухим румянцем, глаза были полны глухой тоски и слёз. И шептал он запальчиво:

— До каких мест? До каких?

— Ну, ну... На это командиры есть. Они знают. Дадут приказ — встанем. Чего ты?

Андрей вдруг опустил на землю у берёзы и с минуту сидел, не трогаясь с места, прикрыв руками глаза. Потом взглянул на запад. Там стояла, занимая весь край неба, багроводымная темь. В ней вспыхивали зарницы. А по унылым, осенним полям

всё мела и мела лиственная метель. И Андрей с тяжкой болью в голосе спросил:

— И зачем они пришли к нам? Зачем?

Юргин промолчал, понимая, что Андрей не ждёт ответа, и поднял его скатку с земли. Тогда Андрей, не оборачиваясь на восток, где стояло тёмное еловое урочище, доверчиво сообщил:

— За лесом — Ольховка.

— Твоя? — удивился Юргин.

— Моя...

И Андрей ещё с минуту сидел у берёзы, не трогаясь, прикрыв руками глаза...

## II

Батальон долго шёл сквозь дремучее урочище. Здесь было душно от запахов сырости и застойной тишины. По сторонам от вязкой дороги вздымались замшелые ели, раскинув свои ветви-невода. Под елями стояли, немощно сгибаясь, худосочные, заржавленные ольхи, от рождения не видавшие солнца. На дремотных полянах и проредях виднелись гнилые болота.

Под вечер батальон вышел из урочища, и все увидели впереди открытое взгорье и на нём — большую деревню. Это и была Ольховка. Повсюду над ней высоко поднимались ветвистые берёзы; мягкий и радостный свет, исходящий от них, весело освещал всё взгорье. Солдаты прибавили шаг. Поднявшись к деревне, многие из них сразу же устало опускались прямо на землю у крайних домов, у огородных плетней. Большая группа солдат с флягами столпилась вокруг колодца у околицы.

Сюда завернул и Андрей. Красивое, задумчивое лицо его было запорошено пылью, а в глазах, чудилось, мелькали отблески тех зарниц, что обжигали тёмный запад. Матвей Юргин без очереди наполнил из родника его флягу водой. Сделав несколько шумных глотков, Андрей опустил флягу к груди, взглянул на деревню. Его словно бы оживила родная вола, и он почувствовал себя так твёрдо на ногах, как не чувствовал весь день

Завинчивая свою флягу, Матвей Юргин с привычной сдержанностью похвалил:

— Однако, хороша у вас вода!

— Я её из согни вод узнаю,—отозвался Андрей. — С малых лет пью. Вот сейчас выпил—и всё вспомнил... И не знаю, что стало со мной: и осежило и обожгло!

— Брось! — угрюмо сказал Юргин. — Береги душу. — Затем, прищипив к поясу флягу, посоветовал: — Вон комбат едет. Отпросись—и зайди домой.

Андрей разом оторвался от изгороди.

— Где он?

К околице выехало несколько верховых. Впереди, на потном гнедом коне, в распахнутом сером плаще, командир батальона старший лейтенант Лозневой. В батальоне он появился недавно, после смерти старого комбата. У него было узкое и сухое лицо, с острым, слегка висячим носом, а под большим козырьком фуражки с малиновым околышем — в тени—холодноватым, железным блеском отсвечивали осторожные серые глаза. Улыбался он криво, одной левой щекой.

Андрей боялся нового комбата. Но теперь, забыв обо всём, он с необычайной решимостью, широким шагом пошёл прямо на него. Остановив коня, Лозневой обернулся в седле и указывал остальным верховым на запад, подняв руку в перчатке,—на запястье висела казачья плётка с резной рукояткой. Подойдя, Андрей в порыве, похожем на отчаяние, заговорил:

— Товарищ комбат! Товарищ комбат!

Круто оборачиваясь, Лозневой скрипнул седлом.

— В чём дело? Что за крик?

Андрей отшатнулся от его коня.

— Это моя деревня! Здесь дом мой, товарищ комбат. Разрешите зайти? Я догоню!

— Где дом? — сурово и подозрительно спросил Лозневой.

— Да вон! Вон, две берёзы-то!

Приложив ребром ладонь к козырьку фуражки, Лозневой посмотрел в ту сторону, куда указывал

Андрей, и, будто бы в шутку, спросил:

— Закуска будет?

— Что вы, товарищ комбат, да в волю!

— Веди! — приказал Лозневой; подбирая поводья, он обернулся к остальным верховым: — Здесь ночёвка! Размещайте, Хмелько, людей. Костя, со мной!

— Есть!—и вестовой тронул коня.

В деревне было беспокойно и шумно: скрипели телеги, мычали коровы. У многих домов хозяева заколачивали досками ставни. Около телег, крича, суматошно металась женщины. Они кидали на телеги мешки и узлы из пёстрого рядна, усаживали на них орущих ребят, укладывали корытца, ухваты, кочерги. Над дворами неслись крикливые голоса:

— Бабы, грузи! Вон она, армия!

— Господи, хоть бы к ночи выехать!

— Торопись, бабы, чего встали?!

Под сильным загаром на щеках Андрея заиграл румянец. Ему вдруг стало так жарко, что он схватил с головы пилотку и вытер ею виски. «Уходит народ», — подумал Андрей. Отступая с частью, Андрей прошёл уже много больших и малых селений и всюду видел одно: бросая родные места и жилища, бросая всё, что дорого сердцу, с чем сжился за века, народ беспокойными толпами, проклиная врага, в безутешном горе уходил на восток. Но только вот сейчас, увидев, что делается в родной Ольховке, он почувствовал всю тяжесть и неотвратимость беды и будто отсюда, с высокого ольховского взгорья, он вдруг на мгновение увидел широкие просторы родной страны. «Наши-то как же? Может, тоже уже подались? — неожиданно подумал Андрей. — Эх, ясно море, застану ли?» Эта мысль подстегнула его. Он пошёл быстро, как только мог, размахивая пилоткой в руке, оглядываясь по сторонам и с детской взволнованностью схватывая глазами все привычные приметы своей деревни.

Комбат Лозневой, ехавший шагом немного позади, долго не спускал взгляда с Андрея. Затем, обернувшись к вестовому, сказал:

— Видишь, как несёт его?

— Как ветром! — певуче ответил вестовой и, тронув коня, выровнял его ухо в ухо с конём комбата.

Вестовой был светленький, совсем молоденький паренёк. Он не успел ещё по-мужски окрепнуть в плечах, и пухловатые губы его ещё хранили юношеское тепло. Улыбаясь во всё лицо, он сказал простодушно:

— Какая тут война! До неё ли?

— А в деревне... видишь, какая паника?

— Бежит народ!

— И армия и народ, — мрачно поправил Лозневой.

...Двор Лопуховых находился на восточной окраине деревни, у крутого склона взгорья. Отсюда Лопуховы раньше всех односельчан могли видеть, как поднимается солнце над дремучим ржевским полесьем. Двор стоял на старом родовом месте, но почти всё на нём было поставлено заново в недавние годы. Просторный пятистенный дом под тесовой крышей только слегка посерел от ветров и дождей. На его карнизах и в чердачных окнах безмятежно сидели, охорашиваясь, белые лохмоногие голуби. За воротами с двумя скворечнями виднелись прочные хозяйственные постройки. Всё было сделано расчётливо, любовно, старательной рукой и, казалось, так, навеки вечные, и приросло к земле.

Ещё издали Андрей понял, что дом его родителей не брошен, как другие в деревне, и с пригорка, оборачиваясь к Лозневому, тяжело передохнув, крикнул:

— Дома! Захватили!

И тут же бросился бегом с пригорка, гремя котелком и каской, подвешенными за спиной. Не поджидая комбата, он распахнул ворота и, шатаясь, подняв руки, почти беззвучно позвал:

— Марийка!

Из глубины двора донёсся резкий — от всего сердца — женский крик. Придержав коня у изгороди, Лозневой глянул во двор. На высоком предъямбарье стояла молодая женщина, лёгкая в стане, черноглазая, в простеньком вишнёвом платице. Несколько мгновений она растерянно прижимала руки к высокой

груди, затем опять крикнула и с вихревой силой бросилась с предъямбарья и не обняла, а обессиленно, обмертвев, повисла на широких плечах шагнущего к ней Андрея. «Жена! — понял Лозневой. — Чорт возьми, какая красавица! И как любит, а? Как любит!» Несколько секунд Лозневой не мог оторвать от неё изумлённого взгляда.

На крыльце показалась невысокая, но дородная пожилая женщина в серой шерстяной — ручной вязки — лохматой кофте. Торопко, но боязливо спускаясь по ступенькам, она заголосила:

— Господи, Андрюша, сынок!

Из-за угла сарая выскочил белокурый — на изросте — мальчуган, той же крупной, лопуховской породы, держа в руке небольшой плотничий топорик. Он глянул на Андрея, который всё ещё обнимал жену, и тоже закричал на весь двор:

— Бра-атка! — и стремглав сорвался с места.

Все обступили Андрея. С обветренного и загорелого лица его не сходила улыбка, а в светлых, родниковых глазах было полным-полно весеннего солнечного света. Родные обнимали его, плакали, не замечая чужих людей у ворот. Даже чёрный дворový кобель, злой на вид, позабыв о своём долге, с визгом носился около столпившейся семьи.

— Ну будет, будет! — уговаривал Андрей родных. — Эх, ясно море, и чего ж вы ревете-то?

Спустившись с коня, Лозневой, передав Косте поводья и плетъ, снял фуражку, обтёр платком сухое лицо и слегка поправил пальцами над лбом помятые пепельно-ржавые, будто после линьки, волосы. Взглянув ещё раз на Марийку, шопотом сказал Косте:

— Не зря он бежал!

— Молния! — поняв его, восхищённого, ответил Костя.

Первым спохватился пёс Черня. Почуввав чужих, он оглянулся на ворота, коротко взлаял. Увидев, что комбат наблюдает за встречей, Андрей начал смущённо и ласково отстранять родных:

— Ну, будет же, будет! Отец-то где?

— А-а, отец! — раздражённо сказала Марийка.

— Что такое? Где он?

— Вон, на огороде...

— Что у вас тут? — с тревогой спросил Андрей.

— Да ничего, ничего, — торопливо заговорила мать Алевтина Васильевна и тронула за плечо младшего сына. — Сбегай, Васятка, скажи...

Андрей догадался, что в доме произошла какая-то ссора, и остановил брата:

— погоди, братушка, я сам.

Он обернулся к воротам:

— Товарищ комбат, что ж вы стоите? Идите сюда!

— Успею, успею, — Лозневой вшёлся во двор. — Иди, куда надо.

Увидев Марийку совсем близко перед собой, Лозневой неожиданно подумал, что он знает её давным-давно. Всё в ней было знакомо: и чёрные тугие косы, уложенные венком на гордой голове, и освещённое весёлой живостью, красивое мягкое лицо с лёгким заревым румянцем под загаром, всегда готовое к улыбке, и по-детски припухлые тёплые губы, и тёмные, поблёскивающие от счастья глаза. Где-то и когда-то он видел её, и видел очень часто. Но где? Когда? Может быть, только думал видеть такую, как она? Лозневого даже смутило это внезапное впечатление от встречи с Марийкой. Опуская перед ней глаза, он приветливо тронул козырёк фуражки:

— Мир вашему дому, хозяйки!

— Милости просим, — поклонилась Алевтина Васильевна.

А Марийка, окинув гостя быстрым, оценивающим взглядом, ответила насмешливо и дерзко:

— Какой же мир? Война, вон, глядит в ворота!

— Господи, Марийка! — заволновалась Алевтина Васильевна. — И чего скажет! Иди ты, ставь самовар.

— Остра на язычок! — смущённо заметил Лозневой, провожая Марийку взглядом до крыльца.

— Не дай бог!

За сараем, в углу огорода, под раскидистой рябиной, сплошь покрытой зловещей краснотой увяданья, чернела большая яма. Из неё

вылетали глинистые комья земли. Отец Андрея — Ерофей Кузьмич, — заслышав шаги, разогнулся в яме, спросил обеспокоенно:

— Там кто? Что там такое на дворе?

— Это я, — отозвался Андрей.

— Никак, Андрей, а? Ты, что ли? — скрывая тревогу, безрадостно проговорил отец, не вылезая из ямы. «Дорою, — подумал, — тогда и вылезу». Вскинув русую, широкую бороду, каких мало носят нынче, он быстрым взглядом осмотрел сына, одетого в непривычную военную одежду, и тяжело вздохнул:

— Отвоевался?

Андрей присел у края ямы:

— Отходим пока.

— А потом?

Андрей подержал на ладони комочек прохладной земли и, медленно сжав пальцы, раздавил его. Ответил неторопливо и глуховато:

— Потом должны обратно.

— Обратно? А придётся ли?

Не ответив, Андрей некоторое время задумчиво смотрел на рябину: солнечный свет трепетал на её красноватой листве и гроздьях ягод.

— Яму-то зачем?

— Для добра, — неохотно ответил отец.

— А сами?

— Что ж — сами?

— Уходить собираетесь или как?

На этот раз Ерофей Кузьмич некоторое время молчал, и Андрею показалось, что отец, опираясь о лопату, поглядывает из ямы, с трудом сдерживая раздражение.

— Пробовали, — вдруг заговорил отец с досадой. — Ты вон руку у себя выдерни! А-а, больно? А тут... Куда? От дому-то?

— Всё одно, — тихо промолвил Андрей. — Уйти бы надо. Все, вон, колхозники уходят.

— Учи! — ещё более раздражённо проговорил Ерофей Кузьмич и поднял лопату, вонзив её одной рукой в землю, сказал с внезапной яростью: — Сам не знаю, чего делать: заболел я, хворь во мне разыгралась.

### III

Все свои молодые годы Ерофей Кузьмич батрачил у богачей по

ближней округе, а дальше всего — у сурового, с медвежьей хваткой Поликарпа Михайловича Дрягина. У Дрягина было большое для ржевских нещедрых мест хозяйство: пять лошадей, полный сарай мелкого скота, мельница-водянка. Поликарп Михайлович платил батракам меньше, чем другие кулаки, но, несмотря на это, Ерофей Лопухов каждой весной появлялся у его крыльца.

— Что ты привязался к этой жиле?—спрашивали у Ерофея на деревне.—Он ведь каждый грош выжимает!

— Он такой!—весело соглашался Ерофей.

— Что ж ты идёшь к нему?

— Уж такая моя планида!

Трудно было баграчить у Дрягина, но Ерофей шёл именно к нему и шёл не без хитрости: втайне учился у него «обделывать дела». Ерофей был красивый и сильный парень—на зависть всей деревне. О нём с восторгом говорили все сельчане. Он знал это и гордился собой. Глядя на сухого, по-волчьи поджарого Поликарпа Михайловича, Ерофей заносчиво думал: «Чем же я хуже его, что мне жить так выпало? Нет, не из тех мы! Добьюсь—вот и весь сказ мой!» Работая у Поликарпа Михайловича, Ерофей присматривался к тому, как он быстро поднимал своё хозяйство, точно раздувал костёр, ловко и весело подбрасывая в него дрова. Он всей душой завидовал хозяину и с нескрываемой завистью говорил на деревне:

— Дрягин-то! Вот ловкач! Лишнюю полосу нынче прихватил! Видали, а? Всё богатеет Дрягин-то наш, богатеет!

Поздней осенью, получив расчёт, он с обидой рассказывал соседям:

— Вот сучья жила, Дрягин-то! Весной срядились: так и так! А подошёл расчёт—обжулил. Как ни бился я, ни крутился, смотрю—обжулил! И слова не скажешь! Вокруг пальца обвёл! И до чего ловко—удивленьё одно! О-о, этот умеет жить. Дрягин-то наш! Эх, умеет!

За долгие годы батрачества Ерофей Лопухов кое-как завёл лошадинку, коровёнку и основал свой двор. Потом женился — и взялся за

хозяйство с мечтой о богатстве, такой властной, что кружилась голова.

Ерофей Лопухов работал не покладая рук, пускался на все уловки и хитрости, стараясь раздуть хозяйство. Но нет—ничего не выходило! Казалось, по чьей-то могучей и злой воле всё ополчилось против него: то волк зарезал стригуна, то градом побил хлеб, то корова затонула в болоте, то погорел дотла.

Так Ерофей Кузьмич и дожил до советской власти бедняком. При советской власти ему прирезали земли, дали лошадь, отпустили лесу на постройку. И тогда вновь, да ещё с большей силой загорелась у Ерофея Кузьмича мечта о богатстве.

— Вот это власть!—гремел он на всю Ольховку.—Наша! Одно слово: наша! При этой власти, мужики, жить нам да поживать!

Вскоре у Лопуховых родился Андрей. Ерофей Кузьмич совсем воспрянул духом. Андрей рос тихим и добродушным, но сильным и прилежным в любой работе. Мальчуганом он начал браться, и очень ловко, за все хозяйские дела. У Ерофея Кузьмича трепегала от счастья душа: хозяйство быстро крепло, и можно было надеяться, что скоро сбудется заветная мечта.

Но тут начали создаваться колхозы. К удивлению многих, Ерофей Кузьмич всегдашний бедняк, поднявшийся на ноги только в последнее время, решительно отказался вступить в колхоз. Он всячески отставал, как островок в половодье, свой двор. Прошёл год, второй, а он продолжал упорствовать, потом вдруг скрылся из деревни: лет пять метался по верховью Волги. Ходили слухи, что он занимался то извозом в Ржеве, то заготовкой корья, то работал на сплаве леса... Ольховцы уже решили было, что своевольный Ерофей Кузьмич совсем отбил от дома и земли. Но года за три до войны он вернулся в деревню—в рваном пиджаке, угрюмый и постаревший от скитаний, с тихой печалью в серых глазах. — его узнали только по светлой нарядной бороде.

Своё возвращение он объяснил семье кратко:

— Свет велик, а деться некуда. Везде одни порядки.

Семья Лопуховых давно уже состояла в колхозе, и Ерофею Кузьмичу пришлось покориться воле общества. «Ладно! — решил он. — Попробую ещё в колхозе своё взять. Иные же вон как жить зачали, вроде бы зацвели даже!» — и вновь к удивлению всех он начал работать в колхозе с большим усердием, вкладывая всю свою сноровку в любое дело. И зажили Лопуховы неплохо. Началась война. Андрея взяли в армию. Немцы быстро продвигались в глубь страны. Колхозники тронулись из Ольховки на восток. Пастухи угнали скот. На многих подводах увезли ценное колхозное добро. Ерофей Кузьмич тоже запряг было коня в телегу, стал укладывать своё добро: сундуки, самовар, топоры, лопаты, колоды, рамы... И тут увидел: всего не увезёшь! И жальлось, заньло сердце старика.

— Где уж! От дому-то? — чуть не воя, прокричал он и кинулся за сарай рыть яму, чтобы спрятать в ней своё добро...

Тут и застал его сын.

#### IV

Не скрывая своего счастья. Марийка суматошно и весело хлопотала в доме. Радость встречи с Андреем на время заглушила в ней все другие чувства. Она всегда жила только так: если радовалась, то шумно, всем на зависть, если горевала, всем за неё было страшно. С первой же минуты, только увидев Андрея, она всей душой почувствовала, как ей легко и приятно быть около него. Теперь ей особенно стало ясно, как недоставало ей Андрея и как без него всё лето в её душе было пусто и неуютно, словно в покинутом птица-ми гнёздышке.

Только весной — незадолго до войны — состоялась их свадьба. Для многих она была неожиданной. Марийка Логова, дочь вдовы Макарихи, озорная, бойкая и голосистая, как зрячка. была самой приметной девушкой в Ольховке. Казалось, что все её подруги сговорились любовно ла и отдали ей большую часть своей девичьей весёлости да красо-

ты, и она, одарённая так щедро, жила на удивление всей деревне. Ольховские парни, отчаянные и шумные, неотступно кружились вокруг неё, как мотыльки у огня. Но Марийке полюбился кроткий и застенчивый Андрей, робко наблюдавший за ней только со стороны. От него веяло могучей и ласковой силой, и Марийка думала, что она найдёт с Андреем своё счастье.

...Лозневого, как знатного гостя, угощали в горнице. Все остальные ужинали на кухне. Марийке несколько раз приходилось отрываться, чтобы угощать комбата. Это раздражало её. Ни одной секунды она не хотела быть без Андрея, ни одной! При нём она была так счастлива, что не думала ни о чём — даже о том, что завтра утром кончится это счастье.

После ужина Марийка отозвала Андрея в сторонку, спросила, кивая в сторону горницы:

— Зачем ты этого-то привёл?

— Комбата? А что?

— Не нравится он мне.

— Ну, что ты, он хороший комбат!

— Хорош. Смотрит на меня, как кот на масло! — гневно сказала Марийка и резко оборвала разговор, подчеркнув этим, как он неприятен ей. — Баньку истопить тебе?

— Хорошо бы, — обрадовался Андрей.

— Я сейчас!

Марийка бросилась было в сени, но задержалась у порога и, поманив Андрея к себе, зашептала:

— Пойдёшь помогать? Пойдём!

Готова баню, Марийка держала Андрея около себя. Она тоже делала всё необычайно хлопотливо, с какой-то немного нервной быстротой. И разговаривала она быстро, то спрашивая Андрея о службе, то рассказывая ему, как скучала о нём, то сообщая деревенские новости.

Когда под каменной потрескивая, запылала дрова, Марийка прижалась плечом к Андрею, сказала:

— Вот так и у меня сейчас в душе весело горит, потрескивает... Слышишь, что говорю? Иным людям, пожалуй, на всю жизнь не даётся столько счастья, сколько у меня сейчас. А у тебя?

— А у меня...—Андрей помедлил.—То светло, а то и вот так, как в бане, дымновато.

— Дымновато? Ты не рад? Из-за отца?

— Из-за него... — промолвил Андрей.

Он видел, как счастлива Марийка, и не хотел напоминать ей, что неурочный его приход—невелика радость.

— Ну, и пёс с ним!—сказала Марийка. — Не думай, Андрюшенька, о нём. Я не хочу, чтобы ты думал сейчас о чём-либо...—она не договорила. — Ну, разгорелись хорошо! Пойдём за водой.

У родника она присела, подобрав платье, схватила Андрея за руку:

— Ты знаешь, за что я тебя люблю?

— Кто ж тебя знает!—усмехнулся Андрей.

— Ты весь, как вот этот родник,—сказала Марийка, сильно прижимая к себе руку Андрея.—Весь! Весь! Ну, что ты улыбаешься? Глаза у тебя такие: тихие, вроде тёмные, а в них светло, всё видно. И около тебя так же хорошо, как около этого родника... Ну, что ты смеёшься? И сколько, вот, ни черпай из родника, он живёт и живёт. Он вечный. И ты мне кажешься таким!

Андрей погладил её волосы.

— Родники не все, Марийка, вечные. Бьёт, бьёт, и вдруг—нет его! И вдруг пропал!

— А вот и неправда!—живо возразила Марийка.—Если здесь пропал, то выбьется в другом месте. В другом, а всё-таки живёт. Не спорь, он вечный. И ты такой же... Давай понесём вёдра!

— Дай я,—Андрей потянулся к вёдрам.

— Нет, вместе, Андрюша! Вот на палке.

Наполнив кадку водой, Марийка осмотрелась, потирая от дыма глаза.

— Теперь подмести надо. Сорно здесь. Я схожу, наломаю веник...— и тут же спохватилась:—Нет, нет, пойдём вместе!

Они пошли в березнячок. Андрей выбирал ветки не спеша, ломал аккуратно, чтобы деревце зря не попортить, и ветки получались одного

размера, а Марийка ломала их как попало. У неё дрожали руки.

— Не торопись,—заметил Андрей. — Торопыга!

Марийка разогнулась и стала перед ним, держа в опущенной руке пучок ветвей. Глаза её блестели, а губы были приоткрыты, как от жары.

— Андрюша! — сказала она негромко, словно испугалась чего-то.—Андрюшенька!—повторила она громче и внезапно бросилась к Андрею, прижалась к его груди, зашептала, сама не слыша что...

— Ну, люди ж увидят,—весь запылав, прошептал Андрей.

...Потом она сказала далёким, не своим голосом:

— Засохну я, Андрей, без тебя.—И пошарила рукой по земле.—Как вот эта ветка... Оторвали её — и вся её жизнь кончена.

Андрей помолчал, развёртывая кисет. Потом прижал большой рукой Марийку к себе:

— Не горюй, ласточка ты моя! Ты же сказала, что я вечный. Сказала? Ну вот, я вернусь...

— А когда?

— Кто же знает?

— Помни,—сказала она, думая о чём-то,—не вернёшься скоро,—сбегу!

— Куда? — невесело улыбаясь, спросил Андрей.

— На край света!

## V

Так и кончилась радость Марийки.

Они легли спать в горнице. Марийке хотелось говорить с Андреем всю ночь. Но он, после трудного пути и жаркой бани, быстро уснул. Марийка впервые слышала, что он храпит во сне. Она попыталась перевернуть его на бок, но нехватило сил. И в эти минуты Марийка поняла, что война уже начинает надрывать силы Андрея. Каким он вернётся с войны? Может быть, калекой. И сейчас уже в нём заметны перемены. За три месяца! А что будет, если он провоюет долго-долго? Он станет совсем другим человеком. Вот он уйдёт завтра, и она уже никогда, никогда не увидит его таким, каким он был и

ещё есть, каким она полюбила и любила его. Да и вернётся ли он? Дрожь скользнула по спине Марийки. «Андрюшенька!—едва не закричала она.—Кровушка моя! Не жить мне без тебя! Слышишь? Не жить!» Она дотронулась рукой до его коротко стриженной головы. Ей всегда нравилось играть его лёгкими, волнистыми волосами. Теперь, ощутив колючую щетинку на голове Андрея, она ещё раз подумала, что война уже отобрала у него то, что было любимо ею, что эта война завтра навсегда унесёт его от дома и закружит в своей бездонной пучине...

Марийке стало жутко. Чувствуя, что не выдержит, закричит на весь дом, она осторожно слезла с кровати и на цыпочках, боясь разбудить гостей, вышла на крыльцо.

Весь западный край неба обжигали лёгким и дрожащим багрянцем невидимые за высотой пожары. Откуда-то несло пригорьковатый запах дыма. Восточный же край неба плотно крыла тёмная, октябрьская ночь.

Марийка даже не слышала, как позади скрипнула дверь. Ерофей Кузьмич, увидев кого-то в белом, тревожным голосом спросил:

— Стой, кто ж это тут?

Сноха не отозвалась.

— Ты, Манька? А? Ты чего ж тут? Ты, гляди, простудишься ещё!

— Уйдите, папаша,—сказала Марийка.

— Ну, брось стыд-то! Не до стыда,—проговорил Ерофей Кузьмич.—Потолковать с тобой надо. Неотложное дело.

Марийка промолчала, и Ерофей Кузьмич, привалившись спиной к косяку дверей, продолжал:

— Я толковал уже с ним на огороде... Всё обсказал. Куда нам трогаться? Ты вот тоже всё кричишь: надо уходить, уходить! А куда пойдёшь? По белу свету шататься? Знаю я, какой в этом толк. И опять же... Бросишь здесь всё нажитое—растащат; народ, он всегда охоч до чужого добра. А чего с собой возьмёшь,—по дорогам растрясёшь, да и вернёшься потом нищ-гол! Нет, нам с домашностью некуда подыматься.

Это умом понимать надо. Ты это тоже пойми. Господь милостив, ничего с нами не будет тут. Разве ж могут они, скажем, мирный люд трогать? Ты войой там с войском, а наше дело — сторона. Всегда так было, — и Ерофей Кузьмич, вздохнув, присел рядом с Марийкой. Она отодвинулась, а он с тоской добавил:—Чует моё отцовское сердце—не вернуться ему. Нет! Эх, Андрюха! Горит всё в душе!

## VI

На рассвете туманами затопило всю землю. Беззвучные мутные волны тихо качались повсюду вокруг ольховского взгорья.

Раньше всех в лопуховском доме поднялась Алевтина Васильевна, за ней побледневшая Марийка, почти не смыкавшая за ночь глаз. Стараясь делать всё бесшумно, они начали хлопотать у печи. Жили они дружно, а заботы об Андрее сделали их дружбу особенно тёплой и светлой. Для Алевтины Васильевны хотя и привычна, но тяжка была суровая власть Ерофея Кузьмича, и она, от природы тихая и добрая, находила отдых от этой власти в дружбе со снохой.

Подбив в квашне тесто на пироги, Алевтина Васильевна, боязливо прислушиваясь к храпу Ерофея Кузьмича, смахнула с полных, запотевших щёк слёзы, спросила:

— Не сказывал, далеко ли пойдут?

— Где ему знать, мама!—ответила Марийка, как бы с трудом раскрывая призадохшие губы.

— О, господи! Собыёт ведь Андрюша ноги-то!

— Я ему портянки запасные положила.

— А чулки? Положи ещё чулки, смотри!—приказала Алевтина Васильевна. — Погоди, доченька! А не сказывал, отчего у них неустойка выходит, а? Или уж эти... немцы-то... дюжей наших или, сказать бы, ловчее?

— Не знаю, мама. Не видела ж я их...

— Ну нет! — неожиданно твёрдо сказала Алевтина Васильевна и даже выпрямилась. — Вот выберут получ-

ше место, поспособнее, да как сойдутся — и тут им, супостатам, могола! Вернётся Андрюша... Господи, доченька, а шарф? Положила? Ведь зима скоро!

— Ой, мама, тяжело ему будет с таким мешком. Начнётся бой—бегать же надо!

— Да чего ж ему бегать?, Положи—и воюй!

Со двора донёсся яростный лай Черни. К Лозневому пришли какие-то военные.

Накинув шинель на плечи, потирая над лбом слинявшие, измятые клочки волос, Лозневой с унылым, зашпанным лицом вышел на крыльцо. Его поджидал адъютант старший<sup>1</sup> — молоденький, с нежным, детским личиком лейтенант Хмелько. Глянув на восток, где разгоралась заря, Лозневой тревожно спросил:

— Что случилось?

У предъамбарья рычал Черня. Вестовой адъютанта, стоявший в стороне, пригрозил ему басом:

— Замолчь, зверюга!

— Вот приказ,—Хмелько протянул бумагу.—Уходить немедленно.

Лозневой взял бумажку, спросил:

— Давно?

— Полчаса назад.

— Где штаб полка? На старом месте?

— Уже снялся.

Лозневой свернул приказ, свнул в карман брюк. Сдерживая возбуждение, передохнул, сказал глуховато:

— Ну что ж, Хмелько, действуй!

— Есть!

— Людей покормим в пути?

— В пути. Кухни дымят.

Можно было и уходить, но лейтенант Хмелько, быстро оглянувшись на вестового, сказал шопотком:

— Приказ — чепуха! — и дохнул Лозневному в самое ухо: — Немцы близко!

— Слухи?

— Безусловно, — подтвердил Хмелько.—Ночью здесь проезжали беженцы. Гнали, как очумелые. Ну, говорили, что немцы прорвались на большаках. Того и гляди, мы окажемся в мышеловке. Бойцы узнали

об этом—не спят, волнуются. А сейчас только доложили мне, что трое сбежали.

— Из ближних деревень?

— Из ближних.

Лозневой помедлил, затем сказал холодно:

— Вот и воюй!

Пока Лозневой разговаривал с Хмелько, поднялись все остальные в доме. Ерофей Кузьмич уже сидел у стола, задумчиво почёсывая грудь. Андрей натягивал близ порога ботинки. Одевался и Костя, протирая маленькие глазки и шурясь на огонь. Все они были встревожены тем, что Лозневого подняли в неурочный час.

Не задерживаясь в кухне, Лозневой прошёл в горницу, а через минуту, сбросив там шинель, с ремнём в руке опять появился на пороге.

— Кони сыты? — спросил он Костю.

— Кони в порядке, — ответил вестовой.

— Собирайся, идём!

— Куда ж вы в такую рань? — спросил Ерофей Кузьмич.

— Служба, отец! — и Лозневой одним рывком затянул себя в ремень.

— Дальше, значит, пойдёте?

— Приказ, отец!

— А завтракать?

— Провожу людей—зайду.

Андрей разогнулся у порога. В просторной нижней рубаше, заправленной в брюки, он казался при слабом свете особенно загорелым и дюжим. Он посвежел после бани и крепкого сна, но смотрел задумчиво и сумеречно.

— Сейчас выходить, товарищ комбат?

— Да, сейчас поднимут людей, — ответил Лозневой находу.

На кухне несколько минут стояла тягостная тишина. Все знали ещё вчера, что утром Андрей уйдёт дальше, и всё же уходил он неожиданно. Ерофей Кузьмич сидел за столом, положив на него левую руку и обессиленно свесив кулак. Алевтина Васильевна и Марийка, прижавшись друг к другу, молча смотрели на Андрея. Он собирал свои вещи. Наконец Ерофей Кузьмич спросил с натугой в груди:

<sup>1</sup> Начальник штаба батальона.

— Сбираешься?

— Надо иди, тятя,—сдержанно ответил Андрей, впервые чувствуя, что может поссориться с отцом.

— Ну, гляди, Андрей! Гляди, сынок!

— Ничего, тятя, всё будет хорошо.

— Гляди, с умом воюй!

В кути слышались всхлипывания.

— Ну, вы! — загремел Ерофей Кузьмич, хотя и слышал, что заплакала только жена.—Нечего тут реветь! У него теперь свой ум! Нажил!

Андрей оторвался от вещевого мешка.

— Нет, тятя, ещё не нажил,—сказал он неожиданно жёстким голосом.—Только начинаю наживать. А ты, тятя, гляди, не проживи его!

Ерофей Кузьмич даже опешил:

— Это ты... погоди, ты чего так?

— Проживёшь, — закончил Андрей, — второй раз поздно будет наживать. А прожить в такое время—легко.

Опешив, Ерофей Кузьмич поднялся, прижал широкую бороду к груди.

— Теперь вижу: вырос! Ну, что ж, иди!

Как хотелось Андрею мирно посидеть среди родных в этот час! Но мир в семье был нарушен. Тяжко, нехорошо стало в лопуховском доме. «Вроде бы угарно,—подумал Андрей.—Так и давит сердце!» Накинув на плечи шинель, он с тяжёлым чувством вышел на двор. Первый раз в жизни он так жестоко разговаривал с отцом, и ему было больно оттого, что это случилось против его воли и случилось, как на зло, в час разлуки.

На дворе, завидев молодого хозяина, Черня поднялся от предъямбарья, выгнул спину, звонко зевнул, пришёлкнув зубами. Из-под сарая, чирикнув, будто подав команду своей братии, выпорхнул воробей.

Обласкав Черню, Андрей прошёл через весь двор, мягко ступая по холодной земле, открыл скользящие от изморози воротца на огороде. Хотелось побыть в одиночестве. Пройдя за сарай, он прижался пылающей щекой к его стене и закрыл глаза.

## VII

Вновь Андрей шёл на восток...

За ночь, сильно дохнув холодом, осень стёрла с полей последние краски лета. В полях всё замерло, повеяло и поблёлкло. Куда ни глянь,—всюду пусто и уныло. Только один раз Андрей заметил, как на склоне пригорка жарко проискрило в поредевшем бурьяне: метнулась от дороги лиса. Поднялся ветер. Как и вчера, зашумел листопад. Тучи листья несло на восток. И вновь Андрей ощущал горькое чувство утраты всего родного, что было прочно связано с его жизнью, и от ощущения неминуемой беды, идущей по его следам, у него вновь лумило сердце.

Марийка провожала Андрея далеко за деревню.

Приотстав от батальона, они шли одни. Им не хотелось говорить о разлуке. Шли молча. Лишь изредка, чтобы оторваться от дум да не слушать шум листопада, они перекидывались отдельными словами, пустыми и ненужными в этот час. Следом за ними шагал Черня.

У мостика на речке, за которой густо поднимался молодой берёзняк, они остановились. Андрей взял Марийку за руки. Лицо у неё было спокойное и строгое, как всё это утро, но теперь на нём выступал румянец. Она долго смотрела на Андрея, не отрывая взгляда; в её тёмных глазах мелькали отблески солнца, неба и пролетавшей мимо багряной листвы. Наглядевшись на Андрея, она опустила глаза и сказала тихо и просто:

— Ну, всё, Андрюша. Всё, родной!..

Андрей порывисто притянул её к себе:

— Марийка, ласточка моя!

— Теперь иди! — у неё едва шевелились губы.— Да помни: я ждать буду! — вдруг сказала она громче.

Андрей почувствовал, как на руку упала её слеза — и точно жарким ветром ударило ему в лицо. Он слегка запрскинул голову, словно защищая глаза от этого палящего ветра, и с ужасом почувствовал, что не может дышать. Прижимая Марийку

к груди, он собрался с силами и сказал клятвенно:

— Я вернусь! Ты слышишь?

Знойный ветер нестерпимо обжигал лицо и глаза. Не выдержав жгучего напора ветра, Андрей резковато отстранил Марийку, и здесь она впервые увидела, как он дик в яростном порыве любви своей и как ему тяжело уходить от неё. Глядя уже не на Марийку, а куда-то на запад, откуда летела багряная метель, он повторил, но на этот раз с большой и запальчивой силой:

— Я вернусь! Вернусь!

Марийка никогда не думала, что Андрей, всегда тихий и добрый, может быть таким страшным. Шагнув к нему, она крикнула испуганно, сквозь слёзы:

— Андрюша, иди!

Так и не успокоясь, Андрей простился с женой и быстрой, порывистой походкой пошёл за речку. Марийка стояла, смотрела ему вслед, не трогаясь, не в силах даже махнуть ему на прощанье рукой...

В глубине леска, за речкой, остановившись поправить за плечами вещевой мешок, Андрей услышал, что его догоняет кто-то. Оглянулся. По дороге, поблёскивая розовым языком, летел Черня.

— Ты куда? — крикнул на него Андрей.

Подскочив, Черня начал ласкаться у его ног.

— Эх, дурной! — мягче сказал Андрей. — Я же далеко иду. Далекое! Понял? И когда вернусь, не знаю. Понял? Марш домой!

Он пошёл дальше, а Черня стоял на дороге, с недоумением поглядывая на молодого хозяина, который уходил куда-то, не желая брать его с собой, как брал, бывало, раньше... И вскоре Андрей вновь услышал, что Черня бежит позади. Он остановился, прикрикнул ещё строже:

— Куда?! Куда идёшь?

Но Черня не уходил. Он тихо скулил, поглядывая на молодого хозяина с лаской и тоской. И Андрею вдруг стало жутко от мысли, что он навсегда покидает родной дом и Марийку.

— Черня, — прошептал он, — ты

иди. К Марийке иди! Эх, Черня! Эх, ты! — он вдруг рухнул на колени, прижал к себе пса. — Черня, дорогой! Черня! — крикнул он со всей силой, разбрасывая руки. — Разорви меня! На! Разорви!

Опомнившись, он сильным толчком отбросил от себя собаку:

— Пшел! Вон!

Черня удивлённо и обиженно взглянул на хозяина со стороны.

— Вон, тварь! — и Андрей щёлкнул затвором.

Черня отскочил в кусты. Не оглядываясь, Андрей быстро зашагал следом за батальоном...

## VIII

Слухи о том, что немцы быстро двинулись по большакам, сильно встревожили Лозневого. Раньше он служил в штабе дивизии и всегда был довольно далеко от полей боёв, только слышал их грохот. Первая неделя службы в батальоне тоже прошла спокойно: отступали глухими просёлками и даже не видели врага. Но теперь опасность шла по пятам. Теперь было ясно: не сегодня, так завтра бой. Для Лозневого — первый бой. Что готовит судьба?

Провожая батальон из Ольховки, Лозневой внимательнее, чем обычно, присматривался к своим солдатам. Пока проходили мимо колонны, он стоял на пригорке, заложив руки за спину; из-под козырька фуражки сторожко следили за рядами солдат его острые серые глаза. Он видел: солдат до предела утомили бесконечные переходы, ночи без сна, постоянные тревоги и беспокойные думы. Обмундирование у них выгорело, обтрепалось, пахло терпким потом. У них были обветренные, облупившиеся лица, с опухшими от недосыпания, закровеневшими глазами. Поглядывали они тревожно и недобро. Спускаясь со взгорья, солдаты нарушали строй, растягиваясь цепочкой, и Лозневой подумал: «Не батальон, а похоронная процессия!» Вздохнув, он направился к дому Лопуховых.

Костя седлал коней.

В доме слышался сильный и гнев-

ный голос Ерофея Кузьмича. Лозневой спросил вестового:

— Что он там?

— Бушует! — весело ответил Костя. — Хозяйке характер показывает.

Услышав шаги на крыльце, Ерофей Кузьмич притих. Когда Лозневой и Костя вошли в дом, он шагнул по горнице, скрипя сапогами, лицо у него было тёмное, а борода взлохмачена. Хозяйка лежала на кровати, беспомощно раскинув руки. Приглаживая у неё реденькие, распутившиеся волосы, около неё сидел, нахохлясь, Васятка. Усадив гостей за стол, Ерофей Кузьмич кивнул на кровать:

— Мать-то вон — проводила и слегла. Вот как сынов провожать! От сердца отрываете кусок!

Он пошёл в кухню, заглянул в печь.

— В жаровне, — не трогаясь, слабо сказала хозяйка.

— Знаю! Лежи!

Хозяин принёс жаровню с бараниной, начал собирать на стол. Лозневой осмотрелся, спросил:

— Что ж сами? А сноха?

— Провожать ушла...

— Что-то не видел их.

— Особо ушли. За деревню.

— Да, любит она его, — сказал Лозневой, думая о Марийке.

— Кто её знает, — уклончиво ответил Ерофей Кузьмич, отрезая от карая, держа его у себя на груди, большие ломти. — Теперешних баб не поймёшь. Сейчас любит, отвернулся за угол — разлюбила. Ветряные мельницы, а не бабы!

— Чего мелешь? — простонала хозяйка. — Не грехи!

— Ну, ты! Больше всех знаешь! Нагляделся я на ваше сословие! Вам дали волю, а вы взяли две. Не любовь — пыль в глаза!

Ерофей Кузьмич достал из шкафчика неполную пол-литровку водки. Примеряясь глазом, разлил её в чайные чашки. Пододвигая одну к себе на угол стола, сказал:

— Все остатки. Сыну хотел выпить — в рот не берёт: и так, должно, горько.

Он выпил, крякнул, обтёр усы.

— Не знаю, какая будет при нем-

цах. Тоже такая горькая или полегче? — сказал он, поглядывая пристодушно, доставая вилкой из жаровни кусок баранины.

— Кто их знает, — буркнул Лозневой.

Костя поперхнулся, покашлял в сторону и тоже вступил в разговор:

— Скорее всего, никакой!

— Это почему?

— Не дадут.

С минуту закусывали молча. А затем, точно продолжая уже начатый разговор, Лозневой спросил, прищуривая на хозяина глаза, — на открытом лице, при свете, они теряли свой резкий, железный блеск:

— Значит, решили не ехать?

— Куда мне ехать! — ответил Ерофей Кузьмич. — Вон у меня старуха-то! Около дома ещё копошится, а отвези её за версту — и ноги вытянет. Куда её? Случись в дороге какая паника — и мне с ней хоть ложись да помирай. Совсем трухлявая баба! Раньше была — да! Из одной две можно было сделать!

— Не боитесь?

— Оставаться-то? Нам один конец! Чем в дороге помирать, так лучше дома. Всё веселей на родном месте.

Костю удивило, что Лозневой не торопился уезжать и был так разговорчив с хозяином. Позавтракав, Лозневой подошёл к зеркалу и, взглянув на себя, сказал кратко:

— Ого!

— Да, не мешало бы, — согласился Костя.

— Дай бритву!

Взбивая кисточкой мыло в чайной чашке, Лозневой опять стал таким, каким чаще всего привык видеть его Костя: мрачноватым, обдумывающим что-то своё. Трогая подбородок, он несколько секунд изучающе смотрел на себя в зеркало, затем приказал:

— Начинай с головы!

— Тоже брить? — удивился Костя.

— Давай заодно, — Лозневой по-трогал над лбом редкие пучочки рыжеватопепельных волос. — Видишь, какие кудри? А мне надо красивым быть.

Лицо Кости осветилось радостно-хитровой улыбкой:

— Или заметили кого?

— Значит, заметил. Начинай!

— Зря! — попытался было отговорить его Ерофей Кузьмич. — Какой ни волос, — он всё срамичу покрывает. Будет у вас голова, прости господи, голая, как колено... Какая же в голом красота?

— Ничего! Брей, Костя!

Около часа пробыл Лозневой в лопуховском доме. Выйдя затем на крыльцо, поднял к глазам бинокль. После бритья у него заметно посвежело лицо, но осталось, как и прежде, холодноватым, скованным тяжёлой думой. С минуту он смотрел на просёлок, уходящий на восток. Батальон уже скрылся в берёзовой роще за речкой. И вдруг Лозневой улыбнулся чуть приметно, одной левой щекой.

— Далеко, небось, ушли? — спросил Костя.

— Коня! — сказал Лозневой, быстро сходя с крыльца.

Не доезжая до речки, они повстречались с Марийкой. Она шагала тихонько, опустив голову, следом за ней понуро плёлся Черня. Ветер бросал им под ноги сухие листья. Лозневой кивнул Косте, приказывая ехать дальше, а сам остановился на дороге.

Марийка издали узнала Лозневого, но, делая вид, что не узнала, сошла с дороги. Натянув поводья, Лозневой повернул коня боком. Он ловко, слегка подбоченясь, сидел в седле, раскинув полы плаща.

— Проводили?

Марийка помедлила с ответом больше, чем нужно. Она смотрела на комбата так, будто всё ещё не узнавала его.

— А что? — спросила наконец.

— И он пошёл?

Зардев, Марийка сказала недружелюбно:

— А как же ему не идти?

— Конечно, он молодец. — примиряюще согласился Лозневой. — Теперь мы будем с ним друзьями. Может быть, я возьму его к себе. Вижу, хороший солдат! Другой бы, пожалуй, и не ушёл... от такой жены.

Как уйти?

Метнув на Лозневого недобрый взгляд, Марийка шагнула, намереваясь обойти его коня. Но он вновь загородил ей дорогу.

— Одно слово! — сказал он быстро. — Пожелайте мне, как и мужу, счастливого пути и всяких удач. Я не суеверный, но мне кажется, что ваше слово многое значит...

Марийка налету схватила широкий зубчатый лист клёна. Несколько секунд, держа лист на ладони, разглядывала шитьё жилки под его прозрачной багряной кожей. Затем, не глядя на Лозневого, небрежным жестом кинула лист через плечо и равнодушно сказала:

— Что ж, счастливого пути!

— И всяких удач?

— Да.

— Вот и всё. Благодарю. — ответил Лозневой. — Теперь я знаю, что своё счастье везу в кармане.

Кивнув Марийке, Лозневой тронул коня. За речкой он обернулся, поглядел Марийке вслед и поскакал дальше, улыбаясь одной левой щекой...

## IX

Путь от Ольховки стал ещё труднее. Не успело солнце пригреть землю, загудело всё небо: с запада потянулись большие косяки «юнкеров». Иногда их трудно было поймать глазом в ослепительной вышине просторного осеннего неба, но унылый, надрывный вой их моторов судорогой схватывал души. Начались бомбёжки. Как и вчера, опять тяжело ахала и содрогалась земля, и над ней — там и сям — взлетали, будто вырываясь из её огненного чрева, кудлатые, тяжёлые и угарные дымы, ветер нёс их на восток вместе с опавшей листвой. Над дорогами очень часто, появляясь всегда внезапно, с высоким, диким свистом проносились сухие, дикие «мессершмитты», и с неопишым ужасом бросались люди с дорог, спасаясь от злобного птичьего щёлканья разрывных пуль.

В полдень батальон Лозневого остановился на привал в небольшом

леске. Сюда же на бивак прискакал на потном гнедом жеребце командир полка майор Волошин. Его сопровождал заместитель, капитан Озеров, с группой автоматчиков — все молодые, загорелые ребята.

Лозневой в это время лежал в своей лёгкой походной палаточке, раскинутой под молодым дубом; ветер трепал на корявых ветвях дуба рваные, жарко тлеющие лохмотья листвы. За этот ветренный октябрьский день у Лозневого особенно усилилась тревога. С часу на час он ждал внезапных и больших событий. И когда Костя, торопясь, доложил ему, что приехал командир полка, Лозневой разом поднялся, понимая, что эти события наступают, и быстро выскочил из палатки.

Майору Волошину было под пятьдесят. Всё в его большой и нескладной фигуре было крупным и грубым. Служил он в армии с весны восемнадцатого года. Рядовым бойцом-пулемётчиком он дрался с белогвардейцами на Волге, освобождал Казань, потом участвовал в героическом походе на Колчак — в глубь Сибири. За храбрость, проявленную в те годы, он получил два ордена Красного знамени. Несколькими годами уже командовал стрелковым полком и был горд своей службой. В полку его любили за простоту и добродушие. Он редко бывал в гневе. У старших начальников он пользовался уважением как человек, одарённый большой крестьянской мудростью. Но все прежде всего видели в нём прославленного героя гражданской войны.

Ещё издали взглянув на командира полка, Лозневой сразу определил: Волошин сильно встревожен. «Плохи, видно, наши дела, — подумал Лозневой, — совсем плохи!»

Тяжело опустившись на землю, майор Волошин не стал выслушивать рапорт, только махнул досадливо рукой. Бросив поводья, отдуваясь, он сразу пошёл усталой походкой к палатке Лозневого. Находу он растегнул и раскинул полы плаща, вытер потный лоб, прикрытый козырьчком каски, и серые одрябшие щёки.

— Фу, чорт возьми! — проворчал он. — Разбило всего!

— Сюда, сюда! — пригласил Лозневой.

Устроившись на снарядном ящике под дубом, майор Волошин ещё раз, не снимая каски, обтёр платком лоб и виски — от зари до зари он не расставался с каской.

— Чорт знает, что делается! — сказал он с досадой. — Сколько ни отдаёшь приказов, — как на ветер! Бредут, как стадо. Что ж это такое?

С минуту он молчал, жадно дымя папиросой. Лесок поднялся шумом ветра. В глубине леска раздавались отдельные голоса солдат, похрапывание лошадей, стук топора о дерево и крик сорок — они всюду разносили вести об осени. В светлом небе гудели невидимые моторы. Где-то далеко шла бомбёжка: в земле глуховато стучало, словно с перебоями билось её сердце. Закашляв, Волошин бросил папироску под ноги, позвал:

— Озеров, сюда!

Оправив гриву коня, что-то сказав автоматчикам, к палатке твёрдым, тяжеловатым шагом подошёл капитан Озеров. Это был человек тоже крупный, с простым, слегка рябоватым лицом сибирского старожилы, в расстёгнутой ватной куртке.

— Комиссара не видел? — спросил Волошин.

— Нет, не видел, товарищ майор!

— Всё мечется! — проворчал Волошин. — Ну хорошо, что тебя хоть встретил. Очень нужен.

— Новости?

— Да. Карта есть?

Капитан Озеров раскрыл планшет. Взяв карту, майор Волошин пригласил заместителя и комбата присесть рядом. Они быстро устроились: Озеров — на ящике, Лозневой — на своём седле. Майор Волошин тем временем надел на широкий нос очки и настороженно оглянулся по сторонам.

— Не беспокойтесь, — догадался Лозневой, — Никого нет.

Майор Волошин долго водил по карте глазами, напряжённо поглядывая сквозь очки.

— Ага, вот где! — он остановил карандаш на маленьком зелёном пятнышке. — Мы здесь, да? Сколько осталось до реки Вазузы?

— Около тридцати, — ответил Озеров.

— Да, пожалуй, — Волошин оторвался от карты. — Так вот, обстановка следующая. К переправе на Вазузе, как видите, углом сходятся две большие дороги, — он кинул руку в одну сторону, затем в другую, — одна здесь, другая здесь. По этим дорогам двигаются две большие колонны немцев. Они спешат к переправе.

— Далеко они? — помедлив, осторожно, без разрешения спросил Лозневой.

— А чорт их знает! — сказал Волошин, гневно поводя глазами. — Кто это знает? Прислали гонца из штаба дивизии, а определённых данных нет. Какое-то столпотворение кругом! Чорт их знает, может, они уже у переправы! Очень просто! Тогда мы... — он умолк, помял мясистые губы. — Сейчас всё возможно.

— Это не так-то легко! — сказал Озеров.

— Что — не легко?

— Идти им по чужой земле.

— Ну, мы это слышали! — нахмурился Волошин. — Идут вот! И куда дошли! Как подумаешь — жутко! Это какая-то чортова сила!

— Пожалуй, больше наглости, — возразил Озеров.

— А силы?

— И силы много, но больше — наглости. Отступающий очень часто склонен преувеличивать силы наступающего.

— Это откуда? — запыхтел Волошин. — Из Клаузевица? Ты ведь там, в Академии, всё читал это?

— Так я думаю, товарищ майор.

— Брось! Хватит! — на носу Волошина сильно встряхнулись очки. — Воевали и мы!.. — он помолчал, гневно шевеля мясистыми губами. — Так вот, вся наша дивизия вслед за другими частями. идёт просёлками между этими двумя дорогами и к ночи она должна, опередив немцев, вырваться к Вазузе. Если вырвется, будет очень хорошо. Но это — не

всё. Для нашего полка как раз не в этом состоит главная задача.

Он опять с опаской оглянулся по сторонам, хотя и знал, что по кустарничку вокруг молодого рыжего дуба, под которым стояла палатка, нет ни одной души. Потом он сообщил совсем тихо и глуховато:

— Мы не дойдём до Вазузы.

Вздрагивающей рукой он провёл карандашом по карте.

— Наш полк остановится вот здесь, — сказал он и, заметив, что рука вздрагивает, убрал её с карты. — На переправе большой затор. Говорят, что там собралось столько частей и беженцев, что не окинешь глазом. И — настоящий ад! Так вот, наша главная задача — стать и задержать немецкие колонны до тех пор, пока все части, в том числе и два полка нашей дивизии, не окажутся за переправой. Мы можем уйти только последними. Вы понимаете, что на нас возложено? — он строго осмотрел Озерова и Лозневого. — Мы должны стоять насмерть. До последнего. Должны умереть, но спасти других. Ясно?

Всю неделю, находясь в батальоне, Лозневой ждал внезапных и грозных событий, но он никак не ожидал того, что случилось: их полк ради спасения других частей обрекался на верную гибель.

— Да, это ясно, — проговорил он, не слыша своего голоса.

Капитан Озеров помолчал несколько секунд, закрутив пальцами он трогал края своего планшета.

— Что ж, будем стоять! — наконец сказал он и, щёлкнув кнопкой на планшете, быстро поднял на Волошина отчего-то сильно засиневшие глаза. — Но стоит ли нам так много говорить о смерти? Умереть на войне — лёгкое дело. А нам, большевикам, по душе трудные дела.

Собираясь указать Лозневому рубеж, который должен занять его батальон для обороны, майор Волошин торопливо водил глазами по карте. Услышав последние слова Озерова, он быстро вскинул голову, и на его

мясистом и угрястом носу запрыгали очки.

— Ф-филос-софия? — крикнул он со свистом. — Опять?

В этот момент донесло до слуха сухой, хватающий за сердце свист мотора: немецкий истребитель, серо-жёлтый и тонкокрылый, как оса, шёл с востока низко над землёй.

— Ложись! — крикнул Озеров.

Все рухнули на землю. Истребитель прошёл над леском, почти задевая плоскостями вершины деревьев, а через несколько секунд с опушки донесло голоса:

— Упал! Упал!

Вокруг поднялся гомон. С опушки леска, переключаясь, понеслись солдаты в поле. Послышались выстрелы. На ближнем пригорке косо торчало крыло истребителя, блестя на солнце серо-жёлтой лягушечьей краской...

## Х

Вскоре на стоянку Лозневого привели пленного немецкого лётчика. Он был высок и сух, как хвощ. На нём был изорванный комбинезон с блестящей, точно змеякой, застёжкой на груди. Заложив руки за спину, он остановился близ дуба и осмотрелся неторопливо, спокойно и даже нагло, высоко подняв растрёпанный белокурый чуб.

Майор Волошин впервые увидел врага в лицо.

Наглость немца возмутила Волошина. «О, вон они какие!» — подумал он, оглядев немца сквозь очки, и вдруг, ступив вперёд, спросил хрипло, содрогаясь всей грузной и рыхловатой фигурой:

— Ты что же, а? Что смотришь так?

Немец слегка приподнял голову. Губы его тронула едва приметная презрительная улыбка. Волошин сорвал с носа очки, и глаза его, большие, как у филина, глянули на немца, наливаясь кровью и злобой. Бешено стиснув огромные волосатые кулаки, он закричал:

— Как фамилия? Ну?

Немец посмотрел на командира полка ещё с большей дерзостью.

— Молчишь, тварь? Молчишь? —

и по щекам Волошина потекли струйки пота; вытащив из кармана платок, он обернулся к Озерову: — Вот сволочь, а? Не понимает!

— Разрешите мне, — сказал Озеров.

— Ах, да! — спохватился Волошин. — Ведь ты, кажется, можешь по-немецки? А ну, валай!

В эту минуту немец успел вытащить из кармана небольшую ярко поблёскивающую гармонику. Он легонько, для пробы, провёл ею по губам — раздалась мягкие, певучие звуки. Не глядя на окружающих, немец начал осматривать и пробовать легко пощёлкивающие ладьи... У Озерова мгновенно потемнело лицо, и от этого резко обозначились рябинки. Он сделал шаг вперёд — и от его сильного голоса дрогнул воздух:

— Stillgestanden! <sup>1</sup>

Немец на секунду приподнял глаза, но тут же вновь принялся за своё дело. Тогда Озеров, сделав ещё один шаг вперёд, без взмаха, но с бешеной силой ударил немца кулаком под рёбра. Вскинув руки, немец со стоном отлетел под ближний куст орешника.

— Aufstehen! <sup>2</sup> — крикнул Озеров.

Немец быстро вскочил, вытянулся, испуганно вытаращив глаза.

— Имя? — неожиданно спросил Озеров по-русски: — Фамилия?

— Курт Краузе, — каркнул немец.

— Ага, вы и по-русски говорите, — заметил Озеров. — Видите? — громко сказал он, обращаясь к майору Волошину, но желая, чтобы его слышали и солдаты, выглядывавшие из кустов. — Когда их начинаешь бить, спесь и наглость слетает с них, как шелуха, и тогда они становятся тем, чем есть, — он повторил, рубанув воздух рукой: — Бить их надо, бить! Тогда они поймут, с кем имеют дело!

В кустах послышались одобрительные голоса:

— Вот это правда!

— Ловко он его!

Немец заносчиво сказал:

— Немецкая армия непобедима!

<sup>1</sup> Смирно!

<sup>2</sup> Встать!

— Вот как! — теперь уже Озеров, посветлев лицом, презрительно смотрел на немца. — А скажите: почему вы оказались на земле?

Курт Краузе опустил чуб.

— Вы конвоировали колонны, которые идут по большим дорогам к переправе, — сказал Озеров. — Это мы знаем. Может быть, скажете, что это неправда?

— Нет, это правда, — ответил Краузе.

— Когда они должны быть у переправы?

— Завтра утром.

— Не врать! — крикнул Озеров.

Майор Волошин давно стоял позади. Он торопился дать последние указания Лозневому и скакать дальше — к реке Вазузе. Ему не нравилось, что Озеров затягивал вопрос. К тому же ему было неприятно оттого, что не он, а Озеров заставил ствечать немца. Стараясь как-то подняться в глазах окружающих, он сам решил закончить дело. Он выступил вперёд, переспросил:

— Значит, завтра?

— Завтра утром, — повторил Краузе. — Так мне известно.

— Ну всё! — властно распорядился Волошин. — Конец!

Курт Краузе дрогнул.

— Вы меня убьёте? — спросил он тихо.

— Зачем? — презрительно сказал Озеров. — Нет, вам будет предоставлена возможность увидеть поражение вашей «непобедимой» Германии. Вы ещё...

— Озеров, всё! — крикнул Волошин. — Довольно!

Подозвав Лозневого, который стоял под дубом, майор Волошин спросил:

— Где они... твои бойцы эти?

— Здесь, товарищ майор!

— Сюда!

Из кустов орешника вышел сержант с винтовкой, а за ним — четыре бойца. Сержант был высокого роста, немного сутулый, смуглый, угрюмого, лесного вида, — такому только бродить за зверем по тайге да добывать в неведомых дебрях золото. Ему было не больше двадцати пяти, но казался он стар-

ше своих лет: на лбу у него издали были видны морщинки, а на суховатых, загорелых плитах щёк проступала жёсткая и густая, как отава, тёмная поросль. Не по годам, а скорее по выправке да по смелости взгляда, какой он поднял на командира полка, можно было безошибочно определить, что он давно в армии и хорошо привык к суровой солдатской службе.

— Фамилия? — спросил его Волошин.

Выждав секунду, не отрывая от командира смелых карих глаз, сержант ответил:

— Юргин, товарищ майор.

— Сибиряк, что ли?

— Угадали. С Енисея.

— Он отстреливался?

— Да, немного, — нехотя ответил Юргин.

— Вот что, орлы! — заговорил Волошин, обращаясь уже не только к Юргину, но и ко всем бойцам. — От лица службы — за смелость — благодарю!

Солдаты ответили на благодарность, и Волошин тут же добавил:

— А теперь отведите его вот туда... Подальше отведите! И покараульте. Ясно?

— Есть! — неспеша козырнул Юргин.

Курта Краузе увели.

— Отправить в штадив, — распорядился Волошин, мельком взглянув на своего заместителя; расправив на ящике измятую карту, он показал, наконец, Лозневому, где должен остановиться его батальон для занятия обороны. — Батальоны Верховского и Болотина, — пояснил он Лозневому, — оседлают большаки и будут сдерживать немецкие колонны, а ты будешь стоять в центре, между большаками, по этим вот высоткам, по опушкам лесков... У тебя, как видишь, задача проще.

Сдерживая волнение, Лозневой начал делать пометки на своей карте. Перед глазами пестрило: казалось, что значки, цифры, зелёные пятна и названия селений ползают по карте, как живые, убегая от ядовитого синего карандаша.

— Стой! Где метишь? — остановил его Волошин.

— Ах, вот где! Извините, товарищ майор.

— Да, кстати... — тут же заговорил Волошин. — Ты ведь, Лозневой, кажется, ещё не воевал?

— Нет ещё, товарищ майор, — ответил Лозневой.

— Так вот, я тебя и ставлю поэтому в центре, — сказал Волошин. — Те два батальона будут драться на большаках, а у тебя, в центре, проще дело. Безопаснее. Но, в общем, надо занять рубеж, окопаться и стоять! Без приказа — ни шагу! — голос его зазвучал твёрдо. — Умереть, но не сходить с места! Стоять до последнего!

Он склонил глаза на Озерова и добавил:

— И без всякой философии!

Указав на карте место, где отмечено устроить его командный пункт, майор Волошин быстро собрался и ускакал с автоматчиками из леса.

Встреча с майором Волошиным была самым важным событием в жизни Лозневого за последние дни. Проводив командира полка, Лозневой крикнул своего начальника штаба — лейтенанта Хмелько. Тот давно и с нетерпением ожидал этого вызова, чтобы узнать новости. Лёгкой, мальчишеской походкой, позвякивая шпорами, он побежал к комбату, вскинул ладонь под козырёк фуражки. Не глядя на Хмелько, пересыпая на ладони литые бронзовые жолудя, Лозневой спросил шолом:

— Знаешь, кто мы?

— Мы? А кто? — Хмелько зесь потянулся вперёд.

Кинув горсть жолудей на землю, посыпанную цветистой листвой, Лозневой хрипло сказал:

— Смертники! — и, тут же подумав о том, что ожидает его завтра, Лозневой окончательно утвердился в мысли, которая оказалась роковой в его жизни.

## XI

Откинув ветку орешника, капитан Озеров увидел Матвея Юргина. Присев на корточки среди еловых и

берёзовых пеньков, у небольшой лужицы, посыпанной спавшими листьями, смуглый и угрюмоватый сержант обтирал задымленный бок своего котелка мокрым пучком лесной осоки.

— А, земляк! — приветливо окликнул его Озеров.

Юргин поднялся, оставив котелок у лужицы, окинул Озерова смелым взглядом, спросил:

— Или тоже, товарищ капитан, из Сибири?

— Также из Сибири. Только с Оби.

— О, земляки! — улыбнулся губами Юргин.

— Да ты делай своё дело, делай! — Озеров подошёл к лужице, присел на корточки и, когда Юргин снова принялся чистить котелок, спросил: — Давно из дома?

— Давно! Я на сверхсрочной.

— И в отпуску не бывал?

— Нет, побывал летось...<sup>1</sup>

Озеров улыбнулся, услышав далёкое и забыто слово, — так и пахнуло на него родной Сибирью. Помедлив, спросил:

— Не отвык ещё от наших словечек?

— Отвыкаю. Но, они цепкие, как клещи.

Подняв пруттик, Озеров разогнал несколько листьев со середины лужицы — на чистом выпрямились торчавшие со дна зелёные шильца осоки. Просыпавшись сквозь листву ближней берёзы, на гладкое тёмное дно лужицы упали солнечные блёстки мелкой и тонкой чеканки.

— Коммунист?

— Состою. С весны.

— В Сибири-то чем занимался?

— Известно, в колхозе... Промышлял с бригадой в тайге.

— За белкой?

— Больше за белкой.

— Её у вас там, на Енисее, много!

— Тьма! И своей много и ходовой...<sup>2</sup>

Немного ещё помолчали. Юргин старательно оттирал землёй гарь на дне котелка. В леске подзатихли солдатские голоса: все, должно быть, отдыхали после обеда. Изда-

<sup>1</sup> Летось по-сибирски — прошлое лето.

<sup>2</sup> Ходовая — приходящая из других мест в поисках пищи.

лека, с обеих флангов, доплёскивало гул орудий. Иногда легонько изнутри встряхивало землю: над лужицей трепетали зелёные жала осоки. У Озерова начали затекать ноги. Он поднялся, но тут же сел на ближний еловый пенёк, спросил:

— Ну как, земляк, не надоело ещё?

— Что «не надоело»? — насторожился Юргин.

— Отступать-то?

— Чересчур надоело, товарищ капитан! — Юргин с досадой бросил в лужицу истёртый пучок осоки. — Какое это дело? Так обидно, что душу рвёт!

— Ты вот что, земляк, скажи мне, — Озеров оглянулся назад, затем спросил потише: — Отчего это у нас немцев так боятся, а? Что такое? В чём дело?

— А кто боится?

— Да многие.

— Ну нет, — спокойно возразил Юргин. — Таких, товарищ капитан, совсем мало. Что они — немцы? Какой такой особой природы? Нет, против немцев особого страха не видеть. У кого заячья душа, тот, понятно, и свою тень увидит — без памяти шуганёт в кусты.

— Отчего же... чуть что — паника?

— А это, товарищ капитан, из-за танков и самолётов, — подумав, ответил Юргин. — Немцев наши ребята не боятся, а вот их танков да самолётов побаиваются, это верно. Многие ведь и в бою как следует ещё не были, не нюхали ещё пороху, а машины — они... От одного вою, распроязви их, оторопь берёт! А ведь у нас... Можно сказать?

— Конечно, говори всё, — разрешил Озеров.

— Вон, какие у нас ружьишки-то! — Юргин кивнул на свою винтовку, что стояла на сухом месте под ёлкой. — Они и хороши, зачем зря грешить, да не по этой дичи. Какой толк бекасинником по медведю? Ну, а бутылки эти... Тоже можно?

— Говори всё, не бойсь!

— Я не боюсь, — спокойно сказал Матвей Юргин. — Отец сызмальства отучил бояться. Однажды мы подня-

ли медведицу. Ну, он её сразу свалил у берлоги. Я на радостях кинулся к ней, подбежал, а затем моментом из берлоги ка-а-ак махнёт другой медведь! Меня всего даже снегом обдало! Оказался пестун<sup>1</sup>. Вот тогда я испугался до смерти. Ну, отец тут же и давай меня лупить. Обе лыжи обломал. Едва я доплёлся тогда до зимовья.

— А пестуна-то... взяли? — живо поинтересовался Озеров.

— Где там, товарищ капитан! Пока отец бил меня, он убежал, леший патлатый! — Юргин ополоснул котелок, опрокинул его на тонкий берёзовый пенёк для просушки, сказал впервые за разговор весело, с удовольствием. — С тех пор — как рукой сняло! Его, страх-то, вышибать надо из человека. Вовремя не вышибешь — пропал человек!

— Ты о бутылках-то... — напомнил Озеров.

Закончив дело, Юргин тоже присел на пенёк, напротив Озерова. Вытащив из кармана чистую тряпицу, начал обтирать задубевшие руки.

— А о них вот что... — продолжал он по привычке неспеша. — Когда речь зайдёт между бойцов, я их сам хвалю. Зажечь танк этой горючкой можно, она вон как полыхает! Градусы она даёт. Ну, а всё же эти бутылки — от большой нужды. Плохая от них утеха. Мне пришлось однажды... Как ползет он на тебя, одним гулом с ног сшибает, а ты держишь её, сердечную, за горлышко — и в глазах темнеет! Тут бы его громом оглушить, молнией насквозь прожечь, а ты с этой пол-литрой, извиняюсь, тыркаешься в ямке, метишь, который ему бок опалить! Это какая же, товарищ капитан, работа почти голой силой?

Озеров слушал, наблюдая, как листья, разогнанные им, вновь сходятся к середине лужицы. Потом хлестнул по лужице прутиком.

— Обожди, земляк! Всё, что надо, — всё будет!

— Я верю, что будет.

— И танки и самолёты! Всё! Обожди только.

<sup>1</sup> Годовалый медведь, продолжающий жить с матерью.

— Да мы ничего, потерпим,— сказал Юргин.

— А пока и бутылками надо жечь!

— Ну-к, что сделаешь! Будем жечь! — Юргин помедлил, взглянул на Озерова и продолжал горячее: — Оно, товарищ капитан, и с таким оружием, какое есть, можно бы воевать лучше, да тут ещё одна заковыка. Диву я даюсь! Сколько мы отходим, земель и добра бросаем, нужды терпим, а нет, многим ещё не дошла она, эта война, до печёнок! Не дошла ещё! Помаленьку начинает доходить, а ещё не совсем. Мне это видно. А вот когда дойдёт до печёнок, — тогда всё! Тогда даже и от голой силы немцам станет страшно! Это как на пасеке... Залезет медведь лапой в улей — и вот поднимутся пчёлы! И сначала, пока, видно, не поймут толком, что случилось, вот выются, вот гудят! А как поймут, видно, что медведь начисто зорит улей, — и пошло! Облепят медведя, и тому только дай бог ноги! И какая сила у каждой махонькой пчёлки! И храбрость какая! Сама гибнет, а жалит! И вот я так думаю: как дойдёт у нас до такого момента, тогда всё! Извиняюсь, товарищ капитан, может, я не так соображаю?

Озеров поднялся, сказал:

— Ну, земляк, порадовал ты меня! Соображаешь ты правильно, очень правильно! Ненависть — самое сильное оружие. Его у нас пока тоже мало. Но это оружие, Юргин, нам не привезут из тыла. Мы сами находу должны его ковать. Понял? Ты запомни это.

— Я это понимаю, — сказал Юргин.

— А теперь, земляк, вот что: бери винтовку — и пошли. Он где, немецкий лёгчик-то? Надо отправлять его. Сейчас я крикну людей. Далеко он?

— А вот тут, недалеко. Идёмте!

...Курт Краузе сидел под маленькой темнокожей липкой. Перед ним стоял новенький темнозелёный котелок с густой мясной лапшой. Вокруг, на поляне, сидели солдаты. Они с любопытством наблюдали, как пленный, не скрывая своей жадности, орудовал в котелке ложкой.

Большинство из них тоже впервые видели так близко в лицо живого немца.

— Эх, ясно море! — густым, низким голосом сказал Андрей. — Оголодал ты! Да ешь, ешь! Мало будет — ещё принесу. Мы не жадные. Ешь!

— Здоров жрать! — подвинулся боец Дегтярёв.

Они знали, что пленный хорошо понимает русский язык: многие из-за кустов слышали, как его допрашивал заместитель командира полка. Но, зная это, они всё же разговаривали о пленном так, будто он не только не понимал русского языка, но и был вдобавок туговат на ухо.

— Жрёт, что надо! — подтвердил и Умрихин. — На удивленье!

— Нашим едокам не устоять!

— Ещё бы! Второй котелок без роздыху!

— А сух — в чём душа.

— У них, небось, какой харч? — сказал Глухань. — Сказывают, будто мешанину из опилок едят. Правда ли?

— Лопают! — знающе промолвил Умрихин.

— Чудной народ! — подивился Андрей.

— Не столь чудной, сколь жадный.

— Эх, ребята, и чешется у меня нога! — сказал Дегтярёв. — Так и хочется дать ему по ноздрям!

Раздвинув кусты, на полянку шагнул Матвей Юргин. Не повышая голоса, но властно подал команду:

— Встать.

Следом за сержантом на полянку вышел капитан Озеров. Через минуту два автоматчика увели Краузе. Поглядывая на котелок, оставшийся под липкой, Озеров спросил солдат:

— Кто приносил?

Андрей вытянулся перед командиром:

— Я, товарищ капитан!

— Тебе что же... приказали накормить его?

Андрей молчал.

— Его... что же... уже зачислили на довольствие?

— Он сам попросил, — сдержав вздох, ответил Андрей.

— Ага, понятно, — тихо сказал капитан Озеров. — И тебе стало жалко его? У тебя добрая душа? Да? — Озеров повысил голос, сказал с издёвкой: — Ну как же! Он устал! Он с утра летал по дорогам и убивал наших людей! — у Озерова вдруг потемнело лицо, и на нём опять резко обозначились рябинки. — Отчего ты так добр с этим убийцей? Отчего?

У Андрея быстро багровело лицо. Он смотрел прямо на капитана Озерова, но от волнения не слышал, что говорил тот, подступая всё ближе, смотря на него в упор, дико сводя под опущенными, выгоревшими бровями жарко засиневшие глаза.

## XII

На голом, открытом для ветров пригорке — по обе стороны просёлка — зияли небольшие свежие воронки; вокруг, по запылённой и помятой щетинке целины, были раскиданы сухие, опалённые огнём комья земли. Похоже было, что кто-то пытался здесь, да безуспешно, во многих местах сверлить пригорок огромным буравом. У обочин просёлка и подальше, между воронок, валялись убитые лошади, обломки крестьянских телег, изорванная сбруя. Подзатихший с полдня ветерок легонько обдувал это скорбное место.

— Сыпанул он! — покачав головой, сказал Андрей.

— Да нет, однако, не один, — осмотревшись, сказал Матвей Юргин. — Эх, язвы их в поганые души, что наделали, а? Весь обоз — с бабами да ребятей — пошёл в небо!

— Не знаю, что и делается!

— Почему не знаешь? Гляди!

— Какая же это война?

— Да, на войну не похоже. Один разбой.

Их взвод шёл первым в сильно растянувшейся походной колонне, вслед за головным дозором. Молча поглядывая по сторонам, солдаты прошли голый пригорок, изрытый бомбами. Легко повиливая, просёлочек начал спускаться в низину, в темно-

ватый еловый лесок. Так и лежал их путь от леска до леска: богато расшиты причудливым лесным узором ржевские земли. Солнце уже скатилось с зенита. От горизонта, издали, как пригнанные ветром, круто шли в поблёкшую высь светлые с сизоватым подбоем облака. Деревья в лесу теперь шумели не все сразу, а поочередно: отыграет листвою берёза, за ней по соседству сухо прошуршит липа, а потом и дуб потрясёт рыжими космами.

На опушке леска, по обе стороны дороги, чернели бугорки могил. Над ними стояли свежие, наспех сколоченные кресты. Над одним бугорком крестик был совсем маленький — чуть повыше берёзового пня, что торчал около, выбросив за лето от себя молодь. Андрей понял, что здесь похоронены те, что погибли на пригорке. У нового, случайного погоста никого не было, но дальше, в рыжем кустарнике, мелькали бабы платки, слышались голоса и лай собачонки.

— Эти, видать, отъездили, — угрюмо сказал Юргин.

Обернувшись к солдатам, он хотел что-то крикнуть, но тут же, сжав губы, пошёл дальше. Мрачно поглядывая на могилы, солдаты шли мимо них молча, стуча котелками и касками.

Андрей вспомнил, как уезжали вчера ольховцы. Председатель колхоза Степан Бояркин отправлялся во главе последнего колхозного обоза. В задке его телеги, загруженной разной поклажей, лежала чёрная ярка с весёлой мордочкой.

Войдя поглубже в лесок, Андрей увидел недалеко от дороги, за кустами крушины, задок телеги, в нём лежала, опутанная верёвками, молодая чёрная ярка. Она вытягивала шею, пытаясь достать ветку, реденько обвешанную зеленовато-золотистыми листочками.

— Наши! — ахнул Андрей. — Я найду!

— Какие ваши? — спросил Юргин.

— Наши колхозники, товарищ сержант!

— Ну, ступай, повайдайся...

Андрей бросился за куст круши-

ны. У телеги были широко раскинуты оглобли, в траве валялись седёлка, вожжи. Подальше, на лужайке, на жестковатом ковре брусничника, лежала на боку светлорыжая лошадеёнка. У её неловко откинутой головы сидел на корточках Степан Бояркин, высокий и костлявый человек лет тридцати, с гладко выбритым болезненным лицом, давно страдавший от язвы желудка. Узнав Андрея, он сокрушённо махнул рукой:

— Подохла!

Степан Бояркин был в распахнутом рабочем пиджаке, с непокрытой светлой головой и в одном сапоге. На левой ноге штанина была разорвана и закручена выше колена, а вокруг худой икры торопливо обмстана холщёвая тряпица, испятнанная кровью. Высокий, костлявый и бледный, Степан пошёл, прихрамывая, к телеге, на ходу крикнул:

— Видал, что с нами сделали?

— Неужто, дядя Степан, всё наши?!

— Да нет, тут из разных мест были,— ответил Бояркин.— наших совсем мало. Ну, были всё же...

— И давно?

— Утром ещё.

Андрея поразило, как изменился Степан Бояркин за одни сутки. Пуще прежнего, как с голодухи, у него запали бледные щёки, скулы выдались, и светлые, ореховые глаза жадно смотрели из глубоких затенённых впадин. Но как Степан Бояркин ни был измучен, во всём его облике чувствовалось большое, поднимающее кровь обновление: или он узнал за эти сутки такое, что давно и тщетно хотел узнать, или он внезапно достиг—в себе—какой-то радостной, освежающей и обнадеживающей победы.

— Видишь ли, как дело вышло... — начал рассказывать он, сматывая вожжи. — Выехали мы на рассвете, доехали до того вот поля, а там нас и попутал дьявол — так валом и повалили на чистень! Все же торопятся, бегут! И только это бабий базар вылез на пригорок, они и настигли. И скажи, как метлой,— за один раз смахнули с пригорка! Кто мог, тот дальше ускакал сломя

голову, а больше со страху ударились в стороны — в леса. Никакого ходу, Андрюха, нет, это же беда — и только! Ну, а мы дотащились вот сюда... Сгоряча-то мой проскакал досюда, а тут гляжу, он, как во хмелю, бедный. В бок ему попало. Теперь сиди вот тут и кукуй. Да ещё ногу вот, как на грех, осколком резануло. Теперь куда на одной костылять? И хоть бы, скажем, не видно было, какой обоз идёт! Видно же: одно бабё да ребятня! Ведь пролетел один — чуть дугу у меня не сшиб! Это как называется — баб да детишек бить?

— Убило-то кого? — весь горя, спросил Андрей.

— Да всё баб. И девочку одну убило,— ответил Бояркин.— Ульяны Шутяевой дочка.

— Валюшка? Это такая... беленькая-то?

— Вот она и есть.

— Да что ты, дядя Степан? Что ты?

— Она. Сам собирал её воедино.

Андрей отвернулся к телеге, попросил:

— Не рассказывай, не надо!

— Ну, я одного, слава богу, накормил сегодня нашей землицей! — другим, высоким голосом сказал Бояркин. — Доотвала накормил! Уж этот больше не запросит!

— Немца?

— Да вон, погляди.

Бояркин провёл Андрея шагов за двадцать от телеги, сквозь невысокие, ещё зеленые под тенью елей кусты подлеска. В кочковатой и мшистой низинке, среди золотистого папоротника, лежал навзничь долговязый немец в комбинезоне со светящейся, точно змейка, застёжкой на груди. Раскрытый рот немца был забит сырой землёй. Андрей сразу узнал в нём пленного немецкого лётчика, которого в полдень угощал на стоянке мясной солдатской лапшой, и отступил назад.

— Видишь, сыт доотвала! — тем же высоким голосом сказал Бояркин. — Вот так каждого кормить — они живо откажутся от наших харчей! Живо отойдёт охота!

— Это как он попал? — отворачиваясь, спросил Андрей.

— А тут его недавно везли два паренька ваши, — ответил Бояркин. — Хорошие ребята! Ну, увидали меня, остановились. Я им и рассказал всё... А потом и говорю: «А ну, дайте, ребята, я попробую, крепко ли держатся у них души?» Ну, скажу я, не много у них храбрости. Тьфу, пошли-ка! Обожрался он чего перед тем, что ли?

В кустах подлеска Степан Бояркин, схватив Андрея за рукав, приблизил к нему своё худое лицо с горячими, жадными до света глазами и сказал сквозь зубы, будто боясь, что его услышит оставшийся позади мертвец, но с едва сдерживаемой, разгорячённой силой:

— И знаешь, что? Убил — и не страшно! Понял? И не страшно смотреть на руки! Убил — и вроде бы меня теперь огнём всего налило!

Он сделал несколько шагов вперёд, но опять круто обернулся к Андрею, заговорил уже в полный свой, немного крикливый голос:

— А дальше мне не уйти! Куда я на одной ноге? Да и уходить, пожалуй, не надо! Обязательно, что ли, бить их по морде? А если по затылку? Чем хуже? Не пойду я никуда, Андрей! Подберу вот ребят — и мы тут такое им огненное пекло устроим, что они взвоют смертным воем! Плакать будут! Горючими слезами плакать, что пришли сюда! Кровью умываться — и выть, выть!

Бояркин говорил это с такой силой и лютой злобой, что на его щеках даже выступил румянец, а в расширенных, горячих глазах засверкали слёзы. И в эту минуту Андрей подумал, что перед ним совсем не тот Степан Бояркин, каким он знал его давно. Казалось, всё в нём было обновлено: и лицо и душа...

У телеги, успокоясь, Бояркин спросил:

— Слушай, Андрей, удружить ты мне можешь?

— Дядя Степан, говори!

— Я знаю, ты такой! А если нельзя?

— Говори, всё сделаю!

— Вот что, Андрюша, — Бояркин

растроганно и ласково взял Андрея за плечо. — Если можно, — от всей Красной Армии подари свою трёхлинейку. Для начала. Что я — с голыми руками?

Андрей решительно сбросил винтовку с плеча:

— На, дядя Степан, бери! Гранаты не надо?

— Дай, как же!

— Держи! Я достану себе.

— Ну, спасибо, Андрей, превеликое тебе спасибо! — Бояркин уложил оружие в телегу. — Ах, добрая ты душа! Вот спасибо! Ну, а когда вернёшься, можешь получить свою винтовку обратно. Так и знай. А для чего она сделана, то она и сотворить должна на нашей тут земле. Торопиться?

— Надо идти, дядя Степан.

— Ну, до скорого свидания, Андрей!

И они обнялись, как родные.

### XIII

— Вот здесь и рой! — сказал Юргин.

— Тверда здесь земля, — заметил Андрей.

— Оно и лучше. Земля — защита наша.

Вытащив из чехла лопату, Андрей поглядел вперёд. Перед ним расстилался клин целины, густо покрытый травами. На их серовато-ржавом фоне выделялись кусты почерневшего от заморозков чертополоха, круговинка помятой, осыпающейся липучки, в которой задержалось с десяток янтарных листьев лип и берёз. За целиной катилась на запад крупная зыбь лашни, и вдали стояли, как острова, еловые леса, позади них, как всегда в эти дни, клубились чёрные дымы.

Андрей потрогал пальцем остриё лопаты и оглянулся назад, на восток. По отлогому склону, изрытому овражками, золотисто рябил мелкий березнячок, впервые за лето прикрывший собой травы, за ним сверкала чернеть свежей пахоти, полоса белесоватого жнивья, а за взгорками — града нарядного осеннего леса, пронизанного косыми лучами солн-

ца. День угасал в безветрии. В лесах затаил листопад.

Сегодня от Ольховки Андрей шёл с более тяжёлым чувством, чем вчера, до неё. Позади остались дом и семья. Позади остался с детства любимый край. Всею душой он познал горечь утраты родного и, познав её, понял, как тяжела она, эта горечь, для других, уходящих сейчас на восток. Теперь он иными глазами смотрел на мир.

Взволнованный диковатой и торжественной северной красотой родных мест, Андрей вдруг понял, что он не может уйти отсюда дальше на восток, никак не может!.. «До каких же пор отступать?—возбуждённо подумал он.—До каких мест? Вот встать тут и стоять!» Он начал часто со всей силой бить лопатой в землю.

Полк майора Волошина в начале войны, пополняясь бойцами из запаса, стоял у Опочки — на реке Великой. Оттуда он и начал отступать. За дни отступления он уже несколько раз останавливался и занимал оборону. Но каждый раз получалось так: отроет он окопы, постойт день или ночь и, после небольшой схватки с разведкой противника, а то и не видя его, отступает дальше. На флангах всё время катались волны канонады, а полк Волошина, как и вся дивизия, словно опасаясь чтобы не захлестнули эти волны, торопливо отходил на восток. Несмотря на это, Андрей всякий раз охотно и с большой надеждой рыл окопы.

Так было и теперь. Только обозначился окоп, у Андрея опять появилась надежда, что полк наконец-то задержит немцев на этом рубеже. Он работал с большим усердием, и с каждой минутой работы крепла его надежда. Изредка он оглядывался по сторонам. Торопливо и молча работал весь батальон, растянувшись по полям, с которых были убраны хлеба, по склонам пригорков с холмами кустов. Позади стрелковой линии, в двух местах, артиллеристы оборудовали огневые позиции для своих орудий. Всюду звякали лопаты о камни. В лесах тюкали топоры. Из окопов и щелей, как из отдушин,

растекались прохладные запахи земных глубин. «Сколько ведь народу! — подумал Андрей.— Да неужели опять отступим?» На этот раз ему особенно не хотелось отступать дальше, и его надежда, что полк наконец-то задержит немцев, в этот вечер стала такой сильной, как никогда...

Он первым из роты по грудь зарылся в землю. С хозяйской заботливостью он оборудовал свой окоп, устроил перед ним крутой бруствер, замаскировал его веточками берёз. Дно окопа забросал сухой травой. Затем вновь, опустив лопату в руке, смотрел с минуту на запад, багровый от зари и дымный от пожарами.

— Закончил? — окликнул его со стороны Юргин.

— Готов!

Матвей Юргин был молодой командир, но за пять лет службы в армии он хорошо понял, что значит быть воином. Он давно приучил себя к мысли: служить, так служить! Всегда и во всём он старался показать бойцам образец мужественного несения тяжёлой воинской службы. Ему никогда не нужно было понукать себя быть во всём примерным — это стремление было у него естественным и жило само собой. В обычной жизни Матвей Юргин был нетороплив, угрюм и суров, хотя никогда не чурался людей. Он был одним из тех командиров, которых бойцы недолюбливают в мирной жизни, но очень любят в бою. За дни отступления, в небольших схватках с немцами, все в роте узнали, что всегда сдержанный сержант Юргин необычайно горяч на поле боя: он точно загорается неукротимым огнём и, обожжённый им, сражается с лихим бесстрашием и дикой яростью. В тихой таёжной деревушке на Енисее он был рождён для войны!

С первой встречи сурового и угрюмого сержанта властно потянуло к Андрею. Юргин и сам, пожалуй, не смог бы объяснить, почему так произошло. Он всегда присматривал за Андреем с особой, дружеской заботой. Андрей не служил раньше в армии и плохо знал военное дело, но Юргин, наблюдая за ним, лучше

других видел, что этот задумчивый, добродушный парень современем может тряхнуть своей, ныне спокойной силой. Может быть, сержанта Юргина больше всего и влекло к нему это предчувствие.

Обтерев травой лопату, Юргин направился к Андрею:

— Обогнал ты нынче меня...

Глазом командира осмотрел его окоп:

— О, у тебя хорошо!

С другой стороны неслышно подковылял развалистой походкой приземистый Семён Дегтярёв — кадровый боец последнего года службы, пообтёртый ею, выносливый, надёжно приучённый к постоянной бодрости и веселью. Он был решителен и смел и, как все люди небольшого роста, постоянно стремился быть приметным среди других, — многие догадывались, что он втайне мечтает о большом подвиге. Осмотрев окоп Андрея, Дегтярёв зажмурил левый глаз и повёл вверх коротеньким, вздёрнутым носом:

— И-и, как устроил! Ты вроде зимовать тут собрался?

— А что, можно и зимовать! — ответил Андрей.

— Где там! Ночь переночуем, а утром — дальше. Сколько раз так было!

— А если не пойдём дальше?

— Как не пойдёшь? Что ты сделаешь?

— Что сделаю? — всё так же тихо, задумчиво ответил Андрей, и его высокий светлый лоб внезапно заблестел от пота. — А если вцеплюсь вот в землю и прирасту к ней? И не пойду дальше, а? Дальше-то — Москва.

Дегтярёв взглянул на Андрея удивлённо, округлив глаза.

— И-и, какой ты! — и покачал головой.

— А как раз такой, какой надо, — сказал Юргин, вылезая из окопа Андрея; он примерялся, ловко ли будет вести из окопа огонь. — Нам всем к одной мысли дойти пора: встать и стоять, как сказано! Ничего, Андрей, отсюда хорошо будет бить.

Позади Юргина выросла непомер-

но долговязая, худощавая фигура Ивана Умрихина. Он был призван из запаса совсем недавно, по годам — старше всех во взводе. На длинной, жилистой и загорелой шее у него всегда высоко держалась вытянутая голова — он будто постоянно собсб-ражал: откуда подует? Подбсбродок и щёки у него обрастали так быстро и таким жёстким медным волосом, что его брили всем отделением и уже попортили все бритвы. Все знали, что Умрихин в боевой обстановке, несмотря на нескладность своей фигуры, быстр и ловок, хитёр и не труслив, но он почему-то всегда уверял всех, что боится войны и смерти.

— Встать и стоять! — раздумчиво, простуженным голосом повторил Умрихин слова отделённого и, когда все обернулись к нему, ещё раз повторил: — Встать и стоять! Ну, это как придётся! Сказывают, сила силу берёт. Что ты сделаешь, если у них силы больше? Вот завтра, глядишь, двинет он танки...

— Ну и что? — сердито оборвал его Юргин. — Опять пугаешь? Ты мне брось, каланча пожарная, пугать людей! Что за привычка?

— Где мне, товарищ сержант, людей пугать! — мирно и грустно возразил Умрихин. — Я сам боюсь.

— Какого ж ты чорта боишься? Отчего?

— Опять же через свой рост. — степенно поведал Умрихин. — Я же самый приметный в полку. В три погибели согнись на перебежке — всё одно хребет мелькает выше кустов. Меня, товарищ сержант, очень уж на большую дистанцию видно!

— Да, недогадлив был твой папаня! — весело подхватил Дегтярёв. — Экую ведь гибель истратил на тебя материалу! Вполне бы два бойца вышло!

— Во! — охотно согласился Умрихин. — И было бы лучше.

— Главное, у каждого поменьше бы придури было, — сказал Юргин. — А то у тебя одного чересчур много.

Умрихин вздохнул, шумно очистил в сторону вместительный ути-

ный нос, ответил без обиды и сумрачно:

— Нет, не понимаете вы моей участи! — он высоко поднял палец. — А фамилию мою вы в счёт кладёте? Умри-хин! Попробуй-ка с такой фамилией на войне! С ней, бывало, и дома-то жить страшно-ва-то. Нет, дружки-товарищи, мне не миновать смерти!

— Конечно! — захохотал Дегтярёв. — Лет через сто!

— Тебе, Семён, смешки всё! Тебе придётся в бою туго, ты в любую мышиную нору юркнёшь — и был таков!

— Мне не будет туго! Я не девка! — дерзко ответил Дегтярёв. — Уж если зачнётся как следует бой, не полезу в нору, я не твоей породы?

— Ты что — мою породу?

— Ну, будет! — прикрикнул Юргин. — Сцепились дружки!

Всё время молчавший Андрей, не вытерпев, тоже вмешался: не любил он споров:

— Будет, будет, ребята! Вот охота. Давайте-ка лучше доедим, что у меня осталось. Давайте-ка с устаку!

Все присели у окопа. Андрей развязал свой мешок и начал угощать товарищей домашней снедью: жареной говядиной, пирогами с морковью и калиной. «Как у нас дома там? — вздохнул он про себя, как вздыхал уже много раз за день. — Может, там уже немцы?» Подошли ещё бойцы отделения: Маргьянов, Вольных, Глухань. Все они давно скучали о домашней стряпне и с удовольствием — второй раз за день — набросились на подорожники Андрея. Солнце уже стояло низко над дальними урочищами. По всему рубежу продолжались работы. На ближнем пригорке, что был справа, злобно простучал пулемёт: началась пристрелка.

— Вот и опять остановились, — невесело сказал Умрихин. — Сила!

— Да откуда у них больше сил-то? — вступил в разговор Андрей — У нас же больше народу! А машинная сила... действовать она везде не может, ума в ней нет, ловкости особой нет, хитрости — тоже...

— Машина — дура, да немец на ней хитёр!

— Хитрее его нет нации.

— Вот он и идёт! И катит!

— Эх, да какой уж кусок отхватил! — Дегтярёв с досадой ударил молотом в землю.

Разламывая пирог с калиной, Матвей Юргин заметил на это угрюмо и резковато:

— Большим куском скорее подавится!

— Теперь он, этот Гитлер, — с видом старшего, больше всех пожившего, заговорил Умрихин, кидая в рот крохи, — теперь он прямо на Москву метит, — он хотел было ещё что-то сказать, как бойцы заволновались, заговорили наперебой.

— Метит? — закричал молоденький белокрысыый боец Мартьянов. — На Москву загорелись у гадов глаза? Голов у них не хватит, чтобы дойти до Москвы!

— Москвы им не взять, пусть и не думают!

— Оно и пусть думают, да не брать!

— Нет уж! — закипел Дегтярёв. — Чего-чего, а Москвы им не видать, как своих ушей! Не для немцев она создана. Весь народ наш встанет, а Москвы не отдаст. Не бывать этому никогда!

— Москву-то? Да отдать?

— Москва! — задумчиво сказал и Андрей, выбрав минутку, когда бойцы немного подзатихли. — Эх, ясно море, и хорошо же, говорят, Москва-то, а? Никогда я в ней не бывал, а душа моя вроде всегда там живёт... Москва! — повторил он, припуская ресницы. — Отдать её — это вроде свою душу отдать. Я так понимаю.

И опять зашумели все солдаты.

Один Юргин, слушая их, поглядывая то на одного, то на другого, молча трудился над пирогом с калиной. А когда они начали, как часто водилось среди солдат, толковать о том, что надо бы, дескать, сделать для спасения Москвы, для разгрома немецких полчищ, идущих к ней, он проговорил неторопливо, но так, что его услышали все:

— Что делать? Да как быть? Да мы сами, если поглядеть, во всём виноваты! — он встряхнул на ладони маленький серый камень. — Гляди, вот он!..

— Кремьень? — спросил Андрей.

— Да. На дороге, вон, поднял. Валяется вот так, серенький, незаметный. Иной подумает: на что он годен? Пустой камешек! А вот теперь гляди!

Юргин вытащил из кармана обломок рашпиля, подобранный на кресало. Коротко взглянув на бойцов, он ударил им по кремню. Во все стороны посыпались крупные, жгучие искры. Ещё раз взглянув на бойцов, Юргин начал бить по кремню размеренно и часто — у его рук загорался маленький пучок искр.

— Видали?

— Это к чему же? — спросил Глухань.

— Каждому бы из нас, — наставительно сказал Юргин, — вот таким быть, как этот кремьень. Злости побольше! Тогда война сразу повернёт туда! — он махнул рукой на запад. — Повернёт и огнём спалит всех этих немцев, будь они трижды прокляты! Голову даю наотрез!

Он отодвинул мешок Андрея, показывая этим, что пора кончать с едой, и опять, взглянув на притихших солдат, заговорил резко:

— Как да что? А зачем тут гадать? — и вытащил помятую жестяную коробочку из-под зубного порошка, в которой держал табак.

Всех тоже потянуло закурить после еды. Солдаты начали доставать кисеты. Махорку получили в обед, но ни у кого не было бумаги, и Умрихин, зная эту беду, сразу полез поближе к отделённому:

— А бумажкой разживёмся, товарищ сержант? У вас есть, должно, в запасе, а?

— Погоди, поискать надо...

Но в это время со стороны долетел голос:

— Во-оздух!

И сразу, вскинув головы, все услышали тягучее, шмелиное нытьё моторов в далёкой небесной вышине. Выйдя из-под серой, дымчатой

тучи, немецкие бомбовозы, чёрные на фоне неба, направились напрямик к рубежу обороны полка. Послышались привычные, протяжные команды:

— Во-оздух!

— По ше-елям!

— Во-оздух!

Вскочив, Юргин сказал тихонько:

— В окопы!

Не доходя до рубежа, где остановился полк Волошина, ведущий «юнкерс» выдвинулся вперёд. Во всех окопах скрылись каски. Но «юнкерс» дошёл до обороны, не сбавив высоты, и только пройдя ещё немного над лесом, что был позади, круто пошёл в пике — над округой пронёсся дикий вой его сирены. Должно быть, немец хорошо знал цель, на которую шёл: он не тратил время для осмотра её с высоты. И только начали все остальные самолёты вытягиваться цепочкой, он уже сбросил свой смертный груз: далеко за лесом что-то рухнуло, как в пропасть, и ещё раз, и ещё, и окрест прокатилось гулкое осеннее эхо...

#### XIV

Проводив самолёты глазами обратно до тучи, все бойцы отделения Юргина, взволнованно поругиваясь, опять потянулись к окопу Андрея.

— Переправу бомбили. На Вазуве, — сказал Андрей.

— Далеко до этой Вазузы? — спросил Юргин.

— Километров семь будет.

— Глубока?

— Где перейдёшь, а где и плыть надо, — ответил Андрей. — Сейчас она, под осень, и глубока и быстра. Пехоте ещё ничего, а с машинами да орудиями — плохо.

Солдаты расположились у окопа. Теперь ещё сильнее потянуло всех на курево. Иван Умрихин вновь подсел поближе к Юргину, заговорил жалобно:

— Так что же, товарищ сержант, разживёмся, а? Скажи, ни у одного вот такого клочка нет! Сегодня, когда шли, березки всё обдирали.

— Погоди, сейчас поищу..

Юргин вытащил из кармана небольшую армейскую газетку, сильно обтёртую, и начал разворачивать её на коленях. Все сбились вокруг, доставая кисеты. Но Юргин сказал:

— Нет, и у меня вся вышла...

— А это? — спросил кто-то из-за его плеча.

Но тут все увидели на развёрнутом газетном листе знакомый портрет товарища Сталина. И Семён Дегтярёв, первым отодвигаясь от Юргина, сказал строго:

— Это нельзя. Это береги.

— Нельзя! — вздохнув, согласился и Умрихин.

— Может, трубку закурим? — предложил Матвей Юргин. — Мне вчера подарили её в одной деревне. Дед-колхозник подарил. Хороший такой дед! Он сам, видно, сделал её из корешка берёзы.

Закурили трубку. Она переходила из рук в руки. Махорка в ней трещала, и от её едкого дыма рвало в горле. Кое-как поборов кашель, Матвей Юргин возобновил разговор, прерванный появлением самолётов.

— А гадать и нечего, — сказал он и пощёлкал пальцами по газете, которая всё ещё лежала на его коленях. — Вот здесь же всё ясно сказано. Или забыли?

— Да оно, конечно, не забыли, — ответил за всех Умрихин, стараясь незаметно придержать у себя трубку подольше. — А почитать ещё не мешает, конечно... Почитай, товарищ сержант, пока курим!

— «Что требуется для того, — начал читать Юргин то место из речи, которое было отмечено у него карандашом, — чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?» — он опустил газету, помедлил, словно давая бойцам время получше обдумать прочитанное, и затем продолжал дальше, неспеша, разделяя фразы на отдельные части, а то и слова. «Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, — читал он, — советские люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились

от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства...»

— Где уж тут строить! — перебил Мартьянов.

— Не мешай! — строго сказал Умрихин, махнув на него трубкой.

Закончив прерванную фразу, Матвей Юргин опять помедлил, а потом продолжал более резко:

— «Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма... — голос Юргина всё сильнее крепчал и наполнялся угрюмой, гневной силой. — ...Дело идёт, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение».

Матвей Юргин умолк. У него оказалось вдруг морщин больше, чем было заметно в обычное время. Передыхая, он присткрывал и злобно растягивал обветренные губы.

— Понятно? — спросил он жёстко и, взглянув на Андрея, сказал, не дожидаясь ответов: — А за это их, зверюг, не лапшой кормить надо!

У Андрея запылало всё лицо и уши. И даже перехватило горло. Он ответил не сразу и с большим трудом:

— И что вы... И что вы, товарищ сержант, о той лапше вспомнили? Да подавился бы он ею тогда!

Все солдаты угрюмо молчали.

— «...Необходимо, далее, — продолжал читать Юргин, — чтобы в наших рядах не было места нытикам, трусам и дезертирам...»

— С пропуском читаешь, — заметил Дегтярёв.

— Обожди-ка, и верно: пропустил одно слово, — Юргин получше разглядел газетный лист, — тут, видишь ли, позатёрлось это место здорово, — он повторил фразу снова: «Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникёрам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу оте-

чественную освободительную войну против фашистских порабощителей», — Юргин начал свёртывать газету. — Видите, как тут всё ясно сказано?

Солдаты вновь заговорили было наперебой, но Матвей Юргин, взглянув на запад, поднялся со своего места.

— И верно, ребята, — сказал Умрихин. — Поговорим ещё опосля. А теперь и отдохнуть надо. Сегодня отмахали вон сколь да тут наработались вволю — руки и ноги гудят. Как чужие. Пора и на покой.

— Отдохнёшь немного после. — сказал Юргин.

— Это когда же?

— После войны.

— Фи-и! — протяжно свистнул Умрихин. — А сейчас?

— Встать! — Юргин сверкнул зрачками.

## XV

Солнце село. Багрово-дымные потоки зари затопили все урочища на западе. Отовсюду потянуло сумеречью. Унялась дрожь земли. Затихло и в небе. Метров за двести позади стрелковой линии отделение Юргина, растянувшись цепочкой, вновь начало рыть окопы.

— Вот двужилый дьявол! — ворчал Умрихин.

— Не гунди! — просил Дегтярёв, копавший рядом. — Надоел! Даже в ушах ломит! Что ты на него злишься? Ты на немцев вон злился!

— Да никакого ж покою от него!

— И-и, покою захотел! На войне?

Позади показалась небольшая группа.

— Командиры, — предупредил Андрей.

Все разогнулись у своих окопов. Оторвавшись от группы, прямо к Юргину быстрым шагом направился комбат Лозневой; плащ-палатка, надевая им поверх шинели, раздувалась и тащилась по траве, как риза. Ещё с хода он начал кричать:

— Куда вы к чорту забрались? Кто вам разрешил тут?

Подскочив к Юргину, он ткнул пальцем на запад.

— Вон где рыть надо! Ослепли? Вон, где люди!

Юргин поднял руку к пилотке:

— Товарищ старший лейтенант...

— Молчать! Всем сказано: вон где!

Подошли остальные командиры. Первым среди них — высокий, грузноватый капитан Озеров, как всегда, в удобном для ходьбы, работы и боя стёганом солдатском ватнике защитного цвета. Встретив его, Лозневой, дрожа от негодования, поблескивая резкими, железными глазами, доложил:

— Видите, товарищ капитан, какой народ? Скажешь одно, а они — своё! Было ясно сказано: вон где рыть окопы!

Озеров узнал Юргина, спросил:

— Ты что же это, земляк?

— Товарищ капитан, — не повышая голоса, заговорил Юргин, — там где указано, мы уже сделали окопы. А это нам взводный разрешил... Это же, глядите, какие окопы, — ложные, для обмана немца!

— А, вон что! — весело сказал Озеров.

— По уставу, как положено...

— Всё ясно, Юргин! — Озеров обернулся к Лозневому, тот растерянно оглядывался по сторонам. — Теперь вы видите? Оказывается, бойцы не так уж устали, если по своей инициативе делают ложные окопы? Делать! — он вдруг рубанул рукой. — И делать как можно больше! Передать артиллеристам: пусть тоже делают ложные позиции. А основные замаскировать так, чтобы в упор не видно было! До начала боя вся огневая система должна быть скрыта от врага. Внезапный удар — самый сильный удар. Пора нам знать это.

— Есть! — Лозневой уныло кзырнул.

Озеров оглядел бойцов, они успели незаметно и неслышно собраться вокруг. Увидев, что среди них есть люди из запаса, спросил:

— Гранаты все умеете бросать?

Бойцы, не торопясь, ответили:

— Бросали...

— Вроде умеем...

— Вот ты,— Озеров кивнул на Умрихина, — можешь?

— Показывали как-то... — начал Умрихин уклончиво.

— А ну, теперь ты покажи!

Волнуясь, Умрихин снял гранату с пояса. Но пока он вставлял в неё запал, стало ясно: обращаться с гранатой — непривычное для него дело. Солдаты подумали, что Озеров даст ему сейчас такой нагоняй, что всем будет тошно. Но капитан Озеров, только вздохнув, выхватил из рук Умрихина гранату и сам показал, как надо готовить её к броску. Потом спросил окружавших его солдат:

— Теперь понятно? — и шагнул вперёд. — А бросают вот так!

Все думали, что капитан Озеров только покажет, как нужно взмахивать рукой, но он, взмахнув ею, неожиданно сильно швырнул гранату и, пока она ещё мелькала в воздухе, крикнул:

— Ложи-и-ись!

Все бросились на землю. Раздался взрыв. Метров за сорок, показалось, вырос чёрный куст. Над людьми тихонько пропели осколки.

Озеров вскочил первым:

— Никого не задело?

Зашумев, все начали подниматься с земли.

— Плохо! — заключил Озеров. — Вижу, кое-кто ещё боится огня. Очень плохо. Не бояться! — крикнул он. — Кто боится, тому погибать!

— Неожиданно ведь, — путаясь в плащ-палатке, сказал Лозневой.

— В бою всё неожиданно! Проверить, все ли умеют бросать гранаты и бутылки с горючей смесью. Кто не умеет, научить за ночь.

— Есть! — ответил Лозневой.

— Слышали? — обратился к бойцам Озеров. — А приказ один: стоять, пока не будет разрешено отойти. Пойдут танки — стоять! Пойдёт пехота — стоять! Ни шагу назад! Вот так стоять надо!

Проводив Озерова, отделение Юргина вновь принялось за работу. Зазвенели лопаты: в земле попадались камни. Спустия немного, Умрихин,

оглядевшись, спросил Дегтярёва громко и хрипловато:

— Видал, что вышло?

— С гранатой? Видал, что ничего у тебя не вышло.

— Плохо видал! — мирно, со вздохом возразил Умрихин. — Моей же гранатой и меня же чуть не убило! Так и секанул было осколок по тёмю! Чуть пониже — и поминай бы меня, как звали. Нет уж, видать, не наживёшь долго с такой, как у меня, фамилией. Ну, как буду помирать, прихвачу с собой одну гранатку. Кидать теперь умею. Научили. Отыщу на том свете того, кто придумал нашему роду такую фамилию, да так трахну его гранаткой, чтоб ему вовек не собрать свою требуху! И весь разговор с ним!

Сумерки быстро текли над землёй.

## XVI

Рубеж для обороны полк Волошина занял удачно. На правом фланге, перерезав большак, по опушкам перелесков зарылся в землю первый батальон Болотина; дальше от него лежали трясиновые места, покрытые березняком да ольхой. На левом фланге, тоже перерезав большак, под стеной тёмного урочища стал батальон Журавского. Между батальонами Болотина и Журавского простиралось увалистое поле. По нему пролегали лишь небольшие, вилочие и неторные просёлки, почти заросшие травой за лето. Здесь, в центре рубежа, был поставлен третий батальон — Лозневого. Позади его тоже вздымался большой смешанный лес, уходящий к Вазузе.

На этом рубеже полк майора Волошина, несомненно, мог задержать врага надолго. За время отступления полк имел лишь небольшие схватки с разведывательными группами противника и потерял немного людей. Больше двух тысяч солдат, растянувшись извилистой цепью на несколько километров — от урочища до болота, — зарывались в землю с пулемётами, винтовками и гранатами. Для защиты рубежа, особенно большаков, по которым двигались немецкие колонны, артиллери-

сты устанавливали все полковые орудия и часть пушек из приданного противотанкового дивизиона.

Всеми работами по созданию обороны непосредственно руководил капитан Озеров. Он носился по рубежу то на коне, то пешком, редко присаживаясь покурить. Он лично проверил, как были выбраны все ротные районы обороны и их главные опорные пункты, как отрывались основные и запасные позиции, где устанавливались орудия для стрельбы прямой наводкой. Капитан Озеров отлично понимал, что у немцев большое превосходство в мощности огня, с каким они обрушиваются при наступлении, и поэтому особенное внимание обращал на то, как распределяются и маскируются на рубеже все огневые средства полка и какое взаимодействие устанавливается между ними. Всем командирам он давал строгий наказ, чтобы основные огневые очаги были тщательно скрыты от врага до начала боя и, как правило, только в нужные, решительные минуты и по возможности внезапно вступали в действие. По замыслу капитана Озерова, предстоящий бой должен был таить для немцев множество самых неприятных неожиданностей. Это в значительной мере могло восполнить недостаток в огневой мощи полка и, следовательно, хотя бы в некоторой степени уравновесить две силы, которым предстояло столкнуться на поле боя.

К наступлению темноты все основные работы были закончены. Не без толкотни и ошибок, но всё же в конечном счёте каждая рота, а в ней и каждый боец заняли свои места на рубеже. Оборона была создана по всем законам Боевого устава пехоты — по правилам, давно принятым и проверенным в армии.

Но капитан Озеров, несмотря на всё это, не испытывал чувства удовлетворённости своей работой и всем тем, что было сделано. Ему всё время казалось, что в наспех созданной обороне есть какой-то изъян. Сколько он ни ломал голову, обнаружить его не мог. Он только чувствовал

его каким-то особым, командирским чутьём.

Озеров очень обрадовался, случайно встретив в третьем батальоне комиссара полка Яхно. Он видел Яхно первый раз за день. Комиссара полка вообще можно было встретить только случайно. Худенький, лёгкий, большой любитель пешей ходьбы, он от зари до зари бродил по разным подразделениям полка, всюду находя для себя дело. В полку Яхно появился недавно. Властолюбивый, избалованный почётом майор Волошин не захотел делить с комиссаром власть, и между ними с первых же дней установились недружелюбные отношения. Комиссар Яхно, видимо, считал, что дни отступления — неподходящее время для дележа власти и, не желая пока обострять отношений с Волошиным, жил обособленно и занимался в полку не всегда заметной, но очень важной работой. За короткое время его узнали и полюбили почти все солдаты.

В этот вечер комиссар Яхно, так же как и Озеров, не уходил с рубежа обороны. Он заставил работать весь свой обширный политический аппарат. Используя короткие перемены на перекур, его политруки во всех ротах провели коротенькие собрания коммунистов и беседы с солдатами. Солдатам объяснялось одно: до тех пор, пока не поступит приказ об отходе, всеми силами задерживать немцев на рубеже. За вечер, не мешая основным работам, комиссару Яхно — через свой аппарат — удалось великой, всепобеждающей силой слова заметно поднять боевой дух солдат, подготовить их сердца и души к бою.

Комиссар Яхно тоже обрадовался встрече с капитаном Озеровым и сразу потащил его в сторону от людей:

— Пойдём, капитан, отойдём подальше.

Сгушалась темнота. Трудно было разглядеть выражение лица Яхно, но чувствовалось, что настроен он бодро и даже немного восторженно. Задержав Озерова в лощинке, метров за сотню от командного пункта

третьего батальона, он стал перед ним — невысокий, легкий, в распахнутой шинели, — сделал какой-то неопределённый жест рукой и заговорил, как всегда, быстро:

— Бой, да? Настоящий бой?

— Я думаю, что здесь будет настоящий бой, — ответил Озеров.

— И победа будет наша, да! — резко заявил Яхно, словно Озеров доказывал ему обратное. — Наша! — он наклонился, сорвал какой-то бледный осенний цветок, едва приметный в темноте. — Я чувствую её на расстоянии, как запах вот этого цветка! И ты знаешь, как это радостно — чувствовать победу, верить в свои силы?

Даже в полутьме было видно, как на светлом, ещё моложавом лице комиссара блеснула улыбка. Озеров взял из его рук цветок, понюхал, ответил невесело:

— К сожалению, такой запах не все чувствуют, особенно на расстоянии...

Яхно схватил Озерова за пуговицу на ватнике:

— Не все? Ты это видишь?

— Вижу.

— Пройдём вон туда! — предложил Яхно и быстро, раскидывая полы шинели, пошёл из лошинки на пригорок.

— В ватнике удобнее, да? — спросил он, поджидая тяжеловатого на шаг Озерова на гребне пригорка. — Надену и я, — встав с Озеровым рядом, он продолжал: — Да, когда армия отступает четвёртый месяц, не каждый способен сохранить хорошее обоняние. Иным кажется, что всё теперь пахнет только кровью да мертвечиной, — он передёрнул плечами, словно ему было неприятно это сравнение. — Но большинство бойцов верит в победу. И я тебе скажу: сегодня они верят даже сильнее, чем в первый день войны! Я это очень хорошо чувствую. Ты посуди: сколько сегодня прошли, сколько земли перекопали, а у всех такое настроение, что хоть сейчас в бой. Все или почти все уверены в успехе. А самое важное на войне, — с каким чувством солдат идёт в бой. Вот увидишь, завтра все наши сол-

даты, а особенно коммунисты, будут драться, как львы! И победа будет за нами! Надо задержать немецкие колонны, и полк это сделает, да!

Слушая комиссара, Озеров впервые понял, почему так быстро полюбили его солдаты: в его чудесной вере, которую он рассеивал щедро, было необычайно много юношеского задора и светлого, поэтического чувства — такая вера действует на людей, как первый день весны. И Озеров искренно пожалел, что такой комиссар очень поздно прибыл в их полк.

— Драться будут, конечно — согласился он с Яхно. — Но в бою ведь действуют не только моральные силы!

— Погоди, чем ты недоволен? — Яхно приблизился.

— Чорт его знает! — ответил Озеров. — Странное у меня, товарищ комиссар, чувство. Не пойму я его. Вижу, что делаем всё будто бы правильно. Сам везде всё просмотрел, проверил... А вот, поди ж ты: всё мне кажется, что где-то, в чём-то допущена ошибка!

Яхно задумался и вдруг вновь предложил:

— Пройдём ещё немного. Вон туда.

Остановившись на новом месте, он сразу начал говорить — быстро и резко, словно желая, но не умея начать ссору с Озеровым:

— Я знаю, каким должен быть командир. Он должен думать больше до боя, чем в бою или после боя. И он должен видеть дальше и больше, чем все его подчинённые! — он опять схватил Озерова за пуговицу на ватнике. — Что ты видишь? Ну что?

— Не могу понять.

— Разгляди! — почти крикнул Яхно. — У тебя зоркий глаз! Разгляди! Смотри, — сказал он тише. — в наших руках судьба тысяч людей. Надо воевать, но как можно меньше проливать крови.

— Я думаю ещё, — тихо проговорил Озеров.

— Думай, дорогой, думай! — тоном просьбы сказал Яхно. — На те-

бя вся моя надежда,— помолчав, спросил: — Волошин на КП?

— Там.

— Да, не тот он, — сказал Яхно, отвечая какой-то своей мысли.— Вернёшься на КП, скажи ему, что я останусь в батальоне Болотина. До конца боя. Завтра я обязан быть среди бойцов. Впрочем, позвоню сам.

Спускалась ночь. Вдали, на флангах, небо багровело, как всегда в это лето, и там часто трепетали, как птицы, сигнальные ракеты, а перед рубежом обороны всё погасло в глухой тьме. У стрелковой линии слышались голоса, позвякивание котелков: начинался запоздалый солдатский ужин. Прощаясь с Озеровым, Яхно молча схватил его руку в темноте.

— Слышишь запах, да? — тихонько спросил Яхно.

— Слышу,— ответил Озеров шопотом.

## XVII

Майор Волошин всё время находился на командном пункте. Для него было выбрано место далеко позади батальона Лозневого, на опушке большого смешанного леса,— цветистой шторой он закрывал босток. Всю ночь сапёры рыли здесь щели и делали блиндажи.

Вечером у майора Волошина ещё теплилась надежда, что все части, подошедшие к переправе, за ночь успеют отступить за Вазузу, и тогда его полк, хотя бы на рассвете, тоже отойдёт с рубежа без боя. А там, бог даст, и его полк успеет скрыться за Вазузой. Но через час после бомбёжки от командира дивизии генерала Бородина прискакал гонец с плохой вестью: немецкие самолёты разбили переправу на Вазузе. По рассказам гонца, генерал Бородин принял все меры, чтобы восстановить переправу за ночь. После этого майору Волошину стало ясно, что боя не миновать: утром, когда только что возобновится движение на Вазузе, немцы, несомненно, подойдут к рубежу обороны. И надо будет сгоять, стоять насмерть, чтобы дать время другим спастись за ре-

кой, а что будет с полком,— и думать было страшно. И у майора Волошина после разговора с гонцом погасли все надежды, что ещё поддерживали его волю.

Всю ночь он никуда не отлучался с командного пункта и большую часть времени проводил один в своей походной палатке. Голова у него глухо гудела. «Пожалуй, от каски,— решил Волошин.— Таскаешь такую тяжесть на башке с утра до ночи». Качая локтями лёгкий складной столик, он часто хватался за телефонную трубку, справлялся в батальонах о ходе работ, кричал на комбатов, хотя сам не чувствовал за ними никакой вины, без конца топорил их укреплять рубеж. Бросая трубку, выходил из палатки, прислушивался и всматривался в темень, а затем снова и снова заходил к начальнику штаба. Тот с недовольством и не скрывая его отрывался от схемы обороны.

— Сиди, сиди! — говорил Волошин и заглядывал через плечо начальника штаба: — Ну как?

— Скоро будет готова.

Майор Волошин был много слышан о том, что немцы — искусные мастера окружать войска своего противника и наносить им внезапные фланговые удары, и поэтому он больше всего тревожился за свои фланги.

— Послушай, дорогой, — сказал он начальнику штаба, — это точно, что на правом фланге трясины непроходимы?

— Совершенно точно.

— А вот по этому урочищу на левом фланге нет дорог или просек? На карте я вижу, что нет, но это когда было? Может быть, после сделаны?

— Лес тоже непроходим,— уверенно отвечал начштаба.— Там совершенно безопасно.

— Где же опасно? На большаках?

— Несомненно. Немцы двигаются по ним колоннами. На большаках они и будут наносить основные удары.

— Там орудий достаточно?

— Вполне. Почти все поставлены там.

— А людей? Хватит?

— И людей тоже.

— Смотри! — соя, грозил Волошин.

Он не спал всю ночь. Перед рассветом, получив последние сведения из батальонов, просмотрев полную схему обороны, он окончательно убедился, что всё хорошо продумано и сделано для встречи врага. Но и после этого Волошин не успокоился. Он не знал, какими силами на него обрушится враг.

На рассвете майор Волошин прилёг на постель, расстегнул китель, потёр ладонью волосатую грудь. Адъютант Целуйко, заглянув в палатку, спросил тревожно:

— Сердце?

— Да, — с хрипом ответил Волошин.

Не успел Волошин принять капли, раздался торопливый, напряжённый звонок телефона. Волошин заметался на постели, схватил трубку с аппарата:

— Болотин, да?

— Ноль девять, — ответила трубка.

— Да, да! — спохватился Волошин: он совсем забыл о шифре. — Появились, да?

Капитан Болотин доложил, что на большаке показались немецкие мотоциклисты. Их обстреляло боевое охранение. Бросив машины, немцы рассыпались по обе стороны большака и начали отвечать из автоматов. Завязалась перестрелка. Болотин докладывал торопливо и, как показалось Волошину, обрадованно.

— Ты чему же рад? Чему? — подрагивая, закричал Волошин.

— Да как же! — ответил Болотин. — Бьём! Мы их сейчас!

— Эй ты, петух! — воскликнул Волошин. — Ты гляди! Дай больше огня! Дай! Слышишь?

— Есть, дать огня! — так же радостно крикнул Болотин.

Майор Волошин не сразу уложил трубку на рычаг. В палатке уже были начальник штаба и адъютант. За палаткой слышались торопливые шаги и голоса. Волошин молча по-

тянулся к рюмке, до половины наполненной зеленоватой жидкостью. Телефон тренькнул кратко, неохотно. Волошин оглянулся на начштаба:

— Журавский?

— Он.

Волошин схватил трубку.

— Да, да! — закричал он в рожок. — Ну живо, живо, говори! Брось папиросу!

— Я не курю, — ответил Журавский.

— Врёшь! Что у тебя?

— Немцы. На машине.

— Одна машина?

— Одна.

— А не больше?

— Одна.

— Да ты что — мочалку жуёшь? — Волошин побагровел. — Говори толком. Что делаешь?

— Веду перестрелку, — неспеша отозвался Журавский.

— Бей лучше! Не жалея патронов! Смотри, чтобы... Слышишь? Где ты пропал?

— Есть!

Только после этого Волошин схватил рюмку, разом проглотил лекарство. Взглянув на адъютанта, бросил:

— Дай ещё!

— Нельзя, товарищ майор! Это — лекарство.

Майор Волошин посмотрел на рюмку, поставил её около телефона. Волосатая грудь его тяжело вздымалась.

Он обернулся к начальнику штаба:

— Ну, что скажешь?

— Это разведка, — ответил начштаба.

— А ну я выйду, послушаю...

Лес стоял в розовом свете: за Вазузой поднималась заря. На правом фланге — у Болотина — работали, перебивая друг друга, несколько пулемётов и, сдваивая, гулко шёлкая, били противотанковые пушки. На левом фланге — у Журавского — быстро нарастала сухая ружейно-пулемётная пальба. Только в центре обороны — у Лозневого — стояла чуткая тишина. «Фланги, фланги, — опять подумал Волошин. — Я так и

знал!» Недалеко от командного пункта ширкала пила. Затем послышались голоса сапёров — и большая сосна, хряснув, с тяжким шумом легла в густой подлесок. «Росла, росла, — мелькнуло у Волошина, — и вот — конец!» И Волошин с особенной остротой почувствовал бесплодность.

## XVIII

Всю ночь капитан Озеров провёл в батальонах, проверяя готовность к обороне. Всё, казалось, было сделано надёжно, но чувство тревоги не проходило. На рассвете его вызвали на командный пункт полка.

В пути он услышал, что у большака началась сильная падьба.

Кинув на руки связанного ватник, он быстрым шагом направился к блиндажу командира полка. Сапоги у Озерова были измазаны глиной. Рябоватое лицо — потно и грязно от пыли. За ночь на щеках густо выметнула рыжеватая щетинка.

Волошин сидел на пне сгорбясь. Доложив о прибытии, капитан Озеров не вытерпел, спросил:

— Что же они — Болотин да Журавский — делают? — он кивнул в сторону рубежа. — Это же только разведка. Или они с ума спятили? Зачем они выдают противнику всю нашу огневую систему?

У Озерова гневно, жаркой синевой вспыхнули глаза:

— Всю ночь мы бились над тем, чтобы умело построить огневую систему и скрыть её от врага до начала боя, а они выдали! Да где? На большаках! Немецким разведчикам как раз это и нужно знать! Затем они и шли сюда. Теперь они...

— Я отдал такой приказ. Понятно? — перебил его Волошин. — Не знаю, что ещё в нашем положении более выгодно: показать немцам нашу огневую систему или нет?

Озеров смущённо поправил ремень:

— Тайна — дополнительное оружие.

— Опять из Клаузевица? — оборвал его Волошин и, тяжело поднявшись, заговорил, не глядя на Озерова: — Вы мне нужны были. Перепра-

ва на Вазузе разбита. Её восстанавливают, а когда начнётся движение, — неизвестно. Всеми работами там руководит генерал Бородин. Наши тылы, по его приказу, должны уйти за Вазузу вместе с дивизией. Поезжайте сейчас же и лично проверьте: все ли наши тылы собрались у Вазузы. Узнайте у самого генерала, когда дивизия начнёт переправляться и, вообще, когда там будет закончено всё дело. И возвращайтесь как можно скорее.

Через несколько минут капитан Озеров уже скакал к Вазузе, зло нахлёстывая плетью своего золотистого жеребца. «Всё дело в том, — думал он, — что мы не умеем воевать! Пожалуй, в этом наша главная беда. Такие, как Волошин, только губят дело. Во всём мы умнее немцев. Это несомненно. Почему же нам не быть умнее их в войне?» И ещё о многом думал Озеров, не замечая, что с жеребца, которого он всё хлестал плетью, летят брызги пены.

Из леса, в котором находился командный пункт полка, дорога вышла на высокое, открытое поле. В мирное время это поле должно бы теперь сплошь чернеть свежей пахотью; но сейчас на нём не виднелось ни одной борозды, а кое-где даже ещё лежали, покинутые хозяевами, приплюснутые копейки овса и гречихи. С поля дорога быстро стекала — через пригорки — под большой уклон: почти всю её было видно до прибрежного чёрного леса у Вазузы.

На самом гребне поля, немного успокоясь, Озеров остановил коня и посмотрел вперёд. В большой низине, расталкивая крутые берега, дымясь, шла розовая на заре Вазуза. В южной стороне — вверх по реке — до самого горизонта толпились леса. В северной стороне — вниз по реке — лежали увалистые поля, по которым были часто разбросаны небольшие деревеньки, а на холмах задумчиво стояли одинокие столетние дубы, как пастухи, охранявшие отары — рошцы. А прямо, за Вазузой, в той стороне, где Москва, золотилась заря, занимая уже большую часть восточного края неба. Много утренних зорь

видел Озеров в это лето, но ему подумалось, что не было ещё такой спокойной, но властной зари, встававшей над огромным миром лесов и полей.

«Нет, никому и никогда, никогда не победить такой страны! — подумал он с тем душевным подъёмом, какой испытывал он, принимая призыв. — Всё вытерпим, всё вынесем! И устоим!» — и он пустил под уклон коня рысью.

Весь прибрежный лес на Вазузе был искалечен немецкой авиацией, будто прошёл над ним ураган неслыханной, свирепой силы. У многих деревьев вершины были сбиты, ветви обтрёпаны и обожжены. Всюду по лесу и вокруг него зияли воронки, виднелись остовы сгоревших машин, валялись вздутые трупы лошадей, оглобли, оси, колёса. Кое-где чернели бугорки могил: над ними стояли свежие столбики с дощечками, на которых были начертаны чьи-то имена.

Казалось, всё живое должно было бежать, не оглядываясь, подалее от этого страшного места. Но весь лес, все овражки поблизости от него, весь берег Вазузы были густо заселены людьми, заставлены орудиями, машинами, повозками, полевыми кухнями, санитарными двуколками. Повсюду разносились людские голоса, гудки, ржанье лошадей и мычанье коров, звон топсоров, скрип телег, плач детей... И весь этот поток людей, машин и повозок, словно найдя только один выход из леса, устремлялся в неудержимом порыве к переправе.

Капитан Озеров понял, что переправа на реке восстановлена, и облегчённо вздохнул всей грудью.

Но когда он пробился ближе к реке, то увидел, что остался лишь один узенький мост, который не мог пропустить весь этот поток людей, машин, орудий и повозок. Выше моста на пароме, плотах, лодках и вплавь переправлялась пехота. Ниже моста переправлялись беженцы; среди людей, пересекавших реку на чём попало, плыли лошади и коровы, фыркающая, задирая головы, из последних сил борясь с быстрой стремниной.

Тысячи людей торопились до восхода солнца быть за Вазузой.

Генерал Бородин находился метров за триста выше моста, у небольшого костра на обрывистом берегу Вазузы. Он сидел на плащ-палатке, разостланной на земле, привалился спиной к широкому пню вяза с выгнившей сердцевиной. Ноги генерала были прикрыты шинелью, а его сапоги висели на кольшкках у огня. Генерал высоко и прямо, как на параде, держал обнажённую седоватую голову и хорошо завитые стрелчатые усы, но лицо его было равнодушно к грохоту и разногласию, долетавшим с реки, а глаза, обращённые к заре, плотно закрыты. Генерал Бородин спал. Молодёжь, кивнув, присев на корточки у огня, часто перевёртывая в руках, сушил его портянки.

Генерал Бородин проснулся, почуввав постороннего человека у костра. Он принял Озерова, как показалось тому, необычайно спокойно и ласково. Заматывая ногу в портянку, сказал:

— И не докладывай, дорогой, сам знаю; зачем ты приехал, — приняв сапог из рук бойца, он кивнул на реку: — Видишь? Ночь потрудились — и дело пошло. Думаю, что к двенадцати ноль-ноль очистится весь берег. А может быть, и раньше. Все тылы вашего полка здесь и уйдут вместе в дивизию. Вам приказ об отходе будет дан по радио. Если условия при отходе будут тяжёлыми... — он подвигал бровями и взялся за второй сапог — ...очень тяжёлыми, то я не советую отходить к этой переправе. Здесь открытое место, а река глубокая. Гораздо лучше отойти лесом и выйти к реке значительно выше этой переправы. Сегодня я от людей узнал, что там есть хорошие броды, — он обулся и подправил усы. — Дайте карту.

Разворачивая карту, он несколько раз вскидывал глаза на Озерова, а затем похмурился и с недовольством подёрнул усами. Озеров сразу догадался, что генерал смотрит на его небритые щёки. Он смутился и, тронув пальцами подбородок, сказал:

— Виноват, товарищ генерал!

— Это очень дурная привычка — являться для доклада в таком виде, — строго сказал Бородин. — Имейте в виду, что в следующий раз я не потерплю этого.

И в эти минуты, казалось бы вне всякой связи с замечанием генерала и неожиданно для себя, капитан Озеров второй раз за это утро и с той радостью, от которой загорается ярким светом вся душа, подумал о том, что в недалёком будущем наступит перелом в войне.

## XIX

Возвратясь на командный пункт полка, капитан Озеров удивился стоящей здесь тишине. После бессонной ночи многие бойцы и командиры дремали в палатках и блиндажах. Отчётливо слышалось, как листья скользили меж сучьев по земле. Остро пахло свежей глиной, золой от затухших костров.

Доложив командиру полка о встрече с генералом Бородиным, капитан Озеров направился к своей палатке. Рядом с палаткой его связной Петя Уралец, крутолобый, глазастый боец, обтирал потного коня пучком лесной травы.

— Что у нас нового, Петя?

— О, что было, товарищ капитан! — приблизясь, Петя Уралец заговорил быстрым шопотком. — Немецкий самолёт прилетал, а один боец из комендантского взвода возьми да и бахни в него! Что было!

— Подбил, что ли?

— Да нет, какое там! — Петя Уралец кивнул на блиндаж Волошина и продолжал, помахивая пучком травы: — Выскочил тогда майор да как рывкнет: «Кто стрелял?! Кто?! А ну, дайте его сюда, я ему вязы скручу!» Трясётся весь, как трясушка.

— Чтобы я больше никогда ни одного такого слова не слышал о майоре! Кто тебе разрешил рассуждать о действиях командира? Если он запретил, — значит, так надо. Понял?

Петя Уралец смущённо выпрямился:

— Понял, товарищ капитан!

— Дай бритву.

Но только капитан Озеров побрил

правую щёку, у большака, где стоял батальон Болотина, загрохотали пушки. Почти тут же им отозвались пушки на другом большаке — Журавского. По земле побежала дрожь. Гул орудий и грохот взрывов начало расплёскивать широко по осенней земле. Мгновенно ожил весь командный пункт полка. Всюду по лесу послышались тревожные голоса. Из блиндажа командира полка выскочил адъютант Целуйко, ошалело осмотрелся по сторонам, крикнул:

— Капитан Озеров, к майору!

Смахнув с небритой щеки пену, Озеров поспешил в блиндаж командира полка. Майор Волошин, бросив телефонную трубку на рычаг, крикнул:

— Двух связных!

Голова у Волошина подрагивала. По щекам стекали крупные капли пота.

— Танки! — прокричал он, не оборачиваясь к Озерову, хотя сообщал это ему. — На большаках! Я так и знал!

— Много?

— Чорт их знает! У Журавского не добьёшься толку, а с Болотинным нет связи. Ну, это и так ясно, что их немало.

В блиндаж вскочили связные.

— Вот что!.. — Волошин, наконец, обернулся к Озерову и на несколько секунд, точно не узнавая его, задержал на нём свой воспалённый взгляд. — Сколько у нас орудий на участке Лозневого?

— Две батареи.

— Ага! Так вот, одну снять и немедленно подбросить на фланги. Только живо, живо!

Что-то так и дёрнуло Озерова. Лицо его потемнело от прилившей крови. Только теперь он понял, в чём заключался изъян в обороне полка. «Немцы там не пойдут, где их будут бить, где трудно пройти! — подумал он. — Они пойдут там, где легче пройти! Они ударят на Лозневого!»

— Товарищ майор, — сказал Озеров, подступая ближе к командиру полка, — мне кажется, что в районе большаков поставлено достаточно

орудий и людей. Может быть, даже больше, чем нужно. А у Лозневого и так мало... Если всё же вы решаете подбросить орудия к большакам, дайте лучше из резерва.

— Из какого резерва? Где он, резерв?

— Разве нет резерва?

На большаках усилился грохот орудий. Майор Волошин круто обернулся к связным:

— Ты — живо к капитану Болотину! — ткнул он пальцем в одного, а затем в другого: — Ты — к Журавскому! Мигом! Пусть немедленно доставят письменные донесения об обстановке. И сообщите, что сейчас к ним на помощь подбросим по два орудия.

— А вы, — сказал Волошин Озерову, — идите сейчас к Лозневому и лично отправьте орудия на фланги.

В блиндаж вскочил Целуйко:

— Воздух!

По всей опушке уже неслось:

— Воздух! Воздух!

Небо гудело. Капитан Озеров вскочил из блиндажа. Около двадцати тяжело нагруженных «юнкерсов» описывали в небе большое полудужье. На их серовато-жёлтых плоскостях вспыхивало солнце. Ведущий «юнкерс», зайдя над участком батальона Лозневого, стремительно пошёл в пике, и по всей округе пронёсся его дикий, хватающий за сердце, железный вой.

По лесу, крича, понеслись люди. Землю рвануло так, что в лесу густо запорошило опавшей листвой. Над участком Лозневого взметнуло клубы чёрного дыма.

«Так и есть, — подумал Озеров. — Они ударят по центру обороны, который защищён гораздо хуже, чем фланги». Увидев у щели связных, которых посылал Волошин, он резким взмахом позвал их к себе:

— Немедленно туда, куда посланы! Но комбатам передавайте новое приказание. Сейчас же по два орудия в третий батальон! О выполнении доложить! Я буду в третьем! — и он махнул рукой на центр рубежа, над которым завывали немецкие самолёты.

За несколько минут до бомбёжки комбат Лозневой, взяв с собой лейтенанта Хмелько и вестового Костю, отправился на командный пункт третьей роты; всё утро он, ещё более помрачневший за последнюю ночь, без особой нужды бродил по рубежу обороны, нигде не находя себе покоя и места. Когда уже было пройдено полпути, Лозневой услышал гул моторов в небе. Вскинув глаза, он сразу увидел большой косяк «юнкерсов». Бомбовозы шли стороной, тихо и грузно, и Лозневой подумал вначале, что они пройдут мимо, — может быть, к Вазузе. Но был строгий приказ — не демаскировать занятых позиций, и Лозневой, оглянувшись назад, крикнул своим спутникам:

— Ложи-ись!

Все бросились в помятые травы и затихли, провожая глазами самолёт. Все думали: вот сейчас пройдут они до леса — и можно идти дальше. Но самолёты, дойдя до леса, начали заворачивать — чертить в светлой вышине большое полудужье.

— Товарищ комбат! — крикнул Хмелько. — Сюда!

— Заходят! Заходят! — завопил и Костя.

Вокруг было голое, открытое место — нигде ни канавки, ни ямы. И Лозневой подумал: «Ну, дождался я, кажется, своего часа!» Лоб его стал влажным. Он знал одно: надо спасаться. Вскочив, он крикнул:

— Назад, за мной!

Пригибаясь, все трое стремглав бросились по целине, затем выскочили на большое поле, покрытое густой, но тоже примятый множеством ног щёткой ржаного жнивья. Позвякивая шпорами, Лозневой пробежал с сотню шагов и тут почувствовал, что ему не добежать до командного пункта, где за ночь для него сапёры сделали хороший блиндаж. Поздно. В эту минуту он заметил наспех отрытый неглубокий стрелковый окоп. Махнув спутникам рукой, он с разбега плюхнулся в него и закашлял надрывно, всей грудью. Хмелько и Костя, поняв сигнал, бросились в разные стороны, ища глазами укрытия.

Лозневой выглянул из окопчика. В левой стороне — шагов за тридцать — матово блеснула над жнивьем каска. «Хмелько! — догадался Лозневой. — А где же Костя?» Он взглянул вправо и увидел, что совсем недалеко ложная огневая позиция для противотанковой пушки, каких немало наделали за ночь артиллеристы по приказу Озерова: над бруствером земляного дворика, как орудие, торчало вершинкой на запад небольшое бревно, а над ним клонились почти голые берёзки. Лозневой понял, что и он попал в один из ложных окопчиков, заодно открытых старательными артиллеристами для обмана врага. Лозневой до боли стиснул зубы.

С передовой линии едва внятно донесло голоса: кто-то из командиров кричал на солдат. Лозневой посмотрел вперёд. Невдалеке, в бороздкѣ, проделанной рожком сеялки, в аллейке срезанных ржаных стеблей, копалась пепельно-серая полевая мышь. Глаза у неё блестели весело, как росинки. Она собирала колоски. Чего-то испугавшись, она юркнула и пропала, но через секунду Лозневой опять увидел её светленькие глазки: рядом была её норка. «Вот у неё блиндаж! — подумал Лозневой. — Её не возьмѣшь!» И тут он, взглянув на свой ложный окопчик, опять почувствовал, что в жаркой груди скопился кашель.

Но искать другое место было поздно. Самолѣты уже выстраивались цепочкой, и стало ясно: они хотят бомбить именно центр обороны. Ведущий «юнкерс», дико воя, с большой высоты бросился в пике. Пролетев несколько сот метров, он выровнялся, чтобы опять взмыть в небо, и в этот миг Лозневой увидел, что от фюзеляжа оторвались четыре бомбы. Покачиваясь, тяжѣлыми чѣрными каплями они пошли вниз, но через несколько мгновений потерялись из вида, — и в душу Лозневого ворвался острый, режущий, быстро нарастающий свист. Закрыв в страхе глаза, Лозневой сунул лицо в угол окопа и тут же всем телом ощутил, как четыре раза кряду, почти одновременно, рвануло землю и как по

всей ближней округе пронѣсса, плещась по урочищам, обвальнѣй грохот...

Бомбы упали в левой стороне. Оттуда понесло над рубежом клубы дыма. Поправив каску, Лозневой выглянул из окопа. Ведущий «юнкерс», выйдя из пике, раскатывал гул мотора над полем, а второй в цепочке, приотстав, только ещё заходил на рубеж обороны. Выдалась кротенькая минутка тишины. И Лозневой вдруг опять увидел невдалеке перед собой знакомую мышь. Как ни в чём не бывало, она собирала колоски. Она работала весело, хлопотливо, и у Лозневого промелькнула мысль: эта весѣлая мышь наверняка переживѣт бой, сделает в своей норе большие запасы зерна, тепло переживает, встретит новую весну...

И Лозневному стало жутко.

Он уже не видел, как пикировал второй самолѣт и сколько сбросил бомб: когда вновь раздался леденящий кровь вой сирены, он застонал, как ребѣнок, и в беспамятстве сжался в своём окопчике. И тут же, чувствуя, что его едва не выбросило из окопчика, он закричал и вцепился пальцами в землю: бомбы рванули вокруг ложной огневой позиции, сверху посыпалась, застучав по спине и каске, жѣсткая земляная крошка, пахнувшая гарью, и вокруг стало темно от дыма.

С этой минуты, обезумев от страха, Лозневой уже плохо соображал, что происходило вокруг на поле. Вероятно, немцы и в самом деле большую часть своего груза сбрасывали на ложные артиллерийские позиции и стрелковые окопы — бомбы рвались позади настоящего огневого рубежа, — как раз на том участке, где были Лозневой и его спутники. Бомбили немцы спокойно, деловито, делая по несколько заходов, неторопливо выбирая цели. Вокруг грохотало и грохотало. От мест взрывов хлестали в стороны тугие, горячие волны воздуха. Ветер не успевал разносить взлетавшие там и сям над полем клубы чѣрного, одуряющего дыма и пыли.

...Обивая головой рыхлѣй край окопчика, Лозневой долго кашлял,

отплёвывая землю. Когда же медленно, как заря в тумане, стало пробуждаться сознание, он затих и, царапая пальцами землю, выбрался из окопчика, тяжело повёл вокруг помутневшими глазами. В ушах верещало, будто в них возились сверчки, от этого раздувало и ломило виски. По сторонам виднелись воронки. Перед глазами трепетала на ветру кисейная занавесь дыма. Недалеко от окопа, там, где бегала мышь, Лозневой увидел хромовый сапог; на его заднике сверкала шпора.

— Мой! — беззвучно сказал комбат.

Лозневой хорошо знал свои шпоры. Как же сапог оказался за окопом? Зачем он там? Лозневой помедлил немного и, изогнувшись, взглянул на свои ноги. Нет, он был обут! И только тут он, наконец, вспомнил, что вчера — на привале — поменялся шпорами с лейтенантом Хмелько. «Где же он? — Лозневой поискал глазами каску Хмелько над жнивьем, но в той стороне, где видел её перед бомбёжкой, лежала груда комьев земли. — Зачем он сапог-то бросил?» Лозневой вылез из окопа и хотел взять сапог, но тут же отпрянул назад: из оборванного голенища торчала белая кость. Лозневой лёг, прижался щекой к земле, обтёр губы и сказал вслух:

— Бомбили... То надо делать. То самое... — он не успел досказать, как услышал топот ног и голос Кости:

— Вот он, вот где!

Костя подбежал, упал на колени, схватил Лозневого за плечо. Будто испугавшись, Лозневой начал быстро приподниматься, упираясь в землю ладонями, поглядел на вестового тупо, непонимающе. Лицо Кости, в брызгах грязи, сморщилось и постарело от внутренней боли. Из левой ноздри у него текла кровь. Смахнув её с верхней губы по-ребячьи, указательным пальцем, он закричал плачущим голосом:

— Это я, я! Товарищ комбат, вас ранило?

— А?! — выждав секунду, крикнул в ответ Лозневой.

— Ушибло, а? Где больно? Где?

— Вон, ушли? — Лозневой кивнул на запад.

Над ним внезапно выросла высокая грузная фигура капитана Озерова. Он дышал порывисто, всей грудью. Ворот гимнастёрки у него был расстёгнут, рыжеватые волосы всклокочены. В левой руке он держал за ремешок каску, а правой, спеша, передвигал с живота на бок кобуру пистолета. Не поднимаясь, Костя сказал ему, зажимая левую ноздрию:

— А этого, видать, контузило.

Капитан Озеров быстро встал на колени:

— Плохо, да? Больно? Где?

— Да нет, совсем оглох,— сказал Костя.

— Фу, скверно! — с досадой бросил Озеров в сторону и вскочил. — Ну, в тыл! Живо! Где комиссар батальона?

— В ротах где-то...

— Веди комбата мимо своего КП, понял? — сказал Озеров. — Забеги и скажи там, чтобы позвонили комиссару — пусть командует. Понял? Гляди, не забудь! А комбата отведи потом в тыл. Ну, всё!

Он обернулся назад, крикнул:

— Эй, Петро! — и бросился к обороне.

## XXI

В самый ответственный момент, когда начинался бой, третий батальон, занимавший центр обороны, остался без главных командиров. Но горевать некогда было. Озеров понимал, что теперь надо дорожить каждой минутой. Подхваченный одной большой мыслью, он бежал к переднему краю обороны со всех сил, держа каску у груди.

Вскочив на пригорок, заросший низеньким березнячком, он остановился, переводя дух, и сразу сквозь дрожащий, дымчатый воздух увидел, что по полю с участка третьей роты, пригибаясь и часто падая, врзброд бегут солдаты. Вначале Озеров подумал, что это всё ещё мечутся в панике те, кто был напуган бомбёжкой. Но все солдаты бежали навстречу ему, и Озерову ста-

ло ясно, что они почему-то бросают рубеж обороны.

На пригорок, запалась от бега, выскочил Петя Уралец, всё время бежавший позади своего командира. Озеров молча выхватил у него автомат. Подняв автомат над головой, Озеров закричал на всё поле, кривя лицом, как от дикой боли:

— Сто-о-ой! Стой!

Один солдат, не видя Озерова и не слыша его крика, бежал прямо на него, бежал, согнувшись, едва не хватаясь руками за землю. На подъёме, выбившись из сил, он упал, прополз несколько метров, иступлённо работая руками и ногами, затем вскочил и, всё ещё не видя перед собой Озерова, бросился прямо на него. Озеров дал над его головой очередь из автомата:

— Стой!

Солдат остановился, раскинув руки, очумело взглянул на Озерова. Лицо у него было измазано глиной, гимнастёрка на груди разорвана, лоб в крови, а расширенные глаза побелели и ничего не видели от ужаса. Усылав очередь из автомата и увидев, что передний остановился, и те солдаты, что бежали далеко позади и по сторонам, тоже начали останавливаться и сбавлять шаг. Весь дрожь, Озеров сделал шаг вперёд и закричал:

— Куда, а? Бежишь?

Взмахнув руками, солдат ещё более расширил свои белые глаза.

— Танки! — закричал он. — Вон, танки!

— Назад! — крикнул Озеров и, поднимая автомат, кинулся к окопам.

Падая, оглядываясь, солдаты бросились обратно к своим окопам. Озеров посмотрел вдаль. Из елового леса, стеной закрывшего горизонт, выходили один за другим и развёртывались в строй, покачиваясь на ухабах и рытвинах, тёмносерые немецкие танки. Они были ещё далеко, рокот их моторов долетал слабо, будто где-то прокатывался спокойный гром. Всё было ясно: рано утром немцы разведали, как защищены большаки, затем осмотрели рубеж с воздуха, сделали отвлекаю-

щие удары на большаках и теперь, отбомбив центр обороны, бросали на него главные силы.

«Ну что ж! — дрожа от бешенства, подумал Озеров. — Вы дорого заплатите! Дорого! Дорого!»

Солдаты бежали к окопам, не оглядываясь. А Озеров быстро шёл за ними по полю и изредка вскидывал автомат над головой:

— Вперёд! Бить гранатами! Жечь!

Как только самолёты потянулись на запад, Матвей Юргин бросился к соседнему окопу. Из окопа показалась голова Андрея в тусклозелёной каске:

— Кончилось? Ушли?

— Всё, кончено! — Юргин присел у края окопа. — Ну, как ты?

— А что? Сидел! — ответил Андрей, и мягкое, задумчивое лицо его на секунду осветилось улыбкой. — Ух, ясно море, как они воют! До нутра прохватывают! А как трахнет, так и думаешь, что вытряхнут из окопа! Да ты лезь сюда, лезь!

Он разговаривал несколько оживлённее, чем обычно. Бомбёжка лишь возбудила, но не напугала его. Андрей пережил бомбёжку впервые. За дни отступления он ещё ни разу не подумал всерьёз о том, что его могут убить. И теперь, увидев самолёты, он не подумал о смерти. Он ещё не знал, что бомбёжка — страшное дело, и поэтому — только поэтому — не испытал никакого страха, вот как ребёнок бесстрашно хватает рукой огонь, ещё не зная, что это опасно. Он наблюдал, как самолёты бросались в тике, как от них отрывались бомбы. Оглушённый их железным свистом, он быстро прижимался в угол окопа, а потом, выглядывая, дивился: «Эх, дыму-то! Как из прорвы какой!» На счастье Андрея, все бомбы падали довольно далеко позади, на ложные позиции, он не видел своими глазами, что делает их адская сила, и поэтому он не испытал никакого страха, а только возбуждение.

Это порадовало Юргина.

Устроившись на дне окопа, друг против друга, Андрей и Юргин, оживлённо разговаривая о бомбёж-

ке, не заметили, как на опушке дальнего леса появились танки и как многие бойцы третьей роты бросились бежать с рубежа. Только когда в левой стороне раздались крики Озерова, они обеспокоенно выглянули из окопа. Бойцы третьей роты вразброд бежали по полю обратно к линии окопов.

— Это что они? — удивился Юргин.

— Гляди сюда! — дёрнул его Андрей.

Услышав гул моторов, Матвей Юргин взглянул вперёд, словно прицеливаясь, и быстрым шопотком сказал:

— Танки! Это танки!

— Сколько их?

— А черт их знает! — Юргин поднялся над окопом. — Ну, Андрюха, я пойду! Гранаты связал? Бутылки с горючкой?

— Вон, всё есть...

— Ну! — Юргин торопливо и сильно схватил Андрея за плечо. — Ты как? Ну, гляди, Андрюха!

Он выскочил из окопа и закричал так, чтобы слышало всё отделение:

— Приготовить гранаты! Бутылки! Подпускать! — голос его крепчал с каждой фразой. — Бей верно! Не трусить!

Андрей не встречался ещё с танками и не знал, как трудно и страшно бороться с ними слабыми ручными средствами, какие носил солдат на своём поясе. (Командиры же уверяли, что подбивать и поджигать танки — совсем лёгкое дело.) И поэтому Андрей, увидев танки, и теперь не испытал никакого страха. Отодвинув вещевой мешок к задней стенке окопа, чтобы случайно не помять харчи, он вновь, более пристально смотрел вперёд. Танки выползали из леса один за другим, чёрные и гудящие, как огромные жуки, и, покачиваясь на выбоинах, медленно расползались по жёлтому полю. Андрей попытался сосчитать танки, но потому, что они, выравниваясь в строй для атаки, то появлялись на пригорках, то скрывались в низинках, сбился со счёта. «Какие же это? — подумал Андрей. — Средние или малые?» Он вдруг решил, что перед

боем надо выпить воды. Глотая воду из фляги, он не спускал взгляда с поля, на котором появились танки; над страхом брало верх любопытство. Он даже выдернул из бруствера несколько веточек, чтобы лучше было видно танки. Ему захотелось закурить, и он вытащил кيسет, но тут же с сожалением понял, что не успеет сделать это.

— После, — вслух решил Андрей.

Пригнувшись в окопе, он начал осматривать связку гранат. В это время моторы танков взвыли так, что их вой отдался во всех ближних лесах, — видимо, танки пошли в атаку на большой скорости. Андрей приподнялся. Один танк — головной — летел по просёлку, поднимая пыль, а все остальные, растянувшись большой цепью, неслись позади, ныряя в ложбинках, подпрыгивая на буграх. Рёв моторов, быстро нарастая, катился теперь по полю громовой волной. Земля начала гудеть, как чугунная. За десяток метров впереди окопа Андрея что-то хлопнуло два раза подряд, блеснув огнём и взметнув дымки, а затем что-то начало шикать, ударяясь в бруствер.

— Пригни-и-ись! — услышал Андрей голос Юргина. — Стреляют!

— Танки, да?

— Пригнись! — Юргин блеснул каской.

Андрей прижался щекой к холодной стенке окопа. Левее, от леска, начали бить наши пушки. Головной танк, тёмный, с белыми крестами на бортах, взметая пыль, всё летел по просёлку, срезая его изгибы. Из дула его орудия, раз за разом, выплёскивало огонь. Наводчики наших пушек, волнуясь, ловили его на перекрестия панорам, били часто, но всё мимо и мимо... Наконец один снаряд, чиркнув по покато́й башне, взвизгнув, точно от нестерпимой боли, пошёл круто ввысь. Но тут же другой снаряд ударил в борт, и танк, проскочив ещё немного, вдруг на полном ходу с лязгом круто развернулся, расстилая по траве широкий и тяжёлый пласт гусеницы. Дёргаясь всем своим неуклюжим туловищем, он повернул задом к пушкам и

так окутался пылью, что его не стало видно. В этот момент в него, вероятно, попало ещё несколько снарядов,— раздался такой треск, что тряхнуло поле, высоко махнуло густое пламя, и чёрный дым, клубясь, поднялся, как от огромного костра.

Андрей вновь глянул из окопа, но его тут же стегнуло по щеке и маске земляной крошкой. «Тьфу, ясно море!» — Андрей присел на корточки и начал протирать глаза. Слева хлопала пушки. По всей обороне наперебой строчили пулемёты. В гуле моторов, который всё более трезно катился над полем, в грохоте пальбы и взрывов изредка взлетали человеческие голоса: «А-о-о-о!» На поле уже пылали три танка; дым от них тянуло к рубежу обороны, принося душные запахи пороха, горелых масел и железа... А новые танки всё ползли и ползли к рубежу обороны.

Со стен окопа посыпалась земля — Андрей почувствовал, что танки совсем близко. Протерев глаза, не выгидаывая, он схватил бутылку с желтоватой жидкостью. На бутылку была натянута резинка, она держала запал — длинную щепочку, обляпанную какой-то янтарной смесью. Андрей выхватил из кармана спички. Одной спичкой он ширкнул по коробке три раза и только после этого заметил, что на ней нет серы. «Тьфу, пропасть! — сказал он про себя с досадой. — Вот делают!» С другой спички вся сера враз обкрошилась, и Андрей, ободрив коробок, заволновался. Земля дрожала и гудела всё сильнее, а над скопом, с немецкой стороны, неслись, тивкая, стаи пуль...

Только третьей спичкой удалось Андрею зажечь запал, но теперь он уже не чувствовал в себе того спокойствия, какое было в первые минуты боя. От запала потянул вонючий дымок, и Андрей сразу же приподнялся в окопе. И только он выглянул из-под козырёчка каски, всё лицо его осыпало бисером пота. Танк был в полсотне метров от скопа. Он стоял, отвернув дуло орудия вправо, и бил по олушке леса, где грохотала наша батарея. Но вот он

дёрнулся всей своей бронированной громадой, зарычал, несколько раз оглушительно чихнул, а затем завыл так, что у Андрея заложило уши. Танк дёрнулся ещё сильнее, будто проглатывая что-то, и из-под его загребших и замелькавших гусениц полетели в воздух комья.

Увидев, что уже сгорела половина запала. Андрей, упав грудью на край окопа, сильно бросил вперёд потеплевшую бутылку. Блеснув на солнце радужными цветами стекла и жидкости, начертив в воздухе лёгкое дымчатое полудужье, бутылка упала на целине, не долетев метров пять до танка. «Не добросил?» — опешил Андрей, и его широкую грудь начало раздувать, как мех. Минув бутылку, у которой едва заметно дымил запал, танк двинулся прямо на его окоп. От гула и лязга у Андрея, казалось, мгновенно разбухла голова. Теперь он уже не слышал ничего, что происходило вокруг. И видел он перед собой только танк. Приближаясь, танк становился всё больше и больше. Огромный, грохочущий, бьющий из орудийного и пулемётных стволов, как из отдушин, струйками огня, он двигался теперь на фоне неба и облаков, и Андрею подумалось, что позади танка не облака, а клубы белого газа. Гусеницы танка, блестя и скрежеща, с бешеной силой тянули под себя всё поле, окоп Андрея, кустарники...

Андрей, дико закричав, сам не зная, что, схватил другую бутылку и, развернувшись, бросил в танк,— дзинькнув, она разлетелась на мелкие осколки у башни, и жёлтая жидкость, радужно играя, потекла по броне. Андрей бросил третью бутылку — она разлетелась у смотровой щели механика-водителя. Огня не было, и Андрей только теперь догадался, что в спешке он не зажигал запалы,— и он, застонав, сжался в окопе.

Танк был совсем близко: Андрея обдало жаром и душными запахами гари. Схватив связку гранат, Андрей поднялся и, не целясь, бросил её под залетевший танк. Андрей не слышал взрыва. Бросив гранаты, он сразу упал на дно окопа. Танк

встряхнуло и окутало дымом, но он, взыв ещё сильнее, рванулся вперёд и со скрежетом проложил левую гусеницу над окопом Андрея, а потом, захрипев, зачихав, круто повернулся вправо, заваливая окоп землёй и ветками.

Но в тот момент, когда он рванулся дальше, из соседнего окопа, блеснув на солнце, вылетела бутылка. Она лопнула на моторной части — и смесь, вспыхнув, жидким огнём потекла в щели и по броне.

— А-а-а! — закричал Юргин.

Как всегда в бою, Юргин горел огнём дерзости и бесстрашия. Выскочив из окопа, он отмахнул три больших прыжка и бросил вторую бутылку. На моторной части танка ещё сильнее заиграл огонь. И над полем опять пронёсся крик Юргина:

— А-а-а!.. Ей!

Танк заметался, делая крутые развороты, бросился назад, воя на всё поле: с неистовой силой живого существа он спасал свою жизнь, отряхивая огонь. Но огонь, смертной хваткой вцепившись в щели, держался крепко. Танк бросался из стороны в сторону, прыгал, дико рыча, летел с бешеной скоростью, выскакивал на пригорки и падал в ложбины, а огонь хищной птицей впивался когтями в его туловище; душил его, одолевал, не отпускал на волю...

## XXII

Шумно радуясь своей удаче, Матвей Юргин сильнее обычного загорелся жадной боя. Теперь он был неузнаваем. Бесстрашие, равное безумству, взяло над ним власть и преобразило его. Все движения его фигуры стали резки, судорожны. Лицо его то искажалось от ярости, то светилось счастьем. Задыхаясь, он часто открывал рот, щерил крупные белые зубы. Из-под каски по смуглым щекам, спалённым внутренним зноем, стекали грязные струи пота. Зрачки были расширены, точно в темноте, и глаза его от прилившей крови были страшны.

Наблюдая за горящим танком, пытавшимся сбить пламя, Матвей

Юргин некоторое время не замечал, что делается на поле боя: солдат всегда видит в бою только то, что происходит в непосредственной близости от него, да и то — разрозненные картины, которые чаще всего случайно ловит воспалённый взгляд. И только когда увидел, что танк, заваливаясь в канаву, остановился и широко развернул над собой, как знамя смерти, огромное багровое пламя с бахромой дыма, Матвей Юргин спокойнее осмотрелся и, увидев, что вокруг рвутся снаряды, услышав свист пуль, прежде всего вспомнил об Андрее.

— Андрей! — закричал он, ища глазами его окоп.

И тут он увидел, что за сотню метров впереди, несколько правее, из-за пригорка, показался ещё один танк. Он двигался неровно: его катки, до половины погруженные в высокие сухие травы, крутились то медленно-медленно, то вдруг превращались в литые диски, и гусеницы выгибались на них, как змеи. Из ближних окопов стрелки и пулемётчики били по его смотровой щели — на всей лобовой части и башне искрило сухим блеском, заметным даже при солнце. Замедляя ход, танк бил из пушки по окопам: похоже было, он чихал огнём и дымком, с трудом пробираясь по грохочущему полю.

Пригибаясь, Юргин бросился к своему окопу, где у него — он помнил — лежала связка гранат. Но её не оказалось у бруствера. «Куда она делась? — подумал Юргин. — Или я её бросил уже?» Он заглянул в окоп и увидел, что на дне его лежит на боку боец Глухань. Юргин понял, что он второпях спутался и попал к чужому окопу.

— Глухань! — закричал он. — Ты чего? Чего ты?

Но тут же он разглядел, что каска Глуханя пробита пулей, а за ухом, на воротнике гимнастёрки и на спине след крови.

— Ах ты, Глухань! — закричал Юргин, сам не понимая, для чего кричит это.

Он захотел разглядеть своего погибшего бойца и прыгнул в окоп.

Под ногу попала связка гранат. Увидев её, Юргин вспомнил о танке. Схватив связку, он выглянул из окопа.

Танк был совсем близко. Он медленно двигался правее окопа Глухана, двигался неуверенно, видно, расплавленным свинцом всё же залепило смотровую щель механика-водителя, а может быть, и поранило его глаза.

И вдруг на пути танка поднялась фигура бойца. На мгновение его задержало лёгонькой шторкой дыма, но тотчас же осветило солнцем, и Юргин увидел, что боец, что-то безумно крича, пошёл навстречу танку. В левой руке он держал связку гранат. Правая рука у него была оторвана по локоть, из-под лохмотьев рукава летели брызги крови. «Мартьянов!» — узнал бойца Юргин и выскочил из окопа. Выскочив, он увидел, что Мартьянов, сбитый пулей, стоял в траве на одном колене и, крича, поднимал в левой руке связку гранат. Наскочив, танк опрокинул его навзничь — и в ту же секунду волной взрыва Матвея Юргина бросило в сторону: точно тяжёлым кулаком ударило в ухо.

Цепляясь за травы, Юргин вскочил, страшный от пережитого ужаса и подступившей ярости, и бросился вперёд. Раздавив Мартьянова, темносерый танк с драконом на борту круто завернул вправо: в ходовой части у него, вероятно, были немалые раны. Держа в откинутой руке связку гранат, Юргин пробежал наперерез танку несколько метров и, разогнувшись, бросил её, а сам обесиленно ткнулся в сухие травы.

Его сильно встряхнуло. Подняв голову, он увидел, что танк, погрязнув правой гусеницей в окоп, косо уткнувшись в куст шиповника, дёргался, хралел мотором, ворочал башней и хоботом орудия, словно обнюхивая путь, и не мог тронуться с места. По другую сторону танка раздался новый взрыв, Юргина опажнуло дымом, как из пекла. За волной дыма, что понесло в сторону, замаячила фигура бойца. Матвей Юргин бросился к танку, закричал: — Сюда-а-а!.. Дава-а-а!..

Сразбегу уцепившись за что-то, он вскочил на танк и, оглядываясь, махая руками, снова закричал:

— Сюда-а-а!

Первым подбежал тот боец, что бросил гранату в подбитый танк с другой стороны, после Юргина. Это был Дегтярёв. В руках он держал винтовку. Молча выхватив её у Дегтярёва, Юргин начал в бешенстве тыкать штыком в щели на броне. Штык хрустнул. Обернувшись к Дегтярёву, Юргин приказал — не словами, а больше жестами:

— Песком! В жалюзи!

С развороченного танком бруствера окопа Дегтярёв схватил в пригоршни земли.

— Каской! — приказал Юргин. — Каской!

Дегтярёв зачерпнул каской землю и высыпал её на горячую решотку жалюзей, под которой всхрипывал мотор танка. В это время к танку подбежал Умрихин, весь вымазанный в глине, а вслед за ним — с разных сторон — другие бойцы.

— Бей! — торжествующе закричал Юргин.

Перескочив на лобовую часть танка, Юргин ударил прикладом винтовки по стволу пулемёта. Вокруг раздалась крики. Разгорячённые боем и удачей, ничего не видя вокруг и не слыша, солдаты чем попало добивали танк. Они стреляли из винтовок в разные отверстия, забивали щели землёй, били винтовками и камнями по стволам орудия и пулемёта, по гулкой броне...

### XXIII

Капитан Озеров был на батарее. Вблизи раздался треск. Озерова ослепило, бросило наземь. Через несколько секунд, поражённый тем, что лежит на земле, он начал подниматься, хватаясь за колесо пушки. При падении с его головы слетела каска. Волосы были спутаны и забиты землёй, всё лицо густо запорошено пороховой гарью, а по левой, необритой щеке текла кровь. Глаза, вырываясь из орбит, метались, что-то ища на поле боя.

— Ранено? — со стоном подскокнул Петя Уралец.

— Меня не ранит! Не убьёт! — закричал Озеров, как буйный пьяный, в бешенстве кривя страшное лицо. — Нет, нас нет! Меня? Нет! — он стал на колени. — Там... что там?

— Третье орудие...

— Разбило?

— Вас ранило, ранило! — закричал Петя Уралец. — Надо перевязать, вот кровь! Товарищ капитан!

— Меня ранило?

— В голову! Вот!

— А-а-ну, перевяжи, Петя! Ну, быстро!

Капитан Озеров стоял на коленях, держась за колесо пушки, и покорно разрешал Уральцу так и сяк поворачивать голову, обматывать её бинтом. Когда перевязка была закончена, он оттолкнул вестового от себя и стал у пушки — высокий, грузноватый, с чёрным лицом, с обмотанной бинтом головой, как в чалме.

— Снаряды! — закричал он хрипло, оглядываясь.

На батарее осталась только одна пушка. Остальные три, стоявшие цепочкой влево, были разбиты. На развороченных снарядами земляных двориках валялись колёса, измятые, разбитые лафеты и стволы, расщеплённые ящики, убитые бойцы, изуродованные винтовки и каски, кровавые лохмотья. Немного дальше — на чистой целине — лежал сытый и сильный артиллерийский конь; он не мог поднять головы, а только дёргал бокон и дрыгал поднятой вверх правой ногой. Два бойца, подхватив раненого, неумело тащили его в лес. Один раненый сам полз туда, волоча перебитую ногу, вскрикивая в испуге, колотясь головой о землю. В ближней щели мелькали каски.

— Эй вы! Эй! — опять закричал Озеров, держась за щит орудия. — Разве мы не русские? Снарядов! Дай! Петя, родной!

Уралец бросился за снарядами. Вслед за ним, выскочив из щели, бросились ещё три бойца в касках и грязной одежде.

И у одинокой пушки вновь закипела работа. Артиллеристы были из разных расчётов, случайно не задевшие смертью, но понимали друг дру-

га с одного взгляда и делали каждый своё дело, которое досталось делать, проворно и быстро. И капитан Озеров, то помогая поворачивать орудие, то подавая снаряды, то наблюдая за полем боя, вновь начал кричать:

— Огонь! Огонь!

Никому не нужна была эта его команда, и никто не слушал её. Но капитану Озерову почему-то приятно, радостно было повторять это самое ходовое слово войны. Он выкрикивал его с наслаждением, трепеща всем телом, словно он впервые выучил его, и оно так ему понравилось, что он готов был повторять его без конца:

— Огонь! Огонь!

Он был так захвачен боем, что ни о чём не мог думать. Он был в состоянии бессознательного, но полного отречения от всех мыслей и себе. Он не слышал взрывов снарядов и свиста пуль. Ему некогда было думать об опасности, о смерти, которая грозила ему каждое мгновение. Ему также некогда было думать и о том, чтобы на виду у подчинённых показать своё бесстрашие и презрение к смерти. Каждая минута боя заставляла делать множество разных дел, и все дела, которые требовали немедленного выполнения, поглощали всё без остатка напряжённое внимание капитана Озерова, все силы его души.

На поле горело одиннадцать танков, неслышным течением воздуха несло от них огромные шлейфы дыма. Близ стрелковых окопов, где в спешке и панике было зря разбито много бутылок с горючей смесью, выгорали травы и жнивье. Над полем боя было чадно и душно. Все земные запахи, всю свежесть бабьего лета заглушили одуряющие запахи бензина, масел и вонючей жидкости, горелых красок, железа и пороха.

Первый эшелон танков, наносивших таранный удар, был разбит. Но теперь двигался второй эшелон, более мощный. Обходя костры из металла, танки всё шли и шли по дымному полю, и рокот их моторов

теперь заглушал все другие звуки боя.

На правом фланге батальона танки уже пробили большую брешь в обороне и, двигаясь в глубину её, косили из пулемётов солдат и давили их гусеницами. Вторая батарея, которая стояла в этом месте, вся погибла.

В самом центре рубежа танки проходили стрелковые окопы и, повёртываясь, рыкая и урча, заваливали их землёй. Снаряды рвались всюду. Земляная крошка, словно подбрасываемая для просева, падала над полем, а от неё, как пыльный и сорный отход, относил дым. Среди воя, грохота и лязга доносило слабые крики раненых.

Но капитан Озеров и все бойцы-артиллеристы не видели поля боя. Весь бой для них сосредоточился на небольшом клочке земли вокруг их одинокой пушки.

Один танк вырвался к пушке совсем близко. Капитан Озеров увидел его, когда он поднимался на пригорок, задирая вверх гусеницы. Орудие танка молчало.

— Огонь! — крикнул Озеров, сам припадая у пушки. — Огонь!

Маленький и весь чёрный, как трубочист, наводчик, с двумя треугольничками в петлицах, повернул дуло пушки вправо, прикинул поверх его глазом, и пушка сильно дёрнулась раз, потом другой и третий, будто сама хотела выскочить со своей позиции, обнесённой валом, и броситься на танк, который в это время, перевалив пригорок, повёртывал на неё свой хобот. Одним снарядом у танка выбило колесо — «ленивец», другим — заклинило башню. Скрежеща ослабевшей, спадающей гусеницей, танк круто повернулся и полез в лошину, где были кусты орешника и крушины.

— А-а! — неистово закричал Озеров, брызгая слюной. — Бей! Бей! — он начал дёргать наводчика. — Огонь!

Позади, ударившись об ёлку, стоявшую особняком близ опушки леса, разорвался снаряд. Черномазый наводчик, дёрнувшись, судорожно схватился за замок, ещё раз дёрнул-

ся и, взмахнув руками, откинулся назад, на станину. Другой боец, выронив снаряд, закричал и кинулся в сторону, косо перебирая ногами, хватаясь за бок.

Пока Озеров и Уралец оттащивали убитого черномазого наводчика за бруствер дворика, третий артиллерист, тоже молодой парень, но крупной породы, с грязным лицом и слезящимися глазами, орудая с замком, обнаружил, что осколок снаряда разбил крышку ударного механизма — боевая пружина и боёк отлетели неизвестно куда. Ещё издали почуяв неладное с пушкой, Озеров кинулся к ней, присел у станины:

— Ну что? Что тут?

— Вот видишь, — показал артиллерист и, поднимаясь, махнул на пушку обеими руками, жестом этим хороня её и прощаясь с ней: — Всё! Бросай!

В эту минуту капитан Озеров впервые подумал о том, что пушки, за которыми он послал гонцов в соседние батальоны, несомненно, споздали к бою. Но тут же его опять увлекло дело, которое нужно было делать, и делать, не теряя дорогих секунд. Он вдруг вспомнил, что где-то около пушки видел топор, случайно оставленный с ночи, когда готовили огневую позицию, и закричал, оглядываясь по сторонам:

— Петя, топор!

Заскочив во дворик, Уралец подал топор.

— Да гвоздь, гвоздь дай!

— Вот напильник, — предложил артиллерист, поняв, что задумал неутомимый капитан.

— Заряжай! — скомандовал Озеров.

Подбитый танк, дёргаясь, прополз кустарник и уходил дальше в лошину. Вставив в пустое отверстие клина затвора напильник, Озеров, торопясь, ударил по нему обухом топора. Пушка дёрнулась, и снаряд, задев верх башни уходящего танка, блеснув оснём, пошёл в небо. Озеров ударил ещё раз — второй снаряд угодил в моторную часть; танк заглох, и из всех его щелей, как вода из губки, которую сильно сжали, брызнули струи дыма.

Но Озеров даже не успел порадоваться удаче. Сзади его схватил и, что-то крича, сильно потащил от пушки Петя Уралец. Переступая вспять через станину, Озеров упал, а когда вскочил, влево от себя, метрах в двадцати, увидел танк. Выскочив из-за выступа леска, он бросился к пушке. Озеров хотел что-то сделать, за что-то схватиться, но было поздно. Оглушив воем мотора и скрежетом, танк уже полез на бруствер дворика, задирая вверх гусеницы.

Всё дальнейшее произошло в течение небольших, коротких секунд. Не успев ничего сделать и поняв, что ничего сделать нельзя, капитан Озеров, пятясь, вскинул руки, словно для защиты, и в то же мгновение почувствовал, что они коснулись тёплой брони. И тут, сам не видя и не понимая этого, он каким-то чудом судорожно схватился за буксирный крюк. Его рвануло вверх.левой гусеницей танк накрыл пушку, а затем метнулся из дворика, вытаскивая на крюке капитана Озерова. Петя Уралец, заревев, как ребёнок, рухнул на землю. Минувя его, танк на полном ходу пошёл дальше.

Капитан Озеров не понимал, что с ним произошло, за что он держится на танке, и бессознательно, но всё крепче и крепче сжимал руки на крюке. Силясь, он поднимал голову, и сухие травы хлестали его будильями по затылку и по спине. Ноги его волочились под днищем танка. Его так встряхивало, что выдёргивало руки из плеч. Озерову казалось, что вокруг непроглядная ночь и он вместе с чем-то грохочущим и огнедышащим летит и летит в бездонную пропасть.

В одном месте, делая бросок через канаву, танк сильно ударился гусеницами о её край, и капитан Озеров, оторвавшись, полетел в канаву.

#### XXIV

Прорвав оборону в центре рубежа, немецкие танки пошли через лес прямо к Вазузе. Вслед за ними прошли автоматчики, добывая раненых и захватывая в плен не успевших бежать в лес.

В последние минуты, когда немецкие автоматчики были совсем близко, Андрей выбрался при помощи Юргина из своего полузаваленного танком окопа, и они, прячась в бурьяне, ползком пробрались в лошину, заросшую кустарником. Немцы не заметили их и прошли мимо. Андрей и Юргин долго лежали в кустарнике, не шевелясь, придерживая дыхание. Андрей впал в забытьё. Около часа по всему полю раздавались топот ног, резкие свистки, автоматные очереди, истошные выкрики. Некоторое время много чужих металлических голосов гремело у леска, где стояла батарея, затем послышался топот большой толпы по целине. Потом на ближнем просёлке долго стучали мотоциклы и грохотали грузовые машины, проходящие к Вазузе. Наконец на рубеже батальона начала устанавливаться тишина.

Андрей открыл глаза. У самой голова — на сером камне — стояла ворона; на правом крыле её вкось торчал, сверкая белой изнанкой, вывернутое перо. Приподняв клюв старческой прищуркой, точно сквозь очки, смотрела она на Андрея, и глаза её показались ему большими и мертвенно-лунными, как у совы. Зябко подёрнув приспущенные крылья, она шагнула вперёд, и Андрей замер в ужасе, услышав, как скрежетнули о камни её когти. Он застонал, и ворона, прыгнув, взлетела с шумом, заслонив крыльями небо.

Тяжело опираясь о землю, Андрей приподнялся и повёл вокруг опухшими от прилившей крови глазами. Он лежал в помятом, обтрёпанном кустарнике. Вокруг истекали свежей ржавью ободранные ольхи. На обломанных кустах крушины светились литые картечины ягод. Старая ворона качалась на согнутой вершине берёзки, и клюв её железом сверкал на солнце. Она не собиралась отлетать далеко. У неё был настороженный, выжидательный взгляд. Андрей начал судорожно хвататься за сухие, пахнущие гарью травы.

— Отошло? — послышался из кустов голос Юргина.

— В голове шумно...—не сразу ответил Андрей.

— Лежи ещё!—приказал Юргин.—От ума тебя отшибло, что ли? Вроде чумной ты...

И опять они затихли. Каждый с усилием напрягал слух, то слегка приподнимая голову, то прикладывая ухо к земле. Далеко на флангах, у большаков, всё ещё гремели пушки, а поблизости вокруг—на рубеже батальона—стояла тишина. Полежав ещё с полчаса, Матвей Юргин приподнял от земли занывшую грудь, сказал:

— Ну, отдохнул?—тут же предложил:—Пошли!

— Погодим ещё,—шопотом попросил Андрей.

— Пошто ж это лежать тут до ночи? Кругом вон тихо совсем, ни души. Проскочим сейчас до леса, а там...

— А в лесу нет их?

— Да прошли давно, чего ты!

— Товарищ сержант, погодим ещё.

— Слушай, Андрюха, — сказал Юргин,—пересиль ты себя, уйми! Ведь я же видел, как ты встречал танк! Пошто ж ты теперь-то?

Хотя на поле боя и установилась тишина, у Андрея всё ещё сжималось и немело от страха всё тело. Он боялся не того, что ожидает его теперь, после разгрома полка. Об этом он не успел ещё подумать. Он с ужасом вспоминал прошедший бой. Ему было страшно от воспоминания о том, что он пережил на этом поле, и ему ещё не верилось, что всё это кончилось. В голове его гудело, в ушах ещё держался, не стихая, свист и грохот, и он не верил, что вокруг установилась тишина.

Полежав ещё немного, Матвей Юргин привстал на колени, сказал решительно:

— Больше нет моего терпения! Всю грудь разломило! Пошли!

— Куда же подадимся?—глуховато спросил Андрей.

— В лес. Куда же больше?

— Может, ползком?

— Пропади они пропадом! — сердито ответил Юргин.— Не из той я породы, чтобы всё ползать да ползать! Вставай!

Матвей Юргин встал на ноги и, не оглядываясь, начал отряхивать гимнастёрку и брюки. Сказал негромко:

— Да, не пофартило!

Выждав ещё несколько секунд, поднялся и Андрей; лицо у него было серое, щёки опали, а под козырьком каски стояли расширенные глаза, не было в них привычного родникового блеска и родниковой тишины... Не расправив плеч, он, глянув со звериной поспешностью по сторонам, совсем глуховатым голосом спросил:

— А винтовку брать?

— А как же? Чем воевать будешь?—удивлённо ответил Юргин.— Ты что—думаешь, на этом кончилась война? Нет! Она, брат, только начинается! Мы ещё повоюем с тобой! Битый двух небитых стоит.

Они пошли ложиной к лесу. Всё поле было исполосовано гусеницами танков, избито снарядами и минами, словно его изрыло стадо свиней. Во многих местах поле было сожжено и запорошено чёрной гарью. Реденький лес, куда они вскоре вошли, тоже заметен пострадал от боя: комли многих деревьев были ободраны пулями, верхинки и сучья обломаны осколками, а кусты помяты, растоптаны машинами и людьми. На всём пути—и в поле и в лесу—Андрей там и сям видел убитых. Он боялся смотреть на них, он не мог не смотреть: впервые он видел, как могуча и беспощадна смерть. Убитые лежали, распластав руки и скорчившись от предсмертных мух, их осыпало опавшим листом, и сами они—жёлтые, измятые, окровавленные,—были как эти опавшие листья.

В лесу было сумеречно. Нога легко ступала по рыхловатой почве, по кочкам, заросшим мхом и брусничкой. В низинках, где густо голубел осинник, ещё крепко, по-летнему держалась свежая щетина осоки. Среди сыроватых кочек—круговинами—стоял тёмный хвощ, а прыщинец ещё пытался осветить лесные сумерки жёлтыми цветами. «Ведь они—к разлуке...»—мельком подумал Андрей и затем, сам не замечая, что делает, намеренно начал

тушить ботинками эти невзрачные жёлтые огоньки.

Пройдя метров двести в глубину леса, Андрей увидел ещё одного убитого. Он лежал, почти обняв комель сосенки и уткнув нос в брусничник.

— Матвей! Гляди, это же... Комбат наш! — Андрей сбросил винтовку. — Эх, ясно море! Товарищ старший лейтенант! Куда же его? Которо место?

— Пошли, — позвал Юргин, — чего смотреть?

— Погоди, Матвей! Поглядим, куда же его ударило? Ах ты, горе-то какое! Вчера только ночевал у нас, и вот — видишь, а? Куда же его?

Андрей взял Лозневого за плечо, намереваясь повернуть вверх грудью, но вдруг близко прогремел винтовочный выстрел и послышались голоса.

— Давай за мной! — крикнул Юргин, и они побежали.

Спустя немного, когда Юргин и Андрей скрылись в лесной глуши, Лозневой приподнял голову и осторожно, одним правым глазом, поглядел из-за комля сосенки. «Тьфу, дьявол! — сказал про себя. — И нанесло же его!» Он вскочил и, пригибаясь, начал перебегать от дерева к дереву — ближе к опушке. Увидев убитого бойца, лежавшего навзничь между мшистых кочек, он остановился и, став на колени, начал стаскивать с него ботинки. Один снялся легко, но второй — на правой ноге — почему-то держался туго. Торопясь окончить дело, Лозневой так дёрнул ботинок, подхватив его за задник, что сорвал бойца с места. И вдруг боец приоткрыл глаза и сказал слабым голосом:

— Пить!

Лозневой выронил его ногу, кинулся в сторону, вилля между деревьями. Через сотню метров он остановился у другого бойца, лежавшего так неловко, как может лежать только мёртвый. На голове его виднелись сгустки крови. Лозневой осторожно ощупал бойца: да, этот был, несомненно, мёртв, у него уже сильно приостыло тело. Лозневой торопливо стащил с него обмундирование,

выгоревшее от солнца, прязное, пахнущее потом и кровью, и бросился в тёмный чащобник. Здесь он переделся в солдатское обмундирование. Оно было мало для его роста: концы брюк стягивали икры ног, а рукава едва прикрывали локти. В этом обмундировании он стал казаться долговязым и длинноруким. Вытащив из кармана гимнастёрки красноармейскую книжку убитого, Лозневой просмотрел первый её листок и про себя повторил фамилию, которую предстояло теперь ему носить. Спрятав книжку, он оттащил своё обмундирование подальше в чащобник, где было сыро, и старательно затоптал его в грязь.

## XXV

В то время когда немецкие танки, смяв батальон Лозневого, двинулись к Вазузе, все наши части были уже за переправой. Через мост валом валили одни беженцы. Сапёры до последней минуты выжидали, когда прекратится их неудержимый поток, и по этой причине не успели взорвать мост. Давя беженцев, немецкие танки ворвались на мост и перешли на восточный берег Вазузы, но здесь вынуждены были задержаться: на большаках, далеко в тылу, ещё продолжался бой.

В самый разгар танковой атаки на батальон Лозневого с командиром полка майором Волошиным случился сердечный припадок. Находясь уже в санитарной двуколке, он отдал приказ штабу: немедленно сняться и уйти в глубину леса.

Генерал Бородин, находившийся за Вазузой, подошёл к повозке, на которой попискивала рация, чтобы отдать полку Волошина приказ об отходе, но сколько ни бился радист, рация Волошина не отвечала на сигналы. Штаб Волошина уже находился в пути.

Батальоны Журавского и Болотина в результате этого не получили приказ об отходе. Они держались у большаков стойко. Даже поняв, что оборона полка прорвана в центре и немцы вышли к Вазузе, эти батальоны продолжали бой. И только когда немецкие автоматчики, войдя

в прорыв, зашли с тыла, эти батальоны оставили свои рубежи.

И тогда по лесам начали собираться люди со всего полка. В одиночку и группами, минуя переправу, люди потянулись вверх по Вазузе, где были сплошные тёмные урочища.

... Пробираясь лесной глухоманью, Матвей Юргин и Андрей повстречали несколько бойцов, а ночью они прибились к довольно большой группе однополчан. Здесь оказались люди из штаба полка, из мелких подразделений, находящихся при штабе, а также из батальона Лозневого. Растянувшись цепочкой, всё время пополняясь в пути, эта группа бесшумно двинулась извилистой дорожкой, сквозь непроглядную темень урочища. Позади её, поскрипывая, тарахтя на оголённых корнях деревьев, тащились несколько повозок и санитарная двуколка.

Впереди шёл капитан Озеров.

Он шёл, держась за плечо Пети Уральца, сильно припадая на левую ногу. Он был в солдатском ватнике, но без фуражки. Бинт на голове почернел от пыли и гари. Озеров шёл, хрипло вздыхая, изредка нагибаясь к земле и отплёвывая что-то густое и липкое. У него ломило голову, как от угара, ныла, горела и надламывалась поясница. Танк пролетел над ним, не задев его в канаве днищем. Но, сорвавшись с буксирного крюка, он так ушибся, что не сразу смог встать на ноги: всё тело размякло и обессилело. С большим трудом, с помощью Пети Уральца он ползком добрался до леса и скрылся от автоматчиков. В лесу он натолкнулся на штаб полка. Теперь он шёл совсем слабой, разбитой походкой. Задевая ногой за корень дерева или валежину, он дёргался всем туловищем, цеплялся за всё, что попадало, и едва удерживался на ногах. Иногда он, замирая, хватался за поясницу и стоял так несколько секунд, морщась и мёртво стискивая зубы.

Петя Уралец уговаривал его:

— Да сядьте вы, товарищ капитан, на повозку.

— Молчи! — крепко сжимая его плечо, отвечал Озеров. — Молчи!

Мне надо идти. Идти и идти. Разомну тело — и всё пройдёт...

Он шёл и слушал, как шли за ним люди. Он чувствовал, что они покорно подчиняются его воле, и понимал, что для того, чтобы сплотить вокруг себя этих людей, напуганных разгромом и неизвестностью, заставить их идти дальше за ним, преодолевая все преграды, он должен сейчас, вот этой ночью, идти впереди всей группы. Он шёл и шёл, незаметно и прочно завоёвывая то великое право, какое имеет только человек, идущий впереди...

И люди шли, доверчиво подчиняясь воле идущего впереди. Когда он останавливался, — останавливалась вся группа, замирая на месте, прислушиваясь к шорохам ночи. Стоило от него по цепочке прошелестеть какой-нибудь команде — и все, торопясь, выполняли её. Большинство людей не знало, кто шёл впереди, но все чувствовали над собой его власть и охотно подчинялись ей. И всё это происходило потому, что он шёл первым и вёл их туда, куда всем хотелось идти...

Андрей пытался разгадать, о чём думают эти люди, бредущие сквозь глухое урочище. «Всё молчат и молчат... О чём они думают?» Ему казалось, что идёт он не по ровной местности, а спускается всё ниже и ниже под гору, в какое-то царство душной и вечной тьмы.

Это тяжкое впечатление вновь и вновь возвращало Андрея к непривычным, сегодня впервые появившимся у него думам о смерти, жестокость и беспощадность которой так поразили его на поле боя. Вчера вечером и сегодня утром у него, за все время отступления, было самое сильное желание — задержать врага и самая большая надежда, что он будет задержан на последнем рубеже. Но этого не произошло. Наоборот, немцы разбили их полк.

Андрею казалось, что если его часть разбита, — значит, всё пропало, всё, всё!.. Он не думал и не мог думать о том, что их полк — только небольшая частица огромной армии, что гибель одного полка не может в большой мере повлиять на судьбы войны. Он видел, как погиб их полк,

всё его сознание содрогалось от страшной картины его разгрома и торжества смерти, и он с душевной болью думал лишь о том, что теперь всё пропало.

Он шопотом спросил Юргина:

— Кто ж там ведёт?

— Раз ведёт человек, куда надо, чего тебе? Ведёт—и хорошо!—угрюмо ответил Юргин.

— А куда? Вокруг же нас немцы!

— Кто сказал? Это вокруг немцев—наши. Чем ни дальше они заходят в нашу землю, тем хуже для них. А нам—что? Мы на своей земле! Иди, иди, знай!

После полуночи группа вышла из лесной чащобы на проредь. Все вздохнули облегчённо. Здесь все увидели деревья и над ними—небо. Оно было пасмурное, на нём светились редкие, мелкие звёздочки. Но всё же это было небо, и под ним просторнее было душе, и легче вздымалась грудь, и лучше чувствовалась земная твердь. Где-то далеко впереди, куда двигалась группа, немецкие самолёты развесили над дорогами фонари—ночь бежала от их страшного, мёртвого света.

За ней был обрыв к Вазузе. Вода в реке поблёскивала, как смола. Восточный берег её терялся во тьме, от этого река казалась необыкновенно широкой и могучей.

Капитан Озеров сел на землю, опёрся о большой шершавый камень и неторопливо, почти шопотом, начал отдавать приказания. Только здесь все узнали, что их ведёт заместитель командира полка. Его приказы исполнялись быстро и точно. Теперь над всей группой он пользовался не столько властью, данной ему законом, сколько той властью, более сильной, какую получил он в эту ночь, пока шёл впереди.

## XXVI

Добровольцы-разведчики пошли искать на Вазузе брод для переправы. Все остальные люди, сбиваясь в кучи, начали располагаться на отдых вдоль берега.

Недалеко от обрыва лежала вывороченная бурей толстая ель, припахивающая гнильцой и плесенью. Падая, она вырвала вместе с корнями и поставила торчмя большой пласт

дёрна. Андрей сел у комля ели, откинув голову за засохший дёрн, перебитый жгутами корней и, почему-то прикрыв глаза, попытался представить себе бурю, что прошла над лесом. «Какое ведь дерево вырвало из земли!»—подумал он, и ему, ещё больше чем в пути, стало жутко от своих дум о смерти.

— Ты посиди здесь,—наклонился над ним Юргин.— Я пройду по берегу, потолкую с людьми.

— Я посижу,—покорно согласился Андрей.

Сколько он просидел у поверженной ели, Андрей не помнил: вновь он был в том состоянии полузабытья, в каком находился, когда прятался с Юргиним в кустарнике. Перед ним мелькали, точно при вспышках молнии, то горящие танки, то убитые—и все они были похожи на Лозневого, то вдруг он увидел свой двор, белых голубей над родной Ольховкой и ярко озарённые неугасимым светом белые берёзы. Он даже отчётливо услышал голос отца:

— А вернёшься ли?

Он хотел было заговорить с отцом, но рядом раздались другие голоса, хруст веток и сухой травы.

— Сидишь?—спросил Юргин.— А я вон наших ребят встретил. Дружков закадычных! Следом за нами плелись, только сейчас подошли.

— Да какая с ним, с дылдой, ходьба?—возмущённо заговорил Семён Дегтярёв, ощупывая в темноте ель, чтобы присесть на неё.— Одна маята! Под каждым кустом, дьявол, садится! А ты жди его!..

— Тебе, Семён, всё ничего,—мирно простуженным голосом ответил Умрихин, и Андрей увидел, как его высокая, жердястая фигура выросла в темноте, рядом, у пласта дёрна,—тебе смешки всё. А может, у меня болезнь такая? Вот и сейчас в животе-то ровно кто палкой, как в кадке, вот так крутит! Одним словом, у меня какая-то порча в главной кишке. а он...

— И-и, порча!—насмешливо воскликнул Дегтярёв.

— Да, понятно, порча! Я как поем с излишком стряпни, так меня и погонит. Это вон Андрей всё... из-за него.

— При чём же я тут?

— С твоих пирогов.

— Хе, с пирогов! — захохотал Дегтярёв.— Не с пирогов, скажи, а со страху. Вот с чего.

— Это, пожалуй, вернее,— заметил и Юргин.

— Эх, товарищ сержант! С такого страху небось и любого прохватить может! — без обиды возразил Умрихин.— Не дай и не приведи, господи, видать больше такого! Ох, господи, как ведь крутит, а?

— Посиди,—предложил Андрей.

— Ага, надо посидеть...

— Тьфу! — возмутился Дегтярёв.— Опять?

— Да нет, без дела посидеть... Чего ты?

Умрихин устроился рядом с Андреем у комля ели. Присел и Юргин. Закурили. В эту минуту Андрею показалось, что в их жизни не произошло никаких перемен, что они сейчас на обычном привале. Чем эта ночь отличается от тех, что прошли за последние месяцы? Но тут же он вспомнил о Мартьянове, Вольных, Глухане, о всех других бойцах отделения, которым никогда теперь не сидеть в их кружке, и вновь увидел, как за рекой, по всему пространству ночи, падают с высоты и трепещут мёртвые огни. И он спросил тихонько и задумчиво:

— Что ж, это — и всё наше отделение теперь?

— Выходит, так,— вздохнул Умрихин,— всех, кажись, побило. Ладно, что мы ещё вырвались оттуда...

— Как вырвались-то?—спросил Юргин.

— А лучше и не спрашивай, товарищ сержант! — ответил Умрихин.— Как вырвались из этого пекла, и теперь не вспомню. Нечего сказать, приняли страстей! И как только уберёг меня господь от смерти, а? Кругом ведь так и косило! Просто чудо, что унёс ноги!

— А в бою ты ничего действовал, подходяще,—сказал Юргин.—Вроде бы не боялся. Вот когда, скажем, танк били...

— Танк? Это какой?

— Ну, что с Семёном мы подшибли.

— И я... что же... был там?

— А кто же по стволу пулемёта саданул,—забыл?

— Это я?

— Да ты—что? И танкиста сшиб.

— Я? Хм!..—загудел в темноте Умрихин.— Ты гляди, как я действовал, а? — подивился он искренно, а затем добавил с гордостью:— Понятно, я действовал! Ну, не упоминай же всё! В такой буче!

Внизу, на реке, закричали негромко:

— Пошёл, не бойсь!

Началась переправа.

За несколько минут отдыха у каждого затежелело, ослабло сильно натруженное тело—все поднимались медленно, опираясь то о землю, то об ель. Последним встал Андрей.

Капитан Озеров сидел у камня, под плащ-палаткой. Засветив фонарик, он рассматривал карту—намечал дальнейший путь. К нему подскочил адъютант командира полка Целуйко.

— Товарищ капитан, майор наш умер,—сказал он дрогнувшим голосом.

Озеров поднялся, с трудом выбрался на крутой берег. Шагая рядом, Целуйко пояснил:

— Вот сейчас только!

На дорожке, под ёлкой, стояла санитарная двуколка. Капитан Озеров нагнулся над ней, зажёл фонарик. Волошин сидел, откинувшись в угол двуколки, в позе дремлющего человека.

Вокруг двуколки уже собралась толпа. Слышались встревоженные голоса. Кто-то угрюмо сказал:

— Тедерь пропали... и полк разбили, и...

— Кто это сказал, что полк разбит?—громко крикнул Озеров и, не получив ответа, повторил, гневно дыша:— Кто это сказал?

Он расстегнул ватник, выхватил и одним рывком распахнул над собой тёмное полотнище.

— Вот знамя полка!—крикнул он, и эти слова его кто-то повторил за рекой.—Пока оно с нами, полк жив! Слышите? Мы присягали на верность этому знамени! Кто посмеет уронить его? Кто посмеет отдать его врагу на поругание? Когда это было, чтобы русские войны роняли своё боевое

знамя? Мы пронесём его, пусть придётся идти по колено в крови!

...У обрыва Озерова догнал Целуйко:

— Товарищ капитан, как же с майором?

— Хоронить!

Хоронить майора Волошина вызвался Матвей Юргин. Он позвал на помощь своих бойцов и выбрал место для могилы. Торолко застучали о камни лопаты. Все работали молча, угрюмо, словно мастерили смертное ложе не командиру полка, а себе. За всё время работы только Умрихин, не вытерпев, медленно, с растяжкой произнёс:

— Да-а-а...

На реке продолжалась переправа. У берега трещали кусты ветельника, хрустела галька, двигались повозки, наугад спускались с обрыва солдаты. На перекате, где был хороший брод, слышался сдержанный говор, плескалась чёрная, как смола, вода.

Перейдя на восточный берег Вазузы, Озеров сам начал руководить переправой. Он торопил людей. Изредка на мгновение вспыхивал его фонарь, и свет его, падая на речку, мелкими блёстками растекался по встревоженной, беспокойной стремнине.

Когда речку перешла последняя группа солдат, хоронивших Волошина, капитан Озеров, встретив её, справился:

— Теперь все?

Бойцы начали оглядываться:

— Все!

— Пошли!

Но тут выступил вперёд Матвей Юргин:

— Погодите, один отстал!

— Кто это?

— Боец один. Куда он делся? Он же пошёл за нами!—Юргин присел, чтобы лучше присмотреться к реке, волнуясь, позвал: — Андре-ей! Андрей, где ты?

— Не кричи,—остановил его Озеров,—он из здешних мест?

— Из здешних.

— Всё ясно! Пошли!

— Тьфу, дьявол! Где же он?

Похрустывая галькой, все пошли от реки...

## XXVII

На всю жизнь Андрей запомнил эту ночь.

Когда товарищи начали переходить реку, он приотстал и задержался у берега. Снимая ботинки, он посмотрелся к реке. Быстрая стремнина, потряхивая на перекате осыпавшиеся с неба звёзды, проходила мимо в кромешной мгле, разделяя мир надвое: один — на этой, другой — на той стороне. Мир на этой стороне теперь был страшен для Андрея, но всё же давно знаком и пройден насквозь; мир на той стороне — загадочен, наполнен таинственной тьмой и неизвестностью. Река Вазуза была теперь рубежом, разделявшим надвое его жизнь. Что ждёт его за этой рекой? Андрею показалось, что позади опять очень внятно раздался голос отца:

— А вернёшься ли?

Андрей не думал и не хотел отставать здесь от своих однополчан: в душе своей он был уже солдат. Он лишь боялся того, что случится с ним на той стороне реки. Волнуясь, он так суматошно возился с ботинками и обмотками, что даже не слышал, как окликал его Матвей Юргин. Он услышал хруст гальки, треск веток, а затем резкий голос Озерова, и ему вдруг стало жутко оттого, что он остался один. Вскочив, он бросился в реку. Он торопился, шумно дышал, двигая ногами, а у самого стрежня запнулся о камень и упал всей грудью вперёд, оглушив себя плеском воды. Поднявшись на ноги, он ещё более заторопился и второпях забрал сильно влево, где большой омут...

Услышав сильные всплески на реке, Матвей Юргин быстро обернулся на крутом обрыве, вновь крикнул:

— Андрей, это ты?

Андрей кое-как выбрался на берег. Не отвечая, он полез на обрыв, раздирая кусты ивняка. Он вылез, с хрипом двигая широкой грудью. С его одежды ручьями стекала вода. Только передохнув несколько раз, он сказал устало и сумрачно:

— Чего ж ты... кричишь тут?

— Как—чего? А что ты отстал?

Андрей отряхнул руки. Сдерживая

дрожь, ответил:

— Ботинок вот потерял!

Солдаты подступили к нему ближе:

— Ботинск! Тыфу, вот угораздило!

— Это как же помогло тебе?

— В омут я было подал, — всё так же сумрачно пояснил Андрей. — Вот тут. Глыбь — во! Едва вылез. Видите? А холодно здорово!

Подошёл Озеров. Осветив лицо Андрея фонариком, он сразу узнал его:

— А, это ты!

— Я, товарищ капитан.

— Последним перешёл?

— Так точно, последним...

Для капитана Озерова, видимо, было очень важно знать, что через реку перешли все. Он ещё раз осветил фонариком лицо Андрея, увидел, как он тяжело дышит, как с него течёт вода, и вдруг, всем на удивление, шагнул к Андрею и прижал его к себе.

— Ну всё, всё, — сказал он смущённо, словно между ним и Андреем была размолвка, а теперь оба пришли к мировой. — Ну, всё хорошо, надо идти. Стой, да ты что — ботинок потерял?

— Я так пойду, — сказал Андрей тоже смущённо.

— Зря всё же потерял, — пожалел Озеров. — Теперь у нас ничего нет,

беречь всё надо. Как же быть? Застудишь ведь ногу, а?

— Застудит, — сказал Юргин. — Да он весь мокрый ещё... Вон какой!

— Стой, брат, раздевайся! — приказал Озеров и обратился к солдатам: — У кого, товарищи, есть что-нибудь лишнее?

Солдаты быстро надавали Андрею разной одежды. Но свободной обуви всё же не оказалось, пришлось обвязать левую ногу тряпками да куском плащ-палатки. Надев всё сухое, Андрей быстро согрелся, и ему стало так хорошо, как ещё не бывало никогда. «Свой все, — подумал он растроганно. — Как семья одна...» И он пошёл от Вазузы, всё больше и больше радуясь теплу в себе и тому приятному ощущению, что вскруг него близкие, почти родные люди.

И тут Андрей подумал, что их полк, хотя и понёс большие потери, всё же продолжает жить. Андрей был так обрадован этой мыслью, что в его душе стало быстро гаснуть чувство обездоленности, какое мучило его до реки. Шагая в толпе однополчан, он теперь уже не вспоминал картины разгрома и смерти и не думал о том, что ждёт его впереди, за бескрайней ночью, кое-где освещаемой мёртвыми огнями. Он шёл на восток, думая о жизни.

*(Продолжение следует.)*

---

## Земля стойких

«Я делал, что считал нужным, подвергаясь опасности  
и на войне, и от зверя, и от воды, и падая с коня».  
Из «Поучения» Владимира Мономаха

### I

Не в Мюнхене  
и не в Берлине  
твоя судьба решалась, век, —  
а дважды  
на пустой равнине,  
меж трёх  
не слишком быстрых рек.

Одна пересыхала даже,  
но здесь — у Азии самой —  
двужильный куст стоял на страже,  
как европейский часовой.

Он между Волгой рдел и Доном,  
на юге видя тихий Сал,  
буран  
е однообразным звоном  
его зубцами потрясал.

Живой,  
железный,  
жжёный,  
жгучий,

свидетель  
стольких передряг —  
он битвы с бронбойной тучей  
выстаивал,  
как сибиряк.

И влопони и стоянки  
он красил,  
нечто было в нём  
от славянина и славянки,  
идуших в поле снеговом.

Термитная лавина мчала  
над ним,  
и танк его ломал,  
но, как бессмертное начало,  
он снова кости разминал.

В степи саратовской, холодной  
мне нравились его черты,  
исполненные благородной,  
не жёсткости,  
а прямоты.  
Средь битв,

смертей,  
эвакуаций  
хранил он жизнь, как торжество.  
Меж нами стало намечаться  
не то чтоб сходство,  
а родство.

Мы тоже без огня и хлеба  
с женою трудным шли путём,  
и в землю нас давило небо,  
а мы,  
как видите, живём.

### II

«Горит восток зарёю новой».  
Пушкин

Об играх небесных пожарищ,  
рассыпавших угли вокруг,  
один рассказал мне товарищ,  
не только товарищ, — и друг.

Представьте себе, над крапивой,  
над русско-якутским цветком,  
кружитесь снежок торопливый,  
бенгальским  
подсвечен  
огнём.

Под блеском пурпурной ледыни  
пальба,  
как в степи молотьба.  
На восемь деревьев —  
пустыня,  
на десять погостов —  
изба.

Не только за нашу свободу,  
не только за гордый наш строй  
мы волжскую серую воду  
отметили красной чертой —

Мы бились за счастье вселенной,  
как воинам всем надлежит...  
В сиянии зари драгоценной  
наш доблестный воин лежит.



Лена-лебедь!  
Мамай-то девять орд привёл,  
а в свой улус  
бежит сам-девятый.  
Да и за то он благодарен...

А утро!  
Кто б поверить мог;  
туман,  
как терем-теремок;  
а в окнах:  
огурец янтарен,  
лук перламутров,  
розов клён,  
а царь-горох почил в  
порфире,  
заботой о войне и мире  
необычайно утомлён,  
и дремлет  
черноризец лён.

От нас бежит Наполеон,  
с ним вместе двадцать языков,  
и прибегут в Париж сам-два.

Плохой погоды не накликав,  
исчезла иволга.

Трава  
в ползучем молоке дымится,  
и амарант пылает в нём,  
и над свекольным тем огнём  
тумана движутся частицы.  
Вот будет день!  
Вот заживём!

Дай в Кострому мне  
возвратиться —

В нас уродятся сыновья:  
Мы рождены не на шите ли,  
шеломы — наши колыбели,  
мы вскормлены с конца копья,  
мы вспоены с меча стального,  
известны мужество отцово,  
честь материнская твоя.

Земля дерзающих  
(не дерзких!),  
Гы помяни детей своих:  
коломенских,  
белоозерских,  
дмитровских  
и костромских,  
ростовских,  
суздальских,  
можайских,  
владимировских  
и остальных.

Мне яблочек достать бы  
райских,  
тебе послать бы в Кострому!  
А небо...  
прямо не пойму:  
лежит хрустальной глыбой  
синей  
в атласном поле.  
Благодать!  
Хозяюшка  
и героиня,  
о чём тебе ещё сказать?

## V

«Вы не знали его, а он знал вас, он думал  
о вас! Кто бы вы ни были, вы нуждаетесь  
в этом друге».

Анри Барбюс «Сталин».

В Царицыне он с нами был.  
Среди отдельных лиц и наций  
он наше право подтвердил  
народом добрым называться.

Друзья всем племенам и расам —  
встречались мы не в первый раз.  
В упорство наше,  
в светлый разум  
он верил,  
то есть верил в нас.  
И, веря,  
направляя пути  
людей не слишком терпеливых,  
по одному тому счастливых,  
что счастье мира  
впереди...

Сраженье на заре вставало,  
водой колодезной плескало  
себе в лицо,  
спешило в дом  
за ремешком или ведром,  
распоряженье отдавало,  
выстраивалось,  
запрягало,  
передвигалось по жнивью,  
и осень пятна продвигала  
в степи,  
у мира на краю.  
И плыл рассвет  
в том направлении,  
куда стремилось наступленье  
рабочих наших  
и крестьян.  
И Дон  
был битвой осиян.  
И всё, что низкой прозой было,

всей прозой, —  
без высоких слов  
уже в историю входило,  
то есть в поэзию веков.

\* \* \*

А сорок первый помнишь, Таня,  
Илецк и ранней вьюги вздох?  
В Октябрьский праздник  
илечане —  
не более десятков трёх —  
с единственным, но бодрым  
флагом  
шли вдоль беседки штатским  
шагом.

Трибуна эта, ей-же-ей,  
была из четырёх жердей  
сколочена  
и знаменита,  
лишь тем, что кровелькой  
покрыта.

Но башня Спасская за ней  
вдруг поднялась, и мавзолей,  
и он стоял на мавзолее.

А там,  
сверкая медью,  
рдея,  
за телеграфом, на Тверской,  
знамён гражданских взмыли сени,  
как лес карминно-зслотой,  
как русский лес порой осенней,  
очерченный всей синевой,  
всей ясностью  
морозцев первых —  
успокоительных для нервов,  
многополезных для сердец.  
Процессий праздничных конец  
с Серебряным сливался бором,  
с дубравами по косограм  
над светлую Москвой-рекой  
и за дорогой Окружной —  
с лесами, нет конца которым,  
вернее  
не было конца  
у золота и багреца,  
и просто делались невняты  
осенних наших далее плтна.

А на восток,  
на край земли,  
туда,  
где мы и не бывали,  
ночные эшелоны шли,  
и вахту  
мы в снегах держали,  
и сквозь метель

мы различали  
его слова.

На красный флаг,  
на фонари,  
на порожняк,  
без видимой ползущей цели,  
из темноты снега летели,  
валился лист из темноты,  
но знали мы:  
нет,  
мы не листья,  
забытые октябрьской кистью,  
нет,  
мы не чёрные листы —  
мы ветки,  
и притом живые  
на нашем дереве живом,  
нет,  
рощи мы сторожевые  
в убранстве красно-золотом.

\* \* \*

О пятна осени полночной  
на правом берегу крутом!  
Ракета лампой неурочной  
не повисала над Днепром,  
не разрывал прожектор дерзкий  
ночного октября пары,  
лишь лавры Киево-Печерской  
мерцали белые двory,  
черно-коричневые главы.  
Держали немцы берег правый.  
Ещё держали до поры!

А северней  
лесные дали,  
на левом берегу реки,  
луга,  
запруды,  
ивняки  
ничем себя не выдавали,  
огонь и свет искореня,  
но переправы ждали, ждали...  
Как два рыбацких куреня,  
две бурки над Днепром стояли  
и разговор цели такой:

ПЕРВЫЙ КОМАНДИР.

Над Волгой я дремал рекой,  
хотя вся 62-я,  
наш Сталинград обороняя,  
глаз не смыкала в час ночной,  
хотя в простенках  
и в подвалах,  
на лестничных площадках  
малых  
бой бушевал,

великий бой,  
меж зарев дряных и зелёных.  
И вижу:  
он передо мной.

**ВТОРОЙ КОМАНДИР:**  
Наверно, в маршальских  
погонах?

**ПЕРВЫЙ КОМАНДИР:**  
Какое!  
Их ввели поздней.  
Присвоен кубик был тогда мне,  
а он в шинели был своей,  
тяжёлой,  
чуть ли не из камня:  
ведь все тревоги  
всей страны,  
всю тяжесть всех  
противоречий,  
рождённых в заревах войны,  
он принял на прямые плечи,  
ведь он делил со мной, с  
тобой.  
а значит, и со всей планетой

все трудности минуты этой,  
ниспосланные нам  
судьбой.  
Хотя случались промежутки,  
когда я мог бы как-нибудь  
меж битв на пять минут  
заснуть,  
хотя не спал я трети сутки.—  
я не заснул...

**ВТОРОЙ КОМАНДИР:**  
Ты знал: в долгу  
ты у Победы.

Наша слава  
(так начиналась переправа)  
шла по лугам, по ивняку,  
плоты и лодки в Днепр  
сдвигала,  
на правый берег выгребала.  
Он был на правом берегу.

## **В колхозной станице**

### **РАССКАЗ**

Жарко, как может быть жарко в южной степи в начале знойного лета, когда земля не приняла ни одного дождя после талого снега. Бредут от гор высокие и редковатые кучевые облака, медленно и лениво. Дорога пыльная и горькая. Машина поднимает длинную пелену пыли, которая долго висит над дорогой, а потом ползёт в сторону по ленивому потоку воздуха и медленно падает на быстро созревающие пыреи и кручёные кусты дикого терновника.

Земля становится твёрдой. Кое-где пошли зигзаги расщелин. Спеклась глина, и даже чернозём порыжел. Не всё выпито зноем, и земля ещё отдаёт растительности последнюю влагу, и поэтому травы пока не сохнут, и даль ещё радует своими зелёными тонами, будто нанесёнными акварелью.

Степан Куренной, председатель колхоза «Рассвет», возвращался по тракту, проложенному в горы, к себе, в станицу, расположенную на кубанской плоскости. Куренной, недавно снова принявший артель от Андрея Головатенко, был полон большой, неостывшей энергии, принесённой с фронта. Колхоз «Рассвет» получил при Андрее Головатенко плохую славу за те три года, пока Куренной был в пластунской дивизии. Теперь Куренной старался вывести колхоз на первое место по краю и быстрее улучшить не только артельное хозяйство, но и материальное положение членов своей артели. Для достижения этой цели он не щадил своих сил. Воспользовавшись коротким перерывом в первостепенных полевых работах, Куренной ре-

шил съездить в горные станицы на земотдельском «виллисе», чтобы договориться там о продаже твёрдого леса на коробки под турлучные хаты, а также держакон на вилы, грабли, тяпки. В степи каждая щепка ценится высоко. Справившись с делами, Куренной возвращался обратно, поторапливая флегматичного водителя «виллиса» Ефима Кравчука, у которого что-то всё не ладилось с камерами.

Оставив Ефима на обочине заряжать баллон, Куренной перешёл пришоссейный ровчак и, пройдя по запылённой траве, оставлявшей следы на голенищах, прилёг на землю. Он видел, что пыреи раньше времени начали выбрасывать свои метёлки и стебли, окостеневать, потом наступит желтизна и «дротяная зрелость», когда стебли будут похожи на «дрот», как называют на Кубани проволоку.

Много комаров гудело монотонно и даже страшно, так как глаз в этой солнечной маревине не мог поймать их.

Куренной лежал на траве и тревожно чувствовал под собой твёрдую, будто окаменевшую землю. Тревожно прислушивался он к злему гудению комариных стай, неумолкавших даже в полуденный жар, и липнущей к телу мошкары.

Ефим уже стучал по баллону молотком — можно подниматься. Но вот послышался свист вновь вырвавшегося из камеры воздуха. Куренной перевернулся на спину и, подложив под голову сильные смуглые руки, смотрел на небо. Кричали шуры, и стаями перелетали галки. Высоко в небе планировал коршу

нок. Он редко взмахивал крыльями, но воздушный поток уносил лёгкое тело коршунка высоко над задыхающейся от зноя степью.

Невдалеке тянули линию связи голые по пояс красноармейцы. За леском, у колодца, стояли грузовики и низкие палатки. И хотя красноармейцы, и эти грузовики, и дымок над полевой кухней теперь были далеки Куренному, всё же он пристально смотрел на них из-под ладони, и у него невольно щемило сердце от запаха армейской, вовремя смазанной юфти. Как они сморо и быстро протянули линию связи! Он видел просмоленные столбы и блестящие изоляторы на них везде, где мчался его «виллис». Столбы шли над шоссе, иногда спрямляя расстояние, наконец пробегали станицу, выныривали на обрывистом берегу горной реки, углублялись по просеке в горы и шли туда, где за перевалами лежало огромное зеркало Чёрного моря.

Куренной увидел старую, серую, в яблоках лошадь. Страдая от зноя, она не паслась и стояла, отвесив губу и кося фиолетовым глазом. Её хвост находился в непрерывном движении — хлёск-хлёск-хлёск...

Под карагачами в тени стояла бричка, груженная щепным товаром и ореховыми держаками. На бричке лежали двое — мужчина и женщина. Куренной не мог отсюда разглядеть людей, но лошадь показалась ему знакомой. Привычка запоминать детали (Куренной был разведчиком у пластунов) заставила его обратить внимание, что лошадь по левому окоroku протаврена клеймом с конного завода. Он встречал эту лошадь. Где? Куренной приподнялся на локте и ещё раз проверил взглядом тавро. Несомненно, лошадь из артели имени Будённого, их же станичного юрта. Эта артель входила в число «большой сотни», то есть в сотню передовых колхозов края.

Ефим снова застучал по тугому баллону. Прислушавшись и не уловив досадного свиста воздуха, Куренной поднялся и направился к «виллису».

Ему хотелось пройти мимо карагачей, чтобы увидеть, кто же из будённовцев возвращается из гор. И

здесь обогнали! Ему пока удалось лишь договориться и захватить с собой только дубовой коры, а будённовцы уже везут нагружённую бричку.

Проходя мимо, Степан увидел на возу опрокинувшегося навзничь казака в армейских сапогах и шароварах хаки и немолодую, но крупную и чистотелую казачку, близко прильнувшую к мужчине. Она, не стыдась, охватила его ноги и положила на его колени голову с растрепавшимися чёрными косами. Заслышав хрустящие шаги, женщина приподняла голову, и из-под платка блеснули её фаянсовые белки.

Женщина показалась Куренному знакомой, а озорной блеск её белков показал, что она тоже узнала его. Но не хотелось мешать ласковой близости людей и покою их под знойной тенью степных карагачей.

Куренной сел в машину, рядом с Ефимом, и они тронулись в путь. Снова загудела пыль под колёсами, и грузовики с лесом, идущие к Краснодару, к переправе у Пашковской станицы, обдали пылью Куренного и Кравчука. Пыль текла с гимнастёрки, как вода, душила, и Куренной с завистью смотрел на мальчишек, сразбегу бросавшихся в ямы карьера, где задержались внешние воды. Куренной оглянулся. Горы уже не темнели, а серели на горизонте неровной, зубчатой кромкой, и кудрявины небольших рощиц, казалось, бежали туда, к горам.

Ефим искаса поглядывал на задумавшегося Степана, но в разговор не вступал с присущей ему, шофёру, сдержанностью. Куренному хотелось спросить у Ефима: не знает ли он, кто же именно возвращается на серой лошади с щепным товаром для колхоза «Будённый»? Напрягая память, Куренной вспомнил, что видел однажды женщину, так вольно разбросавшуюся на возу, и видел её с Ольгой Турчаниновой, той девушкой, которой он охотно отдал бы своё сердце, если бы не ряд препятствующих этому обстоятельств. Молчание нарушил сам Кравчук, когда въехали на дамбу, проложенную по пойме Кубани.

— «Будённого»-то возок везёт дрючки, — сказал он, пытливо поглядывая на Куренного.

— По лошади узнал, ездовой мехтяги?

— Это вы, пластуны, по коням часть узнаете, — отшутился Кравчук, — а я больше по женскому сословию. Правильных молодаек по всему району знаю. Глаз у меня на них — крючок.

— Кто же она? — как будто равнодушно спросил Куренной.

— Да вдовка, Фроська Гридасова, с заречья, с вашей же станицы.

— Вот оно что, ведь я её, пожалуй-то, знаю, Ефим.

— Ещё бы, Куренной, не знаты! — Ефим подмигнул. — Одно время эта Фроська к твоей Турчанинке подсватывалась в подружки...

Куренной не ожидал, что Кравчук знает о его чувствах к Турчаниновой, хотя подобные вести обычно быстро распространяются по станице. Он промолчал и отвернулся в сторону. Из камышей, густо проросших между утопленными в низине высокими пнями ещё немцами срубленных старых верб, поднялась стайка уток и косо пошла к лиману.

— И только подумать, кого подцепила та Фроська! — сказал Ефим; ему хотелось, видимо, продолжать разговор.

— Кого же подцепила? — хмуро спросил Куренной, сдвинув обгоревшие под солнцем брови.

— Головатенко.

— Головатенко! — воскликнул Куренной. — Андрея Головатенко?

— Точно. Я его по сапогам да по штанам узнал. Сапоги он вместе со мной куповал на базаре, а штаны выменял у одного фронтовика-кавалериста. С леями его штаны, не заметил разве?

— Головатенко, — Куренной взмахнул кулаком своей смуглой сильной руки, — я же его отпустил на неделю к каким-то родичам, в Фаногорское село...

— Может, и есть у него там родственники, Степан, — спокойно сказал Кравчук, осторожно ведя машину по деревянному настилу моста. — Вот и смотался он за эту неделю со

своей Фроськой в Фаногорское. Между делом и колхозу «Будённый» помог.

Кубань несла свои мутные, глинистые воды, Плыли коряги, ныряли. Крутил водоворот, и под ударами быстрой струи ходил плашкоутный мост, наспех сделанный на месте взорванного в войну металлического.

Вернувшись в станицу, Куренной подметил у всех колхозников своей артели тоскливое ожидание дождя. «В горах-то прошли?» — спрашивали его. «Где-то стороной, возле моря», — отвечал он. «У моря и так воды много», — говорили люди.

Земля покрывалась коркой, растрескивалась, и корка эта, как порох, вспыхивала под действием тяпок, Кукуруза ещё сосала влагу из глубоких слоёв, вытягивая свои корни и тратя на это силы, необходимые для роста. Пшеницы и ячмени, буйно пошедшие с весны, задержались в росте и знойными днями снижали, как бы стараясь спрятаться от солнца. В «Рассвете» говорили, что стороной, километрах в пятидесяти от юрта, дожди прошли и восточная часть края ожила. Всё чаще и чаще посматривали люди на небо, и Куренной чувствовал, что иногда и к нему обращены их взоры, как будто он мог чем-нибудь помочь. Так удачно прошли весенние полевые работы, хорошо шла прополка, и до сих пор не унывали девичьи звенья, голосисто выводя на кукурузных и подсолнечных полях звонкие песни. Но нужен был дождь, чтобы войти в «большую сотню». Людям должны были помочь силы природы.

Выслали за лесом в горные станицы подводы. Спешно замещивали и формовали саман для новых колхозных хат, для таборов и скотинников. Саман быстро просыхал на солнце, и, чтобы не разваливался, побольше добавляли соломы и скорее складывали его в «воздушные» кучи.

Работы шли своей чередой. Вода! Как нужна была она! Куренной видел искусственные дождевальные установки. Может быть, применить их и здесь? Нужны были затраты, электрическая энергия, шланги и многие приспособления, которых

сразу не сделаешь. Куренной выехал верхом на коне к речке, катившей свои небольшие, но быстрые воды в обрывистых берегах. Река бесполезно уносила свои воды к Кубани. Трудно поднять отсюда к полям воду. Даже скот неохотно спускался на водопой к реке, мычал и скользил на крутых тропках.

Головатенко ехал с участка своей бригады на мажаре, которую медленно тянули высокорогие красномастные волы. Окрикнув Головатенко, Степан подъехал к остановившейся мажаре и сошёл с коня. Они долго молчали. Степан что-то спросил о бригадных делах, и Андрей коротко ответил, внимательно разглядывая Куренного, облокотившегося на дробину мажары и медленными глотками, как воду, тянувшего махорочный дымок из самокрутки.

— Почему серчаешь на меня, Степан? — спросил Головатенко, смотря прямо в лицо собеседнику своими карими, навыкат глазами, в которых дрожала приглушённая усмешка.

— Что мне на тебя серчать, — сказал Куренной, не глядя на Андрея.

— За Фаногорийскую серчаешь... Поверь, случай свёл меня с Фроськой. Не сговаривались.

— Мне на то печали нету, — проговорил Куренной и поднял недружелюбные глаза, — нету... А вот что позавчера Ольгу заманивал...

— Ольгу? — Андрей улыбнулся и веселее посмотрел на Куренного. — Ишь оно что! Слухи одни, не верь им, Степан. Так потому и серчаешь?

— Не потому. Это второй вопрос. И не наше мужское дело на этом свои отношения строить.

— За что же?

— Мешаешь.

— Мешаю? — Головатенко сделал шаг вперёд и почти в упор, раздражённо, посмотрел на Степана. — Я ни слова ни кому не говорю про тебя. Сместил меня — и сместил, значит, я не управился с артелью. Низко кланяюсь, никогда в начальство не лез. Был, помню, в МТС когда-то трактористом, а потом механиком и оставаться бы мне там, а меня райком на полевые дела пустил. Я то при чём?

— Ни слова не говоришь, — повторил Степан слова Головатенко и, нагнувшись, захватил у корневища шпaryша, прижавшегося к твёрдому придорожью, горсть сухой, комковатой земли, — ты хуже слов делаешь. Молчишь, а твоё молчание и ухмылочка хуже брани.

— Не думал...

Степан так сжал кулак, что напряглись мышцы его сильной короткопалой руки с широкими ногтями.

— Молчать не люблю сам и другим не советую, — жёстко сказал Степан. — Так и запомни. Я на фронте не таких ломал, как ты. Приходили на пополнение подобные тебе субъекты. Не о себе заботился там, не о себе и здесь имею заботу. Что мне на тебя серчать? Прикажу — и всё будешь делать. А не будешь...

Куренной разжал кулак, и Головатенко увидел сжатую в комок землю, на которой оставались ребристые отпечатки его пальцев. Головатенко поднял глаза на Степана:

— Так сформуешь, что ли? Наглядное пособие?

— Дурень, — строго сказал Куренной, — земля сухая, а сошлась, склеилась. Значит, не совсем ещё всё выдохлось, а?

— Ты вот о чём. Это потом её склеило. Сколько ты в кулаке её жал.

— Пот? — переспросил Куренной и тихонько пристукнул комок рукояткой плети.

Комок распался, и снова на ладони лежал чернозём, обожжённый солнцем, иссушённый корнями ползучей травы — шпaryша.

— Зря меня ломать угрожаешь, Степан. Дождя нет, а ты на мне зло срываешь.

— Дождя нет, это верно, — сказал Степан и посмотрел на небо.

Шли редкие кучевые облака, такие, какими он видел их в предгорье, за Кубанью. Когда присмотришься к какому-нибудь из этих редких облачков, видишь, как постепенно оно рассасывается и исчезает совершенно, и потом где-то в отдалении опять намечается дымка, образуется облачко, и плывёт оно недолго и скоро умирает в синем, синем, до хрусталь-

ной чистоты прозрачном воздухе.

— Меня запросили в артель, потому что ты плохо хозяйничал, — заговорил Куренной. — Мог бы я и не возвращаться. Меня в земельный отдел брали заместителем. Секретарь райкома сватал, товарищ Покатилов. Как сватал! Коли ты не довёл бы наш «Рассвет» до такой тьмы, не пришёл бы я на твоё место. А всего три года я в пластунах проходил, и до чего ты довёл хозяйство?!

— Артель как артель, Степан. Чего тебе надо? Посевы выполнял, уборку производил, заготовки сдавал.

— Когда? — строго спросил Куренной. — Всё делал, но когда? С запозданием на две недели, как правило. Весь район из графика выбивал.

— Народу было маловато. Война прошла, а потом немец...

— На немца уже всё свалили, и его самого свалили. С него взятки гладки.

Конь Куренного шарил мягкими губами по низкой придорожной травке и срывал более нежные верхушки, пофыркивая, как будто сдувая пыль с травы. Быки стояли, сойдясь боками и помахивая хвостами. Ясно блестяли занозы ярм и кончики высоких бычьих рогов.

— Отпусти меня, Степан, — тихо сказал Головатенко.

— Куда? К Фроське, в колхоз «Будённый»? — насмешливо спросил Куренной.

— Не шучу, Степан, — в голосе крепкого, приземистого Головатенко послышались нотки горечи. — Ведь я же могу быть механиком, коли на то пошло. Сам же упрекал меня не раз, что живое тягло не приучил использовать в колхозе, когда тракторы-инвалиды стояли.

— Не моё дело, Головатенко, — смягчаясь, сказал Куренной. — Пусть Покатилов разберёт. Ты коммунист...

— Поехать к нему?

— Твоё дело.

— Я на велосипеде смотаюсь к вечеру.

— Твоё дело.

— Не сердчай на меня, Степан, — сказал Головатенко дружелюбно. — Не имею я злобы против тебя. А если

за общественное хозяйство сердчаешь, как сказал, то, может быть, не подошёл. Ведь каждый на своём месте. Заставь, к примеру, вот этого быка баранину жареную есть. Не станет...

— Прощай, — сухо сказал Куренной, хотя искренность Головатенко и тронула его.

— Досвиданья.

Головатенко взял в руки налыгач, а Куренной ловко вскочил в седло и, ощущая под собой мягкое покачивание хорошо идущей кобылицы, порысил к реке.

Этот разговор застал его врасплох. Куренной ожидал серьёзной схватки, а оказалось совершенно иначе. Может быть, и лучше, если Головатенко уйдёт в МТС?

Подъезжая к обрыву, Степан услышал песню возвращающихся с поля девушек. За рекой находились поля, где работало звено Ольги Турчаниновой. Может быть, поэтому, объезжая бригады, Куренной чаще всего стремился попасть к тому месту на крутобережье, где проходила тропка Ольги.

Девчата шли под обрывом, почти у самой реки и пели. Куренной узнал грудной, певучий и какой-то рокочущий голос Ольги. Она шла и, как всегда, взмахивала косынкой, держась за концы руками, — взмахивала сверху, от головы и до колен. Как всё это было знакомо Степану! Сойдя с коня, он остановился над обрывом так, чтобы видеть сверху девушек, но чтобы они не заметили его.

Ой ты Колю, ой ты Колю,

Видь до мене на любовь...

Ой ты Колю...

Громкий смех прервал песню. Смеялись звонко, по-девичьи, разом все три девушки, быстро шагавшие к броду.

Ярко сверкали струи воды, идущей над неглубоко затопленными гольшами. Пролетели горлинки и опустились в будяках ещё не распустивших свои малиновые татарские чалмы-цветы. Снизу снова вспыхнул сочный и задорный голос Ольги:

— Ой ты Колю, ой ты Колю...

Потом она побежала вперёд, стараясь не ступать на камни, чтобы не побить ноги. Глубокие следы её

босых ног ёлочкой отпечатывались на тёмном, замытом песке.

— Догоняйте! — крикнула она, махнув косынкой.

Подруги припустились за ней. Ольга подбежала к броду и, оглянувшись на оставших девушек, быстро пошла по воде, бурлившей на камнях переката. Вот она повыше подняла юбку и со смехом, облитая сверкающими брызгами воды, вскочила на противоположный берег и остановилась...

— Сюда, девчата! Швидче!

Яркое пятно её платья колыхается, как степной мак, на фоне весенних трав, растрёпанных ветром. Вот девушка обжимает подол, смеётся, и снова звенит её голос. Сколько в нём силы и лукавства, и сознания красоты, и собственного утверждения! Это Ольга! Как хорошо и томительно смотреть на неё, думать о ней!

Девчат уже не видно. Тёмный выступ обрыва скрыл их. Степан ещё долго смотрит вслед им, потом солнце припекает спину, и Куренной быстро скачет на коне к бригаде, занятой прополкой подсолнухов, а в ушах звенит и звенит: «Ой ты Коло...»

Бригада работала споро. Мало бурьяна родила сухая земля. Стоят тонкие и желтеющие подсолнухи. Мало влаги! Полольщицы слишком разреживают ряды, как принято разреживать при дождливых погодках, сейчас же это — смерть для растений. Куренной, не обращая внимания на заигрывание девчат, не замечая, что каждая из них, уже издали, завидев его на коне, подбила волосы и посмотрелась в зеркальце, раздражённо приказывает оставлять гуще подсолнухи. Сам берёт тяпку с широким и острым железом и быстро ведёт три рядка, заставляя девчат догонять его. Девчата не отстают, но уже не хохочут и не задирают председателя. Едкая пыль несётся из-под ног, и, кажется, дымятся пройденные мотыгами ряды растений. Мгновенно вянет срезанный бурьян, и следы ног обсыпаются по краям. Всё это не ускользает от угрюмого взора Куренного и не радуется ему. Засуха!

...Вечером в правление артели позвонил секретарь райкома Покатилов. Головатенко уже побывал в райкоме, и Покатилов просил отпустить его в МТС, «на прорыв». «Прорвёт ещё больше», — сказал Куренной. «Поглядим», — ответил Покатилов. Разговор был короткий. Район, как после боя, находился под неусыпным наблюдением Покатилова — маленького, вёрткого человека, их земляка, в войну ходившего в смелых партизанах, в боевом партизанском кусту секретаря крайкома партии Ивана Ивановича Поздняка. Покатилов сообщил, что «Рассвет» идёт в числе первых, и на прощание сказал: «Социалистическое бытие есть сочетание личного и общественного, артельный атаман. Не обесчудь...» Не оставив Куренному времени для раздумий и для ответа, Покатилов повесил трубку, а Степан ещё несколько секунд прижимал её к уху, слушая, как поёт провод.

В комнату вошла Ольга. Вошла и остановилась. Выжидая, пока Куренной поднимет глаза на неё, Ольга улыбалась уголками своих красивых полных губ, несколько по-детски оттопыренных, и широко расставленными на смуглом и чуть скуластом лице тёмными, опущенными венчиком длинных ресниц глазами.

— Ольга! — воскликнул Куренной, и багровая краска залила его коричневые щёки.

— Как видишь, — ответила она. — Может быть, выйдем? Тут от одного керосина без головы будешь.

Куренной прикрутил фитиль в лампе и вышел на двор. Ольга быстро шла вперёд.

— Куда ты, Ольга?

— Если бы на прополку, далеко бы не завела. Там ты мне хозяин, а здесь я...

Ольга засмеялась коротким булькающим смехом, схватила его руку своими маленькими тёплыми руками, жёсткими от мозолей и, быстро пожав, отпустила. И ещё быстрее пошла вперёд по улице, выводящей на выгон, по тропке, проложенной у стволов акаций-десятилеток.

Куренной догнал Ольгу и, стараясь

попасть в её шаг, пошёл рядом с ней, ощущая колыхание её бёдер и здоровый, солнечный запах её крепкого, девичьего тела. Ольга была в полушапочках, и мелкие и быстрые её шаги, казалось, слишком звонко стучали по дорожке.

— Медали зря носишь, — вдруг сказала она, ускоряя шаг.

— А тебе что?

— Ленточки повыцветали уже. И звенят уж очень...

— Звенят?—Куренной хотел обнять её, но Ольга вывернулась покатым своим плечом из его рук.

— Не то подумал...

— Ольга, ты гляди...

— Гляжу вперёд, а что?

— Как дела в твоём зерновом?

Ольга остановилась, быстро схватила его плечи, приблизила к себе его лицо, и задорные огоньки заискрились в её увлажнившихся от смеха глазах.

— Мамошка!—она рассмеялась.— Идёт с девушкой—и опять про зерно. Ты что, Степан! Да ещё, никто у нас из председателей так надрывно не работал!..

Они дошли до выгона. Хаты окраины белели позади смутными пятнами. Где-то играла гармоника. Тёплый воздух шёл, как из трубы, со станичной улицы. Куренной расстегнул ворот гимнастёрки и, взяв под руку Ольгу, пошёл с ней дальше от этого жаркого воздуха, подальше от станицы. Под ногами скрипели выбитая скотиной земля и подгрызанные овцами до корня травы.

На беловатой кулиге полыня, ещё мягкого и духовитого, Степан остановился. Прилёг на полынь, ощутив под ладонями мохнатые и пышные его метёлки. Ольга постояла, будто прислушиваясь к чему-то, а потом присела рядом, опершись на руку:

— Вот и молчим, Ольга.

— Молчим, Степан.

— Зачем-то позвала же меня? Может, от дела оторвала.

— Всего не переделаешь.

— Скучно, Ольга?

— А невесело.

— Почему?

— Далёк ты от меня, Степан...— она отвернулась.

Степан подвинулся к ней, привстал и повернул её к себе за плечи.

— Далёк? Нет, не далёк, Ольга,— шопотом, будто боясь, что кто-нибудь его услышит сказал он...— Каждый день издали тебя наблюдаю. Вот сегодня слышал, как вы распевали...

— Слышал? — Ольга откинулась, рассмеялась.

— Не следи за мной, Степан,— серьёзно сказала она.— Тебе кажется, ты неприметный, никто не видит. Все замечают. Напялишь медали, под солнцем горят, кинешься на конька и маячишь по всему степу. Вот ты с обрыва на меня подглядывал, а мне уже сегодня всё передал. Видела тебя Фроська.

— А чего же я её не видел?

— Не тем был занят, Степан.

— Что же мне остаётся? На бумажках своих засыхать? Когда же мы?.. А?..

— После уборки, Степан. Ну, распишемся сейчас, что получится? В такое время... не тактично...

Сказав это новое для неё слово, услышанное когда-то от самого Степана, Ольга умолкла, наблюдая за выражением лица Куренного.

— Какое же решение принимать? — спросил он, занятый своей думой о свадьбе.

— Я уже сказала. Уберёмся—и тогда за свадьбу. А то какая с меня невеста, Степан? Отгуляем вечерок, а потом полусапожки долой да через речку по камням, на загон... понятно?

— Понятно,—Степан вздохнул, погладил полынь.

— А потом дождя нет. Нет веселья, Степан.

Степан привлёк Ольгу к себе, и она не сопротивлялась. Потом он запрокинул её голову, ощутил под левой рукой поток её рассыпавшихся волос, увидел белую каёмку зубов и прикрытые её глаза. Секунду помедлив, любуясь близким и дорогим лицом, он поцеловал её, ощутив влажные отвечающие губы. И вдруг она порывисто притянула его к себе и осыпала его неловкими и быстрыми поцелуями. Потом она быстро встала, оторвала от себя его жадные руки и решительно сказала:

— Пойдём по домам, Стёпа.

— Ещё чуток посидим, Оля.

— Нет.

— Ну, присядь,—он пытался притянуть её, не вставая с земли.

Она вывернулась сильным и ловким движением своего упругого тела и пошла.

Степан встал и зашагал вслед за ней. Впереди колыхалось белое пятно её кофточки и слышалось поскрипывание её подошв. Степан догнал её, и они пошли рядом.

— Когда же, Оля?

— Выведешь колхоз в первую сотню, тогда.

— Ты что, смеёшься надо мной?

Ольга посмотрела ему прямо в глаза, и он близко увидел её скуластое, красивое какой-то южной степной красотой лицо и крепко сжатые губы.

Она быстро поцеловала его в щеку и мгновенно скрылась в темноте. Только топот полусапожек выдавал направление её бега.

...Упавшая с вечера роса не сразу испарилась от солнца. Старые казаки водили по траве ладонями и долго смотрели на запад. Оттуда уже ранним утром потянуло свежим воздухом, оттуда шла, постепенно поднимаясь, увеличиваясь большая, окутывавшая полгоризонта туча.

Куренной вместе со всеми радостно ожидал подхода этой тучи, весёлыми окриками поторапливал он лолольщиков, уходящих в поле, и полевых водовозов. Старики смотрели на запад и оглаживали бороды. «То, мабуть, ты притянул за собой дождевую хмару»,—шутили над Куренным. «Притянул, притянул»,—отвечал Куренной.

Он отдал приказ запрячь для себя пару маштаков в линейку и постелить полость, что уже было хорошим признаком. Раз полость,—значит, боится промокнуть.

Покатиллов позвонил из колхоза «Имени XVII партсъезда» и сказал всего два слова: «Видишь тучу?» Но в этих двух словах было больше, чем в большой речи. Подъехал на велосипеде Головатенко, поздоровался, и Куренной ответил ему приветливо.

— Собрался в МТС, товарищ

председатель,—сказал Головатенко.

— Давай тебе бог.

— Начинаю сразу же с механизма,—Головатенко похлопал ладошкой по раме велосипеда.

— Механизм квёлый.

— Дотянет мою грешную душу до нового места.

— Не дождался, пока рассвет начнётся?

— Не дождали меня.

— Опять таишь чего-то, Головатенко,—чувствуя особый смысл в этой произнесённой Андреем фразе, сказал Куренной.

— У сердца свои законы,—многозначительно сказал Головатенко, хмуро поглядев на Куренного, вскочил на велосипед и покатил по выглаженной шинами колее.

Туча подходила быстро. Свежий ветер закружил по дороге вихревые столбы, и столбы эти разбивались о высокоствольные акации, падали зернистой пылью, как дробь, на сухую землю. Порыв ветра приподнял и отслоил угол недавно намётанной и незакреплённой соломенной крыши на коровнике, и туда, радостно помахивая руками, побежал старик—дежурный по МТФ. Потемнело. Подошла линейка. Маштаки были с расчёсанными гривами и хвостами и чистой шерстью. На пахах поблескивали полумесяцы—признак сытости и хорошего ухода. На линейке была постелена серая, сваленная из отходов мериносовой шерсти, полость. Ездовой Гаврилов—беловый, остроглазый, принявший инвалидность при штурме Вены—шевелил ремнями вожжей и весело посматривал на председателя:

— Напоит вон та хмара землю. Прямо буханками начнёт рожать, с изюмом...

— Ну, давай, Гаврилов.

— Куда прикажете?

— На четвёртую бригаду.

— Поближе к Ольге?—Гаврилов игриво метнул своими серыми глазами.

— Давай на третью, обормот.

Маштаки тронули разом, и линейка мягко покатила на хорошо смазанных осях.

Все, кто оставался в станице, смотрели на отъезжавшего Куренно-

го. Приближалась туча. Ветер ослабел и дул ровно, без порывов. Вот неожиданно грянул гром, пророкотал, как залп гвардейских миномётов. Мальчишки стайками хлынули с улицы во дворы. За стёклами хаты, подведённой синими узорами, крестилась старушка, близко приникшая к окну.

Выехав из станицы, Куренной увидел закраины надвигающейся тучи. Это были тяжёлые облака, густо скрученные и зловещие, а не те лёгкие, дозорные облачка, которые обычно летят впереди спокойных дождевых хмар. Надвигавшаяся туча была тяжеловесна и страшна.

— Градобойна,—сказал Гаврилов, переводя маштаков в шаг.

Лицо выражало испуг. И это выражение, такое необычное для балагура Гаврилова, рассердило Куренного.

— Каркаешь, воронье племя. Давай рысью.

— Проверить её, что ли? Она и так настигнет.

Гаврилов подстегнул вожжами, и кони пошли маховитой рысью. Ветер разведал их расчёсанные гривы и относил в сторону хвосты. Первые капли дождя упали на пыльную землю. Не впитавшись, они покатались, как дробь.

— Видишь, дождь! — воскликнул Куренной.

— Пока дождь. Накинуть полость?

— Не надо!—весело крикнул Куренной.—Пусть насквозь, до кости пускай просекает. Дай-ка вожжи, Илья пророк!

Дорога была уже изъедена, как оспой, крупными каплями дождя. Линейка оставляла продавленный след, как обычно бывает на взбрызнутой пыли, и изредка на полость залетали комки сплюсненной шиной земли. Сжимая в руках пахучие от дёгтя ремни вожжей, Куренной был полон ощущения радости. Он снял шапку, и каждая капля, бьющая его по лицу, была радостна: пойдут теперь в рост и яровые пшеницы, и ячмени, и подсолнух, и кукуруза!

Снова ударил гром. И над обрывающей реки вонзилась молния. Туча закрыла почти всё небо, опустила

Под мрачным пологом её мчалась линейка, и на ней, крепко держа вожжи в руках, привстав на одно колено, Степан Куренной. Ему хотелось теперь не в третью бригаду, а туда, куда он часто направлял бег своего верхового конька. Там, за бродом, были поля ольгиного звена.

Тяжёлые и холодные крупинки града ударили его по лицу. Куренной испуганно поднял глаза. Низкая туча придавила всю степь, и вот на дорогу, где впитывались ещё тонкие струйки, со стремительной частотой и, как казалось Куренному, со стеклянным звоном посыпался град. Сразу похолодало. Стучало по крыльям линейки. Льдинки били со звоном по железу, плясали.

Куренной остановил лошадей. Тяжело поводя боками, сразу стали, дымясь, лошади. Гаврилов вытянул полость и набросил на лошадей. Град продолжался. Теперь он смешивался с ливнем. Ливень сносил град в ровчаки. Поля побелели и там, где стояли зелёные подсолнухи, почернело—обнажилась земля.

Куренной подошёл к подсолнуху, который лежал у потока и, казалось, ещё шевелил своими листочками. Сломанный подсолнух держался на волосках, скрытых внутри стебля.

Куренной, зажав подсолнух в кулак, пошёл по полю, и его сапоги оставляли глубокие вмятины, в которые быстро набиралась вода, смешанная с ледяной кашицей. Гаврилов догнал председателя, надвинул ему на голову шапку, забытую на линейке, и ладонью смахнул кровь с его рассечённой щеки:

— Пошли к линейке. Нема, значит, ни бубликов, ни буханок, ни пампушек.

Куренной остановился, невидящими глазами посмотрел на Гаврилова и горько улыбнулся:

— Значит, не вышло.

По щекам его текла дождевая вода. Но она не была сейчас нужна для умерших полей.

— Пошли до линейки, председатель,—сказал Гаврилов.

— Поезжай в станицу,—приказал Куренной, продолжая идти по жидкой грязи и не обращая внимания на дождь, стегавший по его лицу.

— А зачем я без вас поеду в станицу?—идя за ним, спросил Гаврилов.

— Позвонить надо Покатилову, секретарю райкома.

— А к чему ему звонить? Чего он поможет?

— Пускай нас загодя из списка передовиков вычёркивает синим карандашом,— глухо проговорил Куренной.

— Разве что,— в тон ему ответил Гаврилов и потянул за рукав.— Поехали, председатель. Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Было сухо—бога гневил, стало мокро—тоже худо. Может, не по всему юрту град прошёл, скинутся по буханке для нашего «Рассвета». Не одиночники же...

— Поезжай до дому! — строгим голосом сказал Куренной. — Тошно мне от твоих баек.

Гаврилов быстрым шагом добрался до дороги, разгневанно выпростал вожжи, затоптанные лошадьми, и поехал в станицу, оставив на чёрной земле большака глубокую колею крутого разворота.

У крыльца правления колхоза был привязан племенной эмтеэсовский жеребец, подседланный новеньким драгунским седлом с окованными медью широкими луками. Посмотрев на жеребца глазами знатока, Гаврилов равнодушно выслушал какие-то упрёки, высказанные ему Головатенко, и прошёл в комнату, где за столом сидел секретарь райкома в дождевике-винцерате и сапогах, по ушки вымазанных в густую чернозёмную грязь. Лицо его было весело.

— Да, да... записывают! — радостно кричал он в телефонную трубку. — Пршёл стороной... Проверьте ещё раз. Весь градобой сегодня к вечеру в район. Собираем бюро. По «Октябрьской революции», как? Тоже пронесло? Важно, важно... записываю. А как с «Красным партизаном»?

Покатилов быстрыми взмахами карандаша заносил в свою записную книжечку какие-то цифры, и Гаврилов, поняв, что до него дело дойдёт нескоро, присел на лавку и озябшими крючковатыми пальцами начал деловито скручивать козью ножку.

В правление постепенно начали набиваться колхозники. Приходили женщины и девчата. Кто-то рассказывал что «у нас пронесло», другие хмуро слушали, не вникая в чужую радость.

Через столпившихся людей, внимательно прислушивавшихся к разговору Покатилова, протиснулась Фроська Гридасова, повязанная новым шёлковым платком с петушиным узором. Она сказала что-то Головатенко—и тот вышел. Гаврилов посмотрел искоса в окно и увидел: Головатенко подтянул подпруги у жеребца, посовал ему кулаком в бока, вскочил в седло, и жеребец маховито взял с места, разбрызгивая грязь. Зафырчал «виллис», остановился. Приехал начальник районного земельного отдела, уравновешенный толстый человек, никогда не теряющий присутствия духа. Вытащив своё грузное тело из забрызганного грязью брезентового фартука автомашины, он направился в правление. Поздоровавшись с секретарём райкома, тихо сказал ему, но так, что его слова уловило чуткое ухо Гаврилова:

— Договорился в МТС. Завтра, если протряхнет почва, выйдут двенадцать тракторов. Перепахем большой градобой «Рассвета» под просо.

— Не упустили время?—спросил Покатилов.

— Самый раз,—ответил начальник райзо.

— Платить придётся колхозу?

— Казалось бы, да, но только за горячее, и то достанем. Я достану.

— Это хорошо,—сказал Покатилов.— Как же остальные расходы?

— Знаешь такого Головатенко?

— Ещё бы.

— Сумел уговорить пролетариат, чтобы помогли «Рассвету» за счёт внеурочной. Так сказать, из-за патристических чувств.

— Отлично, — сказал секретарь райкома и громко спросил: — Народ, рассветовцы, а где же ваш председатель?

— Поскакал его пошукать Головатенко,—облизнув губы, сказала Фроська.

— Опять Головатенко?—удивился Покатилов.—А я приготовился уже

быть между двумя этими приятелями вроде мирового судьи.

— Зря приготовились, товарищ секретарь,—сказала Фроська.

— А ты-то откуда знаешь, Гридасова, ты же с «Будённого», а?

— А когда беда, границы меж колхозами нету,—бойко ответила Фроська и спряталась в толпу.

Вскоре в правление вошёл Куренной, а за ним, помахивая кручёной в шесть витков плёткой, Головатенко.

Покатилов оглядел подошедшего к столу Степана, его раскисшие и грязные сапоги, штаны, залепленные жёлтым цветом сурепки, расстёгнутую на все пуговицы гимнастёрку, набрякшие колодки медалей и хотел улыбнуться. Но потом всмотрелся в его посечённое градом, измученное лицо, увидел на лице его такую тоску и страдание, что встал из-за стола, полуобнял Куренного и тихо сказал:

— Народ, кто лишний, попроси пока из комнаты.

Первым поднялся Гаврилов, подморгнув остальным, и комната очистилась. За окном снова застучал дождь, и струйки поползли по стёклам. На полу остались следы ног и подсолнечная шелуха, и в комнате сохранились запахи прокисшей одежды.

— Чего закручинился, артельный атаман?

— Понятно чего, товарищ Покатилов,—горько ответил Куренной.— Как старался, какими думками богател. И что вышло!

— Выйдет.

— Откуда?

— Головатенко объяснил ему?

Головатенко утвердительно кивнул головой.

— Так вот, Куренной, не всё просто, как ты думаешь,—продолжал Покатилов, расхаживая по комнате куцыми шажками,—как и оперативный замысел в военном деле. Придуманно всё иногда хорошо, всё рассчитано, всё расписано, а пойдёшь узнай, что у противника в последний момент перекантывалось? Не падал же духом на фронте в подобном случае?

— Так то фронт, армия, товарищ Покатилов.

— А разница какая, скажи?—Покатилов остановился перед Куренным и впился в него глазами.—Скажи на милость, а?

— Там один за всех, и все за одного. А потом позади какая сила стоит, от моря до моря, от Запада до Востока.

— А здесь.

— Что колхоз? Если сам не сорибишь... Кто поможет? Опять начнёшь какой-нибудь делопроизводитель, извините меня, графики вычерчивать, проценты подсчитывать—и опуститься тьма над «Рассветом»...

— Не прав, Куренной. Плохо тебя в пластунах учили. За три года от солидарности отвык. МТС поможет, просо посеешь.

— По всему колхозу просо? Что: у меня цыплята, что ли, одни?

— Да не весь же клин град выбил, Куренной. Эх ты, Куренной, Куренной! Не всё ещё ты понял в колхозном нашем строе, а я думал боевой орёл прилетел с Дуная...

Куренной встал и, еле сдерживая волнение, пожал руку Покатилову, потом начальнику райзо, а потом обратил взгляд на Головатенко, подошёл к нему и обнял. Небритая холодная щека Головатенко попала на его губам, и он поцеловал его в эту щеку и отвернулся к окну.

Покатилов и начальник райзо попрощались и вышли на крыльцо. Шёл дождь, глухо стучали падавшие с высоты капли о брезентовый верх «виллиса», и, кося злым глазом, крутился на привязи жеребец Головатенко.

— Я на твоей керосинке,—сказал Покатилов и полез на заднее сиденье «виллиса».

— Куда? — спросил начальник райзо.

— Да нам по одному пути. Заботы-то одинаковые.

Головатенко посмотрел вслед машине и сказал Куренному:

— Нечего время зря терять. Ты дай покой своей голове, а я проскочу на МТС, подниму народ и механизмы. Будет полный порядок, Степан.

— До свиданья, Андрей,—Куренной крепко пожал его руку и задержал это рукопожатие.—Не обессудь.

— Да что я барышня, что ли, Степан?!

Головатенко сошёл с крыльца, помахивая плёткой.

— На своём месте другой человек стал,—сказал вдогонку дежурный старик,—и стать другая и коршун в глазах...

Куренной внимательно оглядел старика, наморщил лоб, будто что-то соображая, и сказал ему:

— Бригадиров ко мне.

— А звеньевых?

— Звеньевых? Со звеньевыми бригады побалакают.

А вечером, когда Куренной прошёл в свою хату и добрая его мать, которую он, казалось, не видел век

за колхозными своими заботами, открыла ему двери, он увидел Ольгу за столом, накрытым холстинной скатертью.

Не было озорства в её широко расставленных глазах, просто, как будто она всегда была в этой хате, сказала ему:

— Чоботы снять придётся. Просушим. Ай-ай-ай, что же стало с твоими медалями! Говорила же тебе, не таскай их в будни!

Мать была рада приходу Ольги, они уже успели о многом переговорить друг с другом и потому не задавали Степану лишних вопросов, не напоминали ни о чём, а только думали о том, чтобы ему было хорошо и весь вечер старались угодить ему...

**Екатерина ШЕВЕЛЕВА**

## Домик в Батуми

...Друзья встречались, спорили, клялись

Бороться за свободу до конца...

Посеребрённый снегом кипарис

Стоит у невысокого крыльца.

И говорит аджарец-старожил:

— Великий Сталин здесь когда-то жил!

Он скромно жил — совсем как мы с тобой:

Суровая солдатская постель,

Чернила, книги, чайник голубой,

Чурек румяный, — верно, для гостей!

И крепко сбитый тёмный табурет,

Которому теперь за сорок лет.

Но были в белом домике тогда

И сохранились тут до наших дней

Полёт мечты, могущество труда,

Прекрасный отблеск «искровских» огней,

Простор земли, ветра, морской прибой —

Всё то, что полюбили мы с тобой.

Декабрь в Батуми. Хрупкий снег и лёд,

И штормы на море особенно сильны.

Но в старом домике, мне чудится, живёт

Весна и молодость моей страны.

Заснеженный зелёный кипарис

мне говорит:

— Твори! Мечтай! Борись!

Антанас БАРАНАУСКАС

## Аникшчяйский бор

(Из поэмы)

А сосенки мои, те сосенки несметны!  
Стройны и высоки, их кроны яркоцветны,

И летом и зимой весенни их вершины,  
Ствол задевает ствол, качаясь, как тростины.

На полверсты вперёд не видно в чаще мгlistой,  
Ни бурелома нет, ни хвороста—всё чисто!

И ветви не сплелись, не заплетают дали,  
А сосны ровные, как будто сучья сняли.

А запах, что сказать, то тёплых сосен соки,  
То ветер чуть дохнёт цветочным сном глубоким.

То клевер луговой ты чуешь белый, красный,  
Ромашку и чебрец с несмятых трав атласных.

То бугорок пахнёт, где город муравьиный,  
То хвои, желудей и листьев запах дивный.

Всё разный аромат, как ветерок повеет,  
Он каждый раз иной—то крепче, то нежнее.

То мох с брусникою приплыли, вот уж рядом,  
То дерево цветёт, в бору запахло садом.

То дышит бор, как зверь, с дождём омытой шкурой,  
Шлёт запахи полям со щедростью нехмурой.

В ответ с полей, с лугов, в сосновых роц полянах  
Тот запах нив и трав ты чувствуешь, как пьяный,

И ароматы все перемешались в чудо,  
Вдыхаешь сладость их, не зная, что откуда.

Поля и лес и луг здесь сговорились дружно,  
Чтоб сделать эту смесь из лучших смол жемчужных.

Льют небу аромат в напевах леса гибких,  
Как будто здесь поёт, смеется, плачет скрипка.

Все встали голоса в единый круг, в плотную,  
Их врозь не отличишь, а сердце все волнуяют.

Ай, чудно лес гудит, не только пахнет, звонок,  
Он в шумах, в шелестах, он весел, лёгок, тонок.

И полночь так тиха, что слышно в лунной сетке,  
Как лист или цветок рождаются на ветке.

И в шопоте ветвей язык священный леса,  
Вот падает роса, вот звёзд дрожит завеса.

И в сердце тоже тишь, в локоя оно уходит,  
В прозрачной тишине душа под звёзды всходит.

Когда ж сквозь тонкий мрак лучи зари проникнут,  
И полные росы трав головы поникнут,

Бор пробуждается, сменяя тишь движеньем,  
Священной речью дня, начавшей пробужденье.

Что это шелестит? Листка коснулся ветер,  
Встряхнулась птичка в миг, как первая на свете.

Что хрустнуло? То волк, охотясь и кочуя,  
Всю ночь теперь летит, зари погоню чуя.

Да, то лиса в норе с гусёнком мёртвым жмётся.  
Да, то барсук бежит из логова к болотцу.

То резвой серны бьют по сосняку копытца,  
С сосны и на сосну махает белка птицей.

Да, это леса знать: и соболь и куница,  
И всякие зверьки, каким в лесу кружиться.

Кто это там стучит? То дятел с клювом тонким,  
Кто блеет там? Бекас, что с голосом козлёнка.

Чей это злобный шип? На пне гадюка блещет,  
Зелёною волной Швентоя в берег плещет.

Чей гогот у реки? То гуси так гогочут,  
То аист, знать, кричит, в своём гнезде хлопочет.

Да это утки: при! при! при! — пристали у трясины,  
Да, это сам угод кричит жене и сыну:

— Чего, чего, чего нести вам? Вздор несёте!  
Чего, чего, чего: мух, червяков вы ждёте?

Да, то кукушка, знать, продрав глаза, трясётся,  
Кукуя, плачет вдруг, кукуя, вдруг смеется.

И дразнит иволга тут Еву, как подругу:  
— Ты Ева, Ева, Ева — не паси по лугу!

А ри-у! ри-у! ри-у! Где-то возле речки,  
Болотным куликом то утра час отмечен.

Тут снова голоса те были лишь предтечи,  
Птиц многих голоса и разные их речи.

Тут сойки и чижи, сороки и синицы,  
Тут пеночки, дрозды — свой тон у каждой птицы.

И смех и стон стоит и просто чушь шальная,  
Но голос соловья взошёл, как песнь дневная.

Он нежен и глубок, он тихий и звенящий,  
Он по кустам звучит, и день звучит иначе.

Все эти голоса — Литвы родные «дайны»,  
В единый слившись хор, хранят лесные тайны.

*Перевод Николая Тихонова*

**Примечание:** Поэма «Аникшчяйский бор» — одно из крупнейших произведений литовской поэзии, оказавшее огромное влияние на всю лирику Литвы. Возникновение поэмы связано с «Паном Тадеушем» Адама Мицкевича. Антанас Баранаскас, родившийся в одной из самых живописных местностей Литвы в крестьянской семье, после всяческих злоключений попал в духовную семинарию. На уроке литературы его глубоко задело замечание одного из ксендзов-профессоров, разбивавшего «Пана Тадеуша». Ксендз заявил, что только польский язык годится для поэзии, а литовский пригоден для одних лишь мужиков.

Побуждаемый оскорблённым национальным чувством, Баранаскас решил написать по-литовски поэму, посвящённую природе родного края. В результате в 1853—1859 годах возник «Аникшчяйский бор».

## **Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС**

### **Время**

Куранты бьют на древней Спасской башне,  
Их гулкий бой я в памяти храню.  
Во мглу веков уходит день вчерашний,  
Давая место завтрашнему дню.

Проходит ночь, садится иней белый,  
Поют над спящим Неманом ветра...  
Ты думаешь: ты всё ли за день сделал,  
Что нужно и намечено с утра?

Ты знаешь, что в Кремлёвском кабинете,  
Отец и друг, вперёд ведущий нас,  
На завтра план отчётливый наметил,  
И дорог нам в работе каждый час.

В блокноте Сталина растут пометки,  
Из трубки вьётся синеватый дым,  
И план послевоенной пятилетки,  
Как карта битв за счастье, перед ним.

И каждый день своим трудом полезным,  
Как воплощенье сталинских идей,  
Ложится камнем, балкою железной  
Большой стройки счастья для людей.

И солнце ты приветствуешь, как друга,  
Готова встречу ласковой весне,  
Ты лишний пласт поднимаешь острым плугом,  
Ещё кирпич уложишь на стене.

Куранты бьют на древней Спасской башне,  
Их гулкий бой я в памяти храню.

Во мглу веков уходит день вчерашний,  
Давая место завтрашнему дню.

Пусть время промелькнёт залётной птицей,  
Стряхнув крылом с веков седую пыль.  
Мы не устанем строить и трудиться,  
Мы воплотим мечту в живую быль.

*Перевод Георгия Титова*

**Антанас ВЕНЦЛОВА**

## **Родина и поэт**

Я был с тобой в цветении весеннем,  
В листе каштанов, в море конопли,  
С травинкой каждой, с каждым дуновеньем  
Я был частицею твоей земли.

Я был с тобою в огненном потоке,  
Когда катился грохот по полям,  
И зарево вставало на Востоке,  
И небо разрывалось пополам.

Я плыл к тебе багровою рекою,  
И чёрный дым подобен был плащу,  
Пришла пора, и вот своей рукою  
Твои побеги бережно ращу.

И как созвездье в небесах бессонных,  
Ты снова светишься, моя Литва.  
Бушуешь паводком в лугах зелёных,  
Живительною силою полна.

Народ бессмертен, значит, смерти нету,  
Исчезну я — ты будешь жить века,  
Родник неиссякаемого света,  
И жизни полноводная река.

*Перевод Сусанны Мар*

**Алексис ХУРГИНАС**

## **Горные колокольчики**

Полны гвоздик и маргариток травы;  
В торжественном покое слышу я,  
Как снежным ветром веет с Ала-Тау  
Высокогорной тишины струя;

Как белый колокольчик солнцу снизу  
Протягивает маленький бутон,  
А голубой — на берегу Дубисы —  
К тому же солнцу тянется, как он.

Живёшь ты у подножия Тяньшаня,  
А я в краю балтийской синевы,  
Но нам двоим одна звезда Москвы

Видна повсюду, как маяк в тумане,  
Тебе — в необозримом Казахстане,  
И мне — песчинке маленькой Литвы.

*Перевод Павла Шубина*

### **Теофилис ТИЛЬВИТИС**

\* \* \*

\*

Как чёрный холмик у норы кротовьей  
Как брошенное ласточкой гнездо,  
Погост у заколоченной часовни —  
Вот древний образ края моего.

Здесь фронт вчера прошёл.  
И здесь над рвом глубоким  
Лежат обломки бревён и камней.  
Безмолвно, зорким и пытливым оком  
Глядит на них толпа оборванных детей.

Взялись за топоры,  
Вот балки под стропила  
Подводят руки юношей — гляди!  
Хоть жилы их трещат,  
Хоть в мышцах мало силы,  
Но в их глазах огонь,  
И радость в их груди.

Пусть хлеб у нас ржаной,  
Картофель не очищен,  
И то добро. Мы возведём  
Сожжённое врагом отцовское жилище,  
Мы восстановим наш очаг и отчий дом.

О, милые мои! Теперь иным всё будет.  
Все эти земли, что охватит глаз,  
Возвращены простым советским людям,  
И счастье нам земля родная даст.

*Перевод Владимира Державина*

### **Валерия ВАЛЬСЮНЕНЕ**

На ветру зазвенели берёзы,  
Листопад по дорогам кружит,  
И роса, словно светлые слёзы,  
На рассыпанных листьях дрожит.

Облака гонит ветер сурово,  
Проступает небес синева.  
О, Литва, ты советская снова,  
Мы с тобою свободны, Литва!

Новой жизни шаги различаю,  
И сквозь шёлковый шелест листвы  
Стуком сердца на них отвечаю,  
Вижу я возрожденье Литвы.

*Перевод Сусанны Мар.*

## Политика Уоллстрита

(Статья вторая)\*

### I. Французская «загадка»

#### 1. Петэн и французский народ

В истории американской дипломатии периода второй мировой войны есть одна глава, которая должна к себе привлечь особое пристальное внимание. Мы имеем в виду франко-американские отношения.

Для всех было очевидно, что вишійский режим есть не просто плод капитуляции, а вполне закономерное явление, завершившее собой длительный этап развития внутриполитического положения во Франции. Капитуляция сама по себе была эпизодом в изменнической, профашистской деятельности французских реакционных кругов, возглавлявшихся объединением тяжёлой индустрии «Комитэ де Форж». Знаменитые «двести семейств», регенты Французского банка, магнаты крупной индустрии и финансов, тысячами нитей связанные и с американскими, по что в данном случае важнее, и с германскими финансовыми и промышленными магнатами, — они давно уже состояли в одном заговоре против французского народа. Франция могла сражаться в 1940 году. Она обладала крупными силами, которые даже не были введены в дело. Измена погубила Францию. Измена была повсюду: в правительственном аппарате, в верховном командовании. Правящие круги ее хотели защищать страну. Они предпочли бросить её к ногам Гитлера, чем допустить всеобщую мобилизацию народа. Могильщики республики давно уже ждали своего часа, и когда он наступил, всё было сделано, чтобы не упустить представившейся возможности. Фашизм во Франции мог оказаться у власти только в результате невиданной измены, приведшей к военному поражению. Больше того: фашизм во Франции мог оказаться у власти только при помощи гитлеровских штыков.

То, что именно Петэн, Лаваль, Дарлан и все их прислужники, трубадуры, наёмники, барды и кокеты, в нужный момент оказались под рукой, не было ни случайностью, ни «удачей» для Гитлера: все они давно уже числились в соответствующих

картотеках разнообразных фашистских разведок — «бюро Риббентропа», «бюро Гесса» — и, разумеется, чёрных кабинетов Гимmlера. Петэн и вся его котерпия не только помогли гитлеровским захватчикам без особого труда овладеть Францией и утвердиться на побережье Ла-Манша; они не только предоставили все ресурсы Франции к услугам душителей народов Европы и могильщиков цивилизации — они вместе с тем уже по собственному желанию, в собственных интересах и собственными силами беспощадно расправлялись с каждым французом, желавшим бороться за честь и родину и знавшим, что такая борьба вполне возможна.

Вишійский режим в наиболее полном виде воплощал и политику, и, с позволения сказать, мораль, и надежды, и упования всех фракций французской реакции. Это был фашистский режим, стремившийся превратить Францию в сателлиту гитлеровской Германии. Его возглавляли квислинги, отличавшиеся от других прислужников Гитлера своим опытом, стажем и некоторыми возможностями, которых не было у других наемников германского империализма. Возможности состояли в том, что даже и после поражения и капитуляции петэновское «государство» всё ещё располагало внешнеполитическими связями и способностью к маневрированию в интересах своего повелителя по ту сторону Рейна. В этом смысле вишійский режим представлял для Гитлера ещё большую ценность, чем режим Франко.

Но Петэн и французский народ — не одно и то же. Тяжесть поражения, дезорганизующие последствия капитуляции, политическое и моральное разложение почти всех партий, подвизавшихся на политической арене «третьей республики», тяжело придавили сознание народных масс. Но полоса растерянности проходила тем быстрее, чем яснее становилось, что поражение Франции не изменило хода той великой борьбы, которую народы ввели против фашизма, войны, охватившей весь мир. Французские патриоты не

\* Первую статью см. в № 4.

покорились; они боролись и против немецких оккупантов и против Виши. Сознание, что правое дело свободы восторжествует, в огромной степени укрепило после того, как в священную борьбу за восстановление прав народов, погранных фашистским разбойничьим блоком, вступила такая могучая, передовая, прогрессивная сила, как Советский Союз. Французы знали, что их судьба также решается на Востоке. Но они не хотели просто ждать. Свободолюбивые сыны и дочери Франции 1789 года, 1848 года, 1871 года, французские патриоты, принадлежавшие к самым разнообразным общественным слоям, но прежде всего рабочий класс и его боевой авангард — коммунистическая партия — не хотели ждать: их вели на борьбу любовь к родине, ненависть к иноземному угнетателю и презрение к вишийской шайке, раболепно пресмыкавшейся перед прусским сапогом. Движение сопротивления во Франции стало крупнейшим фактором её внутреннего бытия, её гордостью и славой. Только это движение могло вдохнуть в действительно вдохнуло силу в те французские зарубежные организации, которые возникли на союзной территории.

Здесь мы и подходим к той «загадке», которая на протяжении ряда лет олицетворяла политику реакции в Соединённых Штатах в отношении Франции, вернее в отношении тех сил, которые вели между собой непримиримую борьбу во Франции, — сил реакции и сил демократии. Американская реакция явно ориентировалась на французскую реакцию.

Апологеты этой политики, правда, прибегали, да и сейчас ещё прибегают к аргументу, который кажется им очень убедительным. Они заявляют, что во время войны для поражения врага целесообразно было использовать все средства, в том числе даже Петэна. Поддерживая его режим, Соединённые Штаты якобы извлекали определённую пользу, препятствуя, например, переходу французского флота и французских колоний в руки врага. Но этот аргумент не выдерживает критики фактами.

Вишийская клика, как известно, без борьбы отдала Индокитай японским агрессорам, и это обстоятельство сыграло исключительно большую роль в развязывании войны на Тихом океане. Соглашение, заключённое между Виши и Токио, позволило японским войскам без боя провалиться далеко на юг и овладеть важнейшим плацдармом на подступах к Малайе, Сингапуру, Голландской Индии, Филиппинам. Без Индокитая Япония не могла бы в столь короткий срок (5—6 месяцев) захватить все владения Великобритании, США и Голландии в юго-западной части Тихого океана. Больше того: получив из рук Виши Индо-

китай, японские агрессоры могли приступить к подготовке нападения на Пирл-Харбор, т. е. бросить вызов Соединённым Штатам.

Напомним также и о том, что Виши предоставило германским и итальянским агрессорам широчайшие возможности для операций на Ближнем Востоке, безропотно согласившись превратить Сирию и Ливан — мандатные территории Франции — в фашистскую базу на берегах Леванта. Переворот, совершённый в 1941 году германским ставленником в Ираке Рашид-Али Гайлани, стал возможен только потому, что Сирия ещё раньше была превращена в итало-германский плацдарм. Когда же союзные войска в составе британских частей и воинских соединений Свободной Франции пытались изгнать из Сирии германских и итальянских агрессоров, Виши приказало генералу Денцу, командовавшему вишийскими войсками в Сирии (это тот же Денц, который сдал Париж немцам), оказать вооружённое сопротивление. Бои в Сирии унесли немало жизней и англичан и французоз к вящему удовлетворению Берлина и Рима.

Уже позже стало известно, что по требованию Японии Виши согласилось превратить принадлежащий Франции остров Мадагаскар в Индийском океане в базу для японских подводных лодок. Этот план не был осуществлён, ибо ещё раньше Мадагаскар был занят десантным отрядом, состоявшим из английских солдат и бойцов Сражающейся Франции.

В каждом отдельном случае Виши открыто выступало как союзник Гитлера и Муссолини. И нет никакого сомнения в том, что если бы Гитлер пожелал оккупировать Северную Африку (лучше сказать, если бы он мог), со стороны Виши не последовало бы никаких препятствий. Всё это факты, точные и недвусмысленные. Они опровергают аргументы апологетов американской политики «военных целесообразностей». Военная целесообразность как раз должна была бы побудить Соединённые Штаты сделать главную ставку не на Петэна, а на Движение сопротивления, на силы французской демократии, которые могли немедленно предоставить в распоряжение союзных держав вполне реальную мощь. Укажем здесь, что в момент вторжения союзников в Северную Африку Движение сопротивления во Франции уже насчитывало миллионы бойцов, а на территории французских колоний, находившихся под контролем Сражающейся Франции (Французская Экваториальная Африка, Габон, Французское Сомали, Сирия и Ливан, Мадагаскар, Новая Каледония и острова на Тихом и Атлантическом океанах), была создана армия Сражающейся Франции, насчитыва-

вавшая около 100 тысяч человек. Эта армия сражалась плечом к плечу с английскими войсками против Роммеля.

## 2. Скрытые пружины

Три фактора, по крайней мере, определили политику американской реакции в отношении Франции:

Во-первых, тесные связи, существовавшие ещё задолго до войны между Уолл-стритом и французским монополистическим капиталом. Банки и крупная промышленность Франции были, естественно, целиком на стороне Петэна и его клики. С ними были вполне солидарны американские монополисты, которые не только одобряли борьбу вишійского режима против патриотов, но и поддерживали его всем, чем могли, в трудных условиях войны. Дипломатическое признание «правительства» Петэна было одним из выражений этой поддержки.

Во-вторых, определённые расчёты на то, что именно правительство Петэна и тот реакционный режим, который пришёл бы ему на смену после окончания войны, если бы в этом была необходимость, пойдут навстречу пожеланиям американского империализма в отношении баз и сфер влияния на территории французских владений в Африке. Речь могла бы здесь конкретно идти прежде всего о Дакаре и о сырьевых ресурсах, в эксплуатации которых крайне заинтересованы династии Морганов, Рокфеллеров, Меллонов, Дюпонов. К этому следует ещё добавить, что американские монополии давно уже с вождением взирали на соседние территории — Бельгийское Конго с его богатейшими медными рудниками и, что ещё важнее, где уже во время войны были открыты крупнейшие залежи урановой руды... Уступчивость Франции, конечно, повлияла бы и на Бельгию и тем самым подготовила бы почву для нового пердела «Чёрного континента» в интересах американского финансового капитала. Американские монополисты не имели никаких надежд на то, что французские патриоты когда-либо согласятся на такую сделку; распродажа Франции могла быть программой Петэна, но не тех, кто боролся во имя поражения внешнего врага и его приспешников в стране.

В-третьих, американским миллиардерам было очевидно, что после войны и неминуемого разгрома держав оси — этот разгром совершался невзирая на саботаж мюнхенцев — Франция, возродившись как великая держава, будет играть заметную роль в Западной Европе. Если бы победа над Германией привела одновременно к укреплению во Франции реакционного режима, то это автоматически способствовало бы различным антидемократическим проектам «ор-

ганизации континента», например создания «западного блока», и в то же время исключило бы Францию как силу, способную противодействовать установлению господства американского капитала, по крайней мере, в западной части континента.

Всем этим можно объяснить, почему безоговорочная поддержка режима Петэна стала ведущим началом в дипломатии Уолл-стрита.

Было бы наивностью полагать, что Петэн и его клика оставались в стороне от этой игры. Поддерживая контакт с государственным департаментом через американское посольство в Виши и своих собственных многочисленных представителей в Вашингтоне, клика Петэна старалась защищать интересы французской реакции и в то же время отвращать Соединённые Штаты от движения «Свободных французов». Нужно отметить, что Петэну не пришлось потратить слишком много усилий для достижения своей цели. Вишійские представители в Вашингтоне и сам Петэн в Виши доказывали американским дипломатам, что какое бы то ни было признание «Свободных французов» неминуемо повлечёт за собой выдачу французского флота немцам и установление их контроля над Северной Африкой. На самом деле вишійский режим фактически не мог выдать французский флот немцам, ибо этому воспротивились бы экипажи кораблей, которые, как показали события в декабре 1942 года в Тулоне, предпочли отправить свои корабли на дно, чем передать их в руки врага. Что касается Северной Африки, то гитлеровцам вовсе не было смысла тратить силы на оккупацию территорий, где они могли распоряжаться как хозяева с полного согласия и при всесторонней помощи вишійских колониальных администраторов.

Флот и североафриканские территории — таковы две карты, которые Петэн непрестанно выкладывал на стол в своей игре. Но это была игра политических шулеров. Да и карты были крапленые. Тем не менее Петэн не постеснялся заявлять дипломатам, аккредитованным при его самозванном «правительстве», что если Соединённые Штаты признают движение «Свободных французов» и прекратят дипломатические отношения с Виши, то это «бросит нас в объятия держав осп». Как будто французская реакция, предавшая Францию, не валялась у ног Гитлера! Как будто Виши не находилось на стороне фашистских государств! Совершенно очевидно, что в Вашингтоне лживым аргументам Петэна придавали больше значения, чем неопровержимым, недвусмысленным и убедительнейшим фактам: «Свободные французы» сражались на стороне союзников, против фашистских держав. Движение сопротивления боролось против вишійских

изменников. Виши боролась за дело Гитлера. В этих условиях поддержка вишійского режима, которым распоряжались немцы, объективно была в интересах фашистских агрессоров. Американские дипломаты, полагавшие, что, поддерживая Петэна, они предотвращают переход французских колоний в руки Гитлера, на самом деле препятствовали переходу их под контроль «Свободных французов», что случилось бы неминуемо, если бы последние были признаны Соединёнными Штатами.

Американские дипломатические круги обычно заявляли, что они руководствовались «практическими соображениями», поддерживая «прямой контакт» с французскими колониями, поскольку, мол, колонии фактически находятся под контролем вишійских властей. Такой контакт был установлен между Соединёнными Штатами, с одной стороны, и генерал-губернатором Французского Марокко генералом Ногесом, генерал-губернатором Алжира генералом Вейганом, генерал-губернатором Французской Западной Африки генералом Буассоном и губернатором Мартиники адмиралом Робером — с другой. Но этот «непосредственный» контакт был наруку Виши, поспешившему распространить (разумеется, условно) власть своих верных эмиссаров и на те территории французской колониальной империи, которые управлялись «Свободными французами». Так, например, Буассон считался генерал-губернатором также и Французской Экваториальной Африки, откуда вишійцы были изгнаны после своей изменнической капитуляции перед Гитлером. Адмирал Жан Деку, генерал-губернатор Индокитая, отдавший эту страну японцам, был объявлен главноуправляющим французскими владениями на Тихом океане, хотя все они без исключения находились под контролем «Свободных французов». В соответствии с американо-вишійским соглашением Соединённые Штаты, например, должны были испрашивать разрешение на использование Новой Каледонии не у «Свободных французов», которые владели островом, а у адмирала Деку, который не имел там никакой власти! То же самое происходило в Атлантике. Адмирал Робер был объявлен Виши генерал-губернатором всех французских владений в Западном полушарии — Антильских островов, Французской Гвианы, островов Сен-Пьер и Микелон (расположенных в 15 милях от Ньюфаундленда). Так называемые «непосредственные» отношения с французскими колониями были лишь дымовой завесой, под прикрытием которой осуществлялась политика поддержки реакционнейшего фашистского режима, утвердившегося во Франции при помощи немецких штыков на развалинах Французской республики.

В чем заключались эти «непосредственные» отношения между США и властями (вишійскими!) французских колониальных владений? Прежде всего в том, что Соединённые Штаты снабжали эти территории всем необходимым, в особенности продовольствием и горючим. По просьбе американского правительства английские военные власти согласились не препятствовать прохождению американских и французских транспортов через линию блокады на пути к берегам Африки.

Вишійцы, следуя указаниям из Берлина, особенно настаивали на снабжении Северной Африки нефтью, продовольствием и текстильными товарами. Чтобы дать возможность вишійским органам оплачивать поставки, министерство финансов США «разморозило» французские фонды, депонированные в американских банках. Скоро стало известно, что вишійцы используют эти поставки не для снабжения североафриканских территорий. Значительная часть продовольствия, текстильных товаров и почти вся нефть, доставлявшиеся в Северную Африку, переправлялись во Францию, а оттуда — в Германию!

Обращают на себя внимание и следующие факты: добываясь американских поставок, вишійские агенты Гитлера доказывали американским дипломатам, что снабжение африканских колоний Франции не в интересах Германии (но в таком случае, почему гитлеровцы не воспротивились этому?). Американские дипломаты всерьёз приняли этот аргумент, не выникая или не желая выникать в его истинный смысл. Ведь выходило, что американские поставки в Африку могут производиться только с согласия гитлеровской Германии! Так оно и было. В особенности это относится к тому периоду, когда Соединённые Штаты уже вступили в войну. Транспорты с американским снабжением, следовавшие по назначению в африканские порты, пропускались через британскую блокадную линию беспрепятственно. Но возник вопрос: не будут ли они торпедированы германскими подводными лодками? Вишійское посольство в Вашингтоне направило срочный запрос Виши: «Как быть?» Виши запросило постоянную гермапо-вишійскую комиссию по перемирью в Висбадене. Висбаден направил просьбу Виши в Берлин. Из Берлина пришёл ответ, что американским кораблям, везущим снабжение для Северной Африки, гарантируется безопасность. Берлин действовал здесь в своих собственных интересах!

Всё это происходило в тот момент, когда адмирал Дарлан разрабатывал планы военного сотрудничества с немцами и заверил их, что они могут использовать Тунис с целью переброски и войск и боеприпасов по кратчайшему направлению для пополнения резервов и тыловых баз снабжения армии

Роммеля в Триполитанию. В это же время в вишнейской Франции началось формирование вооружённых шайк для отправки на советско-германский фронт. Обеспечение непрерывного потока американского снабжения стало одной из первостепенных забот вишнейской камарильи и её берлинских повелителей. Чем больше грузов, имевших военное значение, прибывало в африканские порты, где распоряжались немецкие контрольные комиссии, тем большую ценность вишнейские агенты приобретали в глазах гитлеровцев и тем более устойчивым казался и самый вишнейский режим.

Но наступил момент, когда преступные интриги французских гитлеровцев и их вольных или невольных адвокатов по ту сторону океана были разоблачены. Британская разведка представила американским властям неопровержимые доказательства, что нефть, отправляемая в Северную Африку для удовлетворения «насухнейших местных нужд», как уверяли петэновцы, на самом деле передаётся итало-германским войскам, сражавшимся против... союзных британских войск! Американские поставки в Северную Африку были временно приостановлены. От Виши потребовали объяснений. Вишнейские дипломаты, по краснея (находясь на службе у Гитлера, они давно отучились краснеть), заявили американским властям следующее: фактически, дескать, нефть, полученная для Северной Африки, не была передана Роммелю, потому что то количество горючего, которое ему всё-таки было передано, в точности соответствует такому же количеству нефти, принадлежащей немцам и находящейся во Франции; стремясь избежать излишних транспортных расходов, вишнейские власти договорились с немецкими оккупантами обменять соответствующее количество нефти в порядке обычной «коммерческой трансакции».

Восстыдство петэновской клики превзошло здесь все мыслимые пределы. В самом деле, американская нефть доставлялась не для Франции, оккупированной врагом, а для французских колоний в Северной Африке в качестве платы за «дружественное расположение» местных колониальных властей к союзным державам (чего на самом деле не было); если полученная под этим предлогом нефть всё-таки передавалась врагу, то, следовательно, в самой Африке в ней не ощущалась необходимость. Но ещё более важно следующее: если согласно «объяснениям» вишнейских властей они «просто» обменивали одну нефть на другую — американскую на немецкую, — дабы избежать лишних расходов по транспортировке американского горючего из Африки во Францию, то ведь тем самым и немцы избегали необходимости перебрасывать горючее для Роммеля через Средиземное море, где вра-

жеские транспорты всегда рисковали быть потопленными британскими военно-морскими силами, блокировавшими итало-немецкие коммуникации. Вишнейская «коммерческая трансакция» с врагом Объединённых наций фактически представляла собой враждебный акт, поскольку она способствовала прорыву союзной блокады и сводила на-нет усилия британского средиземноморского флота, направленные к тому, чтобы отрезать армию Роммеля от её главных баз снабжения на европейском континенте.

Видимо государственный департамент США был вполне удовлетворён вишнейскими объяснениями. Американские поставки возобновились. Снова британская разведка обратила внимание соответствующих американских инстанций на то, что нефть, доставляемая в Северную Африку, без задержки поступает в распоряжение Роммеля. Снова вишнейские преступники были застигнуты на месте преступления. Американский посол в Виши адмирал Леги снова требовал объяснений, и снова Виши бесстыдно отрицало свою вину, а американские поставки тем временем продолжались, нефть текла в африканские порты и оттуда — на немецкие тыловые базы снабжения. И эта карусель вертелась непрерывно на протяжении долгих, долгих месяцев.

Дело, однако, не только в том, что американские поставки в одних случаях целиком, в других частично использовались врагом Объединённых наций: эти поставки облегчали ограбление североафриканских колоний Франции итало-германским фашизмом. С полного согласия и при участии вишнейских властей вся экономика Франции, в том числе и её североафриканских колоний, была поставлена на службу фашистских агрессоров. Французские заводы производили оружие, боеприпасы, транспортные средства, обмундирование для германской армии. Американские реакционеры были хорошо об этом осведомлены и, быть может, не очень терзались по этому поводу, ибо, как мы хорошо знаем, в их расчёты входило ослабление Советского Союза руками фашистских агрессоров. Но ресурсы африканских владений Франции, находившихся под контролем Виши, эксплуатировались Германией и Италией не только для пополнения их пёскавших материальных резервов в Европе, но и для борьбы против Великобритании в Африке. Председатель Постоянного экономического совета в Алжире Шарль Брюнэ сообщил в марте 1943 года: обнищание североафриканских колоний вызвано тем, что в течение двух лет они ограблялись немцами. Например, когда Роммелю потребовался автотранспорт для переброски его войск из Триполитании в Киренаику, к египетской границе, вишнейские власти в Алжире предоставили в рас-

поряжение немецкого командования грузовые автомобили из наличного автопарка, так как ни Гитлер, ни Муссолини не были в состоянии обеспечить свои войска автотранспортом. Всего было отправлено Роммелю около 12 тысяч грузовиков — больше двух третей всего грузового автопарка Алжира. Роммелю же передали артиллерийские орудия, которыми были вооружены укрепления на побережье Алжира. Эти орудия крупных калибров применялись итапо-германскими войсками при осаде Тобрука.

Вишнйский режим, связавший свою судьбу с преступным делом агрессоров, оказывал им и другие неоценимые услуги.

Консульские органы Виши и связанные с ним же представительства частных французских фирм за границей выполняли, помимо своих прямых функций, задания немецкой разведки. Исполнявший обязанности управляющего французским консульством в Салониках Раймонд Офруа признался в том, что по требованию из Виши он собирал сведения о передвижениях британских войск в Северной Греции. Дело происходило зимой и весной 1941 года, накануне разбойничьего нападения гитлеровцев на Югославию и Грецию. Сведения, собиравшиеся Раймондом Офруа, имели огромную ценность для германской разведки. Для неё они и добывались по заданию Виши. Это тоже не единственный пример.

После капитуляции Петэна — Лаваля — Дарлана перед Гитлером в Соединённые Штаты хлынул грязный поток французских фашистов, которым беспрепятственно предоставлялись американские визы. Среди этих немецких агентов числились: крупный промышленник Пьер Массэн, известный реакционер и профашист; Шарль Делонкль, племянник Эжена Делонкля, главаря фашистских заговорщиков «кагуляров», которые на немецкие и итальянские деньги, немецким и итальянским оружием готовили свержение республиканского режима во Франции в 1937 году (вместе с другим французским гитлеровцем, Марселем Деа, Эжен Делонкль организовал по заданию немцев фашистскую «национальную» партию); Герман Греггар, один из создателей фашистской организации «франсистерв», сотрудничавшей с гестапо во время оккупации (другим организатором

этой банды был Марсель Бюкар); Жан Мюса; Жан Сансери, представитель Французского банка, посланный в Соединённые Штаты с заданием добиться снятия ареста с французских фондов; Эдуард Фейфер, связи которого с гитлеровцами были разоблачены ещё в 1936 году. Вишнйское посольство в Вашингтоне было превращено в прогерманское шпионское гнездо. Сотрудники посольства, назначенные в допетэновские времена, получили расчёт, и вместо них были назначены агенты Виши, например Панафье, Жорж Пико (последний был переведён из Бангкома — столицы Сиама, — где он довёл до «благополучного» конца сделку, отдавшую Индокитай японскому империализму), Поль Сегэн, близкий к самому вишнйскому послу в Вашингтоне.

В Соединённых Штатах осело немало французских политических деятелей мюнхенского толка. Одного из них, всепрезренного Камилла Шотана, американские инстанции пытались навязать движению «Свободных французов» в качестве главы! Разумеется, последовал отказ, и это послужило одной из причин подчёркнуто холодного, недружественного отношения к полуофициальным представителям Движения в США.

Вишнйские агенты группировались не только вокруг официального французского посольства в Вашингтоне: центрами для них служили и представительства различных французских коммерческих организаций. Наибольшую роль здесь играло представительство французской паровой компании «Женераль Трансатлантик», занимавшееся шпионажем в пользу держав оси.

Подобных фактов мы могли бы привести бесконечное количество. Но хватит уже приведённых. Они более чем достаточны для характеристики содержания политики Уоллстрита в отношении Франции, причём мы имеем в виду политику, более или менее прикрытую теорией «военных целесообразностей». Этот период закончился вместе с вторжением союзных войск в Северную Африку. Тогда же завершилась первая фаза французской «загадки», чтобы уступить место второй фазе, ещё более скандальной по своему характеру и опасной по своим возможным последствиям.

## II. Американская реакция и второй фронт

### 1. Политика и стратегия

Франклин Рузвельту приходилось и до и после вступления США в войну вести непрерывную борьбу против саботажа реакционных сил Уоллстрита. В Соединённых Штатах активно действовала «пятая

колонна», располагавшая многочисленными представителями в законодательных учреждениях и мощными средствами пропаганды. Ей оказывала широкую поддержку католическая церковь — база влияния и интриг Ватикана. Немецкие шпионские и диверсионные организации в Соединённых

Штатах издавна находились в контакте с реакционными силами страны; совместно они подрывали военные усилия американского народа. Достаточно упомянуть пресловутый «Германо-американский союз» — филиал гитлеровской партии. Накануне войны отделения союза были созданы во всех крупных городах. Всего в США насчитывалось 71 отделение. Союз издавал четыре ежедневных газеты, множество журналов, брошюр, листовок. Гитлеровская разведка не жалела средств для финансирования «пятой колонны», состоявшей из американских реакционеров и своих собственных — немецких агентов. В частности, как было потом установлено официальным расследованием, ежегодные расходы «Германо-американского союза» только на «общественную деятельность», т. е. на фашистскую пропаганду, достигали одного миллиона долларов. В союзе числилось 200 тысяч членов. В основном это были разведчики и диверсанты. На эти цели — шпионаж и диверсии — союз расходовал в год свыше пяти миллионов долларов.

«Германо-американский союз» был центром, куда сходились нити, связывавшие гитлеровских агентов с американскими профашистскими организациями. Накануне войны в Соединённых Штатах насчитывалось более 750 подобных организаций.

Наиболее влиятельные группировки американских мюнхенцев выступали под разными различными наименованиями. В марте 1939 года возникла организация под названием «Американское землячество». Она считалась американской, хотя была создана немцем — гитлеровцем Фридрихом Аухагеном, бывшим профессором немецкой литературы в Колумбийском университете. «Землячество» существовало на немецкие деньги, получавшиеся через представителя химического треста «И. Г. Фарбениндустри» в США Фердинанда Кергесса. Одним из активных деятелей этой организации был известный фашистский шпион Георг Сильвестр Фирек, снабжавший американских мюнхенцев «информационным» материалом. Фирек был связан с такими американскими реакционерами, как Лауренс Денисе, доверенный Уоллестрита, сенатор Эрнест Ландин, чьи речи, как потом оказалось, составлялись Фиреком, член палаты представителей Гамильтон Фиш, бывший заместитель государственного секретаря во времена Гувера Уильям Касл, Филипп Джонсон, сотрудник профашистской газеты «Сошиал Джастис», издававшейся фашиствующим ценом Кафлином.

Почти одновременно возникли другие подобные организации. Упомянутый выше Гамильтон Фиш создал так называемый «Национальный комитет борьбы за удержание Америки от участия во внешних войнах».

Гамильтон Фиш совершил паломничество в гитлеровскую Германию, где встретился с Риббентропом и Чиапо, министром иностранных дел Муссолини, и другими главарями германского и итальянского фашизма. Вернувшись в США, Гамильтон Фиш начал кампанию за поддержку гитлеровской Германии. Через его организацию германская разведка фактически направляла профашистскую деятельность определённой части американских изоляционистов.

В 1940 году был организован в Чикаго «Гражданский комитет борьбы за удержание Америки от участия в войне». Организатором комитета была известный изоляционист и делег Эйвери Брундейдж, давно состоявший в контакте с гитлеровцами. С этим комитетом был связан небезызвестный Линдберг.

В это же время по инициативе Фирека в Вашингтоне возник «Комитет военных займов». Секретарём и казначеем комитета был Прескотт Дешпет, арестованный в 1944 году по обвинению в шпионаже в пользу гитлеровской Германии. Председателем комитета стал сенатор Лапдин, ночёгным председателем — сенатор Роберт Рейнольдс, занимавший пост председателя военной комиссии сената. Вице-председателем был член палаты представителей от штата Огайо Мартин Суиней. Активными участниками этой профашистской организации были сенаторы Уорт Кларк, Раш Холт, Е. Джонсон, Джеральд Най, Бартон Уиллер; члены палаты представителей Филипп Беннетт, Стефен Дай, Генри Дуоршак, Клер Гофман, Бартель Джонкмен, Гарольд Нудсен, Джеймс Оливер, Дьюи Шорт, Уильям Стратон, Джекоб Торкельсон, Джордж Тинкхем, Джон Ворис.

В том же, 1940 году в Вашингтоне была создана ещё одна организация мюнхенцев — «Антивоенный комитет». Во главе его стоял некий Вирн Маршалл, активным его участником был Уильям Девис, нефтяной магнат, вложивший крупные капиталы в германскую промышленность, и «близкий друг» Германа Геринга.

Все эти организации вели широкую пропаганду — печатную и устную: по радио и при помощи митингов и собраний — против участия США в борьбе с фашистскими державами, и более того — за сотрудничество с ними. Как правило, реакционеры, создавшие и финансировавшие эти организации, с нескрываемой враждебностью относились к Советскому Союзу.

Наиболее влиятельной организацией был «Комитет — Америка прежде всего», созданный в сентябре 1940 года изоляционистом генералом Робертом Вудом. Этот мюнхенец прямо заявлял, что Европа должна принадлежать Гитлеру и что Соединённые Штаты только выиграют, помогая фашистским аггессорам. В списке руководителей этой ор-

организации находим имена Генри Форда, Линдберга, Гамильтона Фиша, Гофмана, Уиллера, Ная. Деятельность комитета поддерживалась фашистскими организациями «Серебряных рубашек», «Ку-Клукс-Кланом», «Национальной рабочей лигой» и т. д. Гитлеровский шпион Фирек снабжал организацию пропагандистским материалом. С нею же поддерживали тесные отношения японские агенты в США.

«Обрать Рузвельта!» — таков был один из главных лозунгов реакционных, профашистских клик.

Всеми средствами они препятствовали осуществлению программы президента, имевшую целью подготовить Соединённые Штаты к обороне против фашистской агрессии. Нелишне напомнить теперь, что когда в августе 1941 года в конгрессе обсуждался законопроект, разрешавший правительству довести численность армии до одного миллиона пятисот тысяч человек, профашистски настроенные сенаторы и члены палаты представителей решили дать бой правительству и не допустить принятия законопроекта. После длительных прений законопроект был утверждён большинством... в один голос! Среди тех, кто голосовал против законопроекта, был и сенатор Ванденберг, один из лидеров республиканцев, который в последнее время приобрёл известность своими антисоветскими выступлениями. Ванденберг — виднейший идеолог американских экспансионистов. Шесть лет назад он яростно боролся в их рядах против какого бы то ни было участия Соединённых Штатов в борьбе с фашистской агрессией. Он возглавлял оппозицию против закона о ленд-лизе — о предоставлении Соединёнными Штатами оружия и других видов помощи странам, подвергшимся фашистскому нашествию. Бывший руководитель управления по ленд-лизу Эдуард Стеттинкус рассказывает в своей книге «Ленд-лиз — оружие победы», что противники президента «желали германской победы». В конце концов им не удалось добиться своего, но они вредили военным усилиям США и уже в годы войны не упустили ни одной возможности извращать рузвельтовскую линию и проводить свою собственную. Когда Соединённые Штаты Америки вступили в войну, профашистские клики начали кампанию за мир. Вся их деятельность и до и во время войны состояла в том, чтобы препятствовать американскому народу в выполнении его долга. В настоящее время они озабочены тем, чтобы спасти остатки европейской реакции.

«Пятая колонна» в Америке, служила интересам Уоллстрита, являлась оружием в его руках. Картельные соглашения, связывавшие ведущие группировки американского и германского монополистического капи-

тала, не переставали действовать и во время войны. В течение одной недели в мае 1942 года министерство юстиции США установило, что не менее 162 подобных картельных соглашений сохраняют силу до 1948, 1956 и даже 1968 года! Американские монополисты не считали нужным расторгнуть эти соглашения и после вступления США в войну. «Стандарт ойл оф Нью-Джерси» — главная нефтяная компания Рокфеллера — официально отказалась порвать картельные соглашения с немецким химическим трестом «И. Г. Фарбениндустри». Так же поступили и некоторые другие американские монополии. Американские и германские монополисты широко использовали картельные соглашения в интересах фашизма.

Выступая с речью на заседании ассоциации адвокатов штата Иллинойс 3 июня 1942 года, заместитель генерального прокурора США Арнольд говорил:

«Узкая группа американских дельцов, являющихся участниками этих международных соглашений, всё ещё полагает, что война — лишь временный перерыв в деловых отношениях с сильной Германией. Они ожидают, что когда война кончится, начнётся старая игра. Знаменательно, что все эти картельные лидеры говорят и думают о том, что война закончится «выпью» и что поэтому они должны быть в состоянии продолжать свои дела с сильной Германией после войны. Тайное влияние международных картелей направлено на то, чтобы при первой же возможности достигнуть мира без победы, так же, как это было использовано в направлении Мюнхена».

Уоллстрит вёл свою линию, свою политику в течение всей войны, борясь с линией президента на разрушение фашистских агрегаторов. И вполне естественно, что когда реально встала задача организации второго фронта, все силы и всё влияние американской реакции были приведены в движение, чтобы предотвратить такой для Гитлера грозный оборот событий. Уоллстрит не желал допустить победы свободолюбивых народов над фашизмом, в особенности победы Советского Союза, и разгрома фашистских государств. История саботажа второго фронта и связанная с ней история африканской экспедиции должны привлечь к себе самое пристальное внимание не только историков, исследователей, но и всех тех, кто после войны ведёт борьбу за прочный демократический мир.

Американская реакция оказала фашистским державам, и особенно гитлеровским агрегаторам, неоценимые услуги. Вплоть до конца 1941 года Соединённые Штаты оставались вне войны; соотношение сил на полях битв было в пользу агрессивных держав. Крутой перелом мог бы уже и тогда

наступить в случае создания в Европе второго фронта. Авантюристское гитлеровское командование полагало, что его «молниеносная» стратегия увенчается успехом и предрешит исход войны — победу Германии, — раньше чем в борьбу вступят Соединённые Штаты. Разгром немецких войск под Москвой похоронил эти расчёты и надежды фашистских горе-стратегов. «Молниеносная война» на Востоке провалилась. В то же время становилось очевидным, что американский народ решил принять участие в борьбе против фашистских претендентов на мировое господство. Перед гитлеровской камарильей всё яснее вырисовывалась грозная перспектива войны на два фронта. С этого времени надежды и упования правящей германской верхушки сводились к тому, что Япония — союзница Германии — опередит Соединённые Штаты: первой нанесёт удар и отвлечёт силы и внимание американского народа от Европы. 7 декабря 1941 года японские агрессоры вероломно напали на Пёрл-Харбор. Началась война на Тихом океане. Фашистская агентура в Соединённых Штатах теперь всеми силами добивалась, чтобы тихоокеанский театр военных действий был признан главным, а европейский — второстепенным. Цель попрежнему состояла в том, чтобы не допустить образования второго фронта в Европе.

Второй фронт стал центральной военной и политической проблемой войны. Борьба за или против второго фронта отражала в то же время происходившее в США глубокое размежевание общественно-политических сил.

Демократические элементы боролись за скорейший разгром основной агрессивной державы — гитлеровской Германии — и поэтому настаивали на открытии второго фронта путём вторжения во Францию через Ла-Манш. Если бы второй фронт был открыт в 1942 году, война закончилась бы катастрофой для Гитлера на один—два года раньше. Все временные успехи германских войск на решающем фронте войны — советско-германском — были обусловлены прежде всего отсутствием второго фронта в Европе. Ещё в конце 1941 года товарищ Сталин констатировал: «Немцы, считая свой тыл на Западе обеспеченным, имеют возможность двинуть все свои войска и войска своих союзников в Европе против нашей страны. Обстановка теперь такова, что наша страна ведёт освободительную войну одна, без чьей-либо военной помощи, против соединённых сил немцев, финнов, румын, итальянцев, венгерцев... Нет сомнения, что отсутствие второго фронта в Европе против немцев значительно облегчает положение немецкой армии». Отсутствие второго фронта позволило гитлеровскому командованию привести в порядок свои

войска после поражения, постигшего их под Москвой, и начать летом 1942 года наступление на юго-западном участке фронта. «Главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году, — указывал товарищ Сталин, — состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные резервы и создать большой перевес своих сил на юго-западном направлении». Будь в то время второй фронт в Европе, гитлеровская армия уже летом 1942 года стояла бы перед катастрофой. «Немцев спасло отсутствие второго фронта в Европе» (С т а л и н). Катастрофа наступила позднее. Она началась под стенами Сталинграда. Вооружённые силы Советского Союза сами разбили гитлеровскую военную машину и предрешили победу свободолюбивых народов над фашизмом. Но это потребовало более длительного времени и небывалого напряжения всех сил советского государства и народа.

После Сталинграда положение германского фашизма стало исключительно критическим. Если бы в этот момент союзники нанесли мощный удар через Ла-Манш, на берегу которого в то время не было даже и тех жалких укреплений, так называемого «Атлантического вала», какие были обнаружены летом 1944 года при высадке англо-американских войск, гитлеровская империя перестала бы существовать. Вот почему как раз на протяжении 1942 года усилила немецко-фашистской агентуры были сконцентрированы над тем, чтобы сорвать организацию второго фронта.

Фашистские агрессоры были, естественно, против второго фронта, поскольку они боролись за выигрыш времени, за оттяжку своего собственного поражения.

Уоллстрит боролся против второго фронта с целью затянуть войну, истощить Советский Союз и все другие страны, кроме США.

Британские реакционеры саботировали второй фронт, исходя из своих собственных интересов: предотвратить победу Советского Союза, не допустить вступления советских войск в Центральную и Юго-Восточную Европу и в то же время, осуществив свой вариант «вторжения» — через Средиземное море, Италию и Балканы, — расширить сферу влияния и господства британского империализма в Европе.

Гитлеровская агентура своими силами могла лишь в известной степени препятствовать образованию второго фронта. Решающее значение имел саботаж самих американских и британских реакционеров. Что касается последних, то их роль более или менее выяснена. Тот, кто читал книгу Ральфа Ингерсолла «Совершенно секретно», имеет об этом более или менее ясное

представление. Но столь же важно выяснить роль американской реакции, тем более что она может с полным правом оспаривать первое место у своих британских коллег.

## 2. Запад или юг?

Несмотря на саботаж Уоллстрита Рузвельт боролся за скорейшее открытие второго фронта и разгром агрессоров. Во время переговоров с Черчиллем в Вашингтоне в декабре 1941 года президент сумел добиться решения о том, что разгром Германии является первоочередной задачей по отношению к разгрому Японии. Было решено подготовить и осуществить вторжение через Ла-Манш осенью 1942 года. В соответствии с этим решением шло развёртывание американских вооружённых сил. В начале 1942 года в Северную Ирландию начали прибывать крупные соединения американской армии. Как свидетельствует Ральф Ингерсолл, летом того же года «Англия была битком набита войсками как британскими, так и американскими»<sup>1</sup>. Американское командование энергично готовило десантные средства. Момент для вторжения был в высшей степени благоприятный: большая часть всех сил Германии и её союзников была сосредоточена на советско-германском фронте, для решающего наступления, приведшего их к Сталинграду и разгрому. Побережье Европы и в особенности Франции было оголено.

В мае, во время посещения товарищем В. М. Молотовым Лондона и Вашингтона, между Советским Союзом и Великобританией, Советским Союзом и Соединёнными Штатами была достигнута полная договорённость «в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году». Военные и политические предпосылки вторжения англо-американских войск в Европу были созданы. Вторжение, однако, не состоялось. Обязательство, принятое на себя союзниками, осталось невыполненным.

Мы должны здесь вернуться немного назад и ознакомиться с тем, что в это время происходило в американских правящих кругах, в частности в военных кругах.

Кеннет Дэвис, биограф генерала Эйзенхауэра, приводит в своей книге «Солдат демократии» небезынтересные факты, приоткрывающие завесу, которой до сих пор ещё скрыта борьба, происходившая в Вашингтоне вокруг второго фронта. Дэвис указывает, что после совещания с Черчиллем в декабре 1941 года Рузвельт поручил генеральному штабу разработать план вторжения в

Европу через Ла-Манш. Заместителем начальника оперативного управления штаба американской армии в то время был генерал Эйзенхауэр. При составлении плана он должен был исходить из идеи концентрации всех союзных сил против Германии. Ближайшие сорудники Эйзенхауэра Макнири и Спаатс были согласны с тем, что вторжение во Францию вполне возможно при условии завоевания союзниками господства в воздухе. 16 февраля 1942 года Эйзенхауэр был назначен заместителем начальника штаба американской армии по оперативному управлению. «С этого времени, — пишет Кеннет Дэвис, — планирование операции по форсированию Ла-Манша стало официально частью обязанностей Эйзенхауэра. Он работал над этой задачей вместе с Маршаллом. По мере того как проходили недели, разработка плана вторжения стала центральной задачей Эйзенхауэра. Когда первый вариант плана — 30 страниц, отпечатанных на машинке, с приложенными картами и статистическими таблицами — был готов, Эйзенхауэр представил его Маршаллу». Уже первый вариант предусматривал высадку и создание передового укрепления на побережье Нормандии, причём в числе первых объектов были Шербур и Кан. Рузвельт утвердил проект Эйзенхауэра. В разговоре с президентом Маршалл заметил, что успешное осуществление плана невозможно без полного и всестороннего сотрудничества англичан. Президент согласился с этим. Он тут же решил направить в Лондон своего личного представителя Гарри Голкинса в сопровождении Маршалла. 8 апреля американская делегация прибыла в Лондон и немедленно вступила в контакт с Черчиллем и высшими офицерами армии и флота Великобритании. Здесь, как пишет Кеннет Дэвис, «Маршалл обнаружил, что дело идёт со скрипом». Англичане «в принципе» соглашались с планом вторжения через Ла-Манш, но резко разграничивали принципиальное согласие и практическое участие в этой операции. По словам Дэвиса, английские представители и прежде всего Черчилль определённо возражали против прямого фронтального удара с Запада; они склонялись к так называемой «стратегии чёрного хода», то есть к вторжению через Балканы, со всеми вытекающими отсюда последствиями в отношении потери времени и затяжки войны.

«Принципиальное» согласие англичан — единственное, что Маршалл привёз с собой из Лондона. Однако разработка плана вторжения через Ла-Манш протолжалась. Любые операции в Средиземноморском бассейне могли считаться лишь вспомогательными по отношению к удару с запада. Были размещены заказы на огромное количество десантных судов и истребителей дальнего

<sup>1</sup> Согласно официальному отчёту генерала Эйзенхауэра, общая численность американских войск, находившихся в Великобритании в конце 1942 года достигала 242 тысяч человек.

действия. 26 мая, за три дня до прибытия товарища В. М. Молотова в Вашингтон, было объявлено, что в Лондоне происходит совещание начальников штабов армий, военно-морских флотов и воздушных сил США и Великобритании с целью подготовить «объединённое наступление против Германии». Тем временем американские войска продолжали прибывать в Великобританию во всё возрастающем количестве. Менее чем через месяц Эйзенхауэр был назначен главнокомандующим американскими войсками на европейском театре военных действий. А ещё через две недели Эйзенхауэру было уже абсолютно ясно, что его английские коллеги всеми силами открепчиваются от вторжения через Ла-Манш. Даже в его собственном штабе, свидетельствует Дэвис, не было единого мнения о том, когда, где и как должна быть предпринята такая операция. Некоторые вообще ставили её под сомнение. И сам Эйзенхауэр не оказался гранитной скалой; очень скоро его убедили в том, что по тем или другим причинам, лучше сказать предлогам, вторжение невозможно раньше августа 1943 года, самое раннее.

Постепенно вопрос о вторжении в Европу отодвигался на второй план. Первое место занял новый проект — вторжение в Северную Африку.

«Североафриканская тема» фигурировала в различных англо-американских совещаниях ещё в самом начале 1942 года. Затем она стала звучать всё сильнее и сильнее. Не только английские правящие круги высказывались за подобный «эрац» вторжения. В этом же направлении, то есть к отвлечению англо-американских войск от западных подступов к Европе далеко на юг, в Африку, что само по себе предвещало снятие вопроса о втором фронте на годы, действовали не менее могущественные американские влияния. Всем было очевидно, что вторжение в Северную Африку представляет собой операцию только в тактическом отношении наступательную, а в стратегическом отношении оборонительную; эта операция ни в каком смысле не могла привести к созданию второго фронта и к отвлечению сколько-нибудь значительных германских сил с советско-германского фронта. По образному выражению Ингертолла, десант в Африке был с военной точки зрения «проблематической победой над проблематическим противником». Тем не менее открытие второго фронта в 1942 году, как только что перед СССР обязались США и Великобритания, было отложено. В первых числах июля в Лондон прибыли генерал Маршалл, адмирал Кинг, Гарри Гопкинс в сопровождении высших офицеров армии и флота США. Двумя днями раньше туда же прибыл Стеттинуус. Начались длительные совещания о

вторжении в Северную Африку. Военная сторона дела обсуждалась на конференции, состоявшейся в Ларге, небольшом городке в Шотландии. При участии семидесяти офицеров, представлявших США, Великобританию и британские доминионы. 24 июля было принято решение о вторжении в Северную Африку. Эйзенхауэр был назначен главнокомандующим союзными войсками.

Что же произошло? Неужели можно всерьёз принимать в расчёт аргументы о том, что вторжение в Европу пришлось отложить из-за недостатка истребительной авиации и огневых средств для преодоления «могущественных крепостей» на побережье Ла-Манша (на самом деле они существовали только в воображении некоторых английских и американских генералов-политиков)? Разумеется, это были смешные аргументы. Вопрос стоял так: удар всеми силами по оголённому гитлеровскому тылу и обеспечение быстрой победы над общим врагом — или отвлечение всех сил на отдалённый африканский театр войны и отказ от какого бы то ни было серьёзного воздействия на ход борьбы между Советским Союзом и гитлеровской Германией, поддержанной всеми её сателлитами? И если было решено в пользу вторжения в Северную Африку, то это нельзя объяснить только отказом Черчилля принимать участие во вторжении через Ла-Манш. Нельзя объяснить такое решение и недостатком упорства у американских представителей.

На самом деле решение в пользу вторжения в Северную Африку было принято в результате тщательно подготовленной глубокой интриги не только британских, но и американских реакционеров, боровшихся против Рузвельта. И крупнейшую роль в организации этой интриги сыграли весьма ответственные и влиятельные круги Уоллстрита, имевшие своих доверенных людей в дипломатическом аппарате Соединённых Штатов. Эти люди, как мы уже видели выше, поддерживали постоянный контакт и с гитлеровскими заправителями, и с немецкими монополистами, и с испанским фашизмом, и с вишийским режимом, и вообще со всеми реакционными силами Европы. Президент Рузвельт в одной из бесед со своим сыном Эллиотом сказал ему: «Ты знаешь, сколько раз люди из государственного департамента пытались скрыть от меня сообщения, как-то придержать их только потому, что некоторые из этих профессиональных дипломатов не согласны с тем, что они считают моим мнением».

Политика американской реакции, политика Уоллстрита повлияла в известной мере также и на стратегию США.

### 3. Ошибки, оплаченные кровью

Эллиот Рузвельт пишет в своей книге «Его глазами», посвящённой покойному президенту:

«Политический узел, завязавшийся в результате нашего вторжения в Северную Африку, мягко выражаясь, никому не доставлял удовольствия... Теперь несомненно (отец сознавал это и в то время), что кто-то допустил в этом деле ошибку и притом серьёзную. В тот первый вечер (речь идёт о первом вечере пребывания Рузвельта в Касабланке, куда он прибыл для совещания с Черчиллем в начале 1943 года.—И. Е.) подход отца к этому вопросу, казалось, определялся двумя соображениями. Во-первых, он стремился найти лучший и самый быстрый выход из этого невозможно запутанного положения. Во-вторых, отец понимал, что государственный департамент уже связал себя определённой политикой, и, учитывая предстоящие дипломатические переговоры, нужно было сделать всё возможное, чтобы спасти его престиж. Когда совершается ошибка,—это плохо; но отнюдь не лучше делать вид, будто никакой ошибки не произошло. Этой общеизвестной истиной определялся подход отца к данному вопросу. Однако когда ошибку совершают ваши подчинённые, которым в ближайшие годы придётся изю дня в день вести сложные переговоры с вашими союзниками, являющимися в то же время вашими конкурентами, вы не поможете никому, кроме этих конкурентов, если оставите своих подчинённых в затруднительном положении. Этой, тоже общеизвестной истиной определялся второй и противоречащий первому подход отца к вопросу».

Эллиот Рузвельт, присутствовавший на конференции в Касабланке и о многом слышавший там, в частности из уст своего отца, передаёт здесь, видимо, не только своё личное мнение, но и мнение покойного президента. В таком случае его оценка положения приобретает исключительно важное значение. Подчёркнём здесь, во-первых, что, как он признаёт, политический узел, завязавшийся в Северной Африке, был чрезвычайно запутанным и сложным; во-вторых, что при решении вопроса о вторжении в Северную Африку была допущена «серьёзная ошибка»; в-третьих, что из создавшегося запутанного положения нужно было срочно найти выход и, наконец, в-четвёртых, то, что Рузвельту приходилось, по престижным соображениям, взять под защиту виновников этой «серьёзной ошибки», ещё больше запутывало положение и затрудняло выход из него.

Кто же совершил эту «ошибку»? Кеннет Дэвис прямо указывает на дипломатический аппарат США. «Те американские ведомства, которые заняты внутренними делами,—пишет он,—вынуждены поневоле действо-

вать открыто; их деятельность и политика постоянно подвергаются критике... Дипломатический аппарат государственного департамента действует под прикрытием секретности и уже давно перестал выражать мнение большинства страны, которое, как предполагается, дипломаты представляют в области международных отношений. Дипломаты считают, что их махинации слишком сложны для разума простого человека». Известно, что самую видную роль в дипломатическом аппарате США играют весьма реакционные, чаще всего происходящие из аристократических семейств, представители американского чиновного мира.

Особое место среди них занял Роберт Мэрфи.

Роберт Даниэль Мэрфи — профессиональный дипломат. В государственном департаменте он впервые появился почти тридцать лет назад. По происхождению он ирландец, католик, по своим политическим взглядам.. Впрочем, это будет видно из дальнейшего. Дипломатическая карьера Мэрфи началась более чем прозаически: он получил незначительный пост в американской миссии в Берне, в Швейцарии. Летом 1942 года имя этого дипломата было мало кому известно. Война застала его на посту американского генерального консула в Париже. После капитуляции Петона перед Гитлером, Мэрфи вместе со всем американским посольством перебрался в Виши, где выполнял свои консульские обязанности. Затем он был назначен секретарём посольства, а ещё через некоторое время — поверенным в делах США в Алжире. В этой должности, как и до того в Париже и в Виши, Мэрфи проявил себя как человек, умеющий завязывать широкие связи с местными политическими кругами, но это всегда были правые, реакционные круги. В Алжире он находился в тесном контакте с Вейганом, в то время генерал-губернатором этой обширной французской провинции в Северной Африке. Доклады Мэрфи государственному департаменту способствовали успеху интриги Виши, приведших к тому, что США согласились снабжать североафриканские колонии продовольствием, горючим, текстильными и другими товарами. Мэрфи в то же время враждебно относился к Движению сопротивления во Франции, так же, впрочем, как и поверенный в делах США в Виши, Пингней Тук. Они оба предпочитали строить свои расчёты на поддержке вишійцев. «Ошибка», о которой упоминает Эллиот Рузвельт, была совершена значительно раньше, чем союзные войска высадились в Северной Африке. С этой «ошибкой» связано имя Мэрфи, который находился в самом центре интриг, предшествовавших одной из крупнейших военно-дипломатических авантур в современной истории.

Уже с конца 1941 года Мэрфи не переставал информировать государственный департамент о том, что высадка союзных войск в Северной Африке не встретит никакого сопротивления, ибо его «друзья» из вишійского лагеря будто бы только и ждут прибытия американцев. Это обстоятельство имело немаловажное значение при обсуждении вопроса о выборе африканского варианта вторжения во время лондонских англо-американских конференций летом 1942 года. Сам Мэрфи впоследствии, когда сделка с Дарланом вызвала бурное негодование в демократических кругах всего мира, пытался оправдать свою роль тем, что его «политические маневры» спасли жизнь многих тысяч американцев, англичан и французов. В речи, произнесённой по радио 15 января 1944 года, Мэрфи говорил: «Не забудьте о следующем: во время американской высадки адмирал Дарлан имел под своим командованием в Африке 300 тысяч солдат и моряков. Вот почему мы и работали с адмиралом Дарланом». Неубедительный аргумент! Вооружённые силы Виши в Северной Африке насчитывали только 100 тысяч солдат, 4 тысячи офицеров и 16 тысяч зауряд-офицеров. У них не было ни танков, ни моторизованной артиллерии, ни противотанковой артиллерии, ни авиации; они располагали крайне ограниченным количеством средств противовоздушной обороны, боеприпасов и горючего. Большинство солдат состояло из арабов, не имевших никаких оснований чувствовать преданность к вишійским колониальным администраторам, установившим в Северной Африке режим свирепого фашистского террора. И тут же, в Африке, недалеко от границ вишійской территории, была сконцентрирована девяностотысячная армия Сражающейся Франции, оснащённая современным оружием и накопившая большой боевой опыт. Под флагом Сражающейся Франции действовали также значительные воздушные и военно-морские силы. Помимо этого в Северной Африке существовало Движение сопротивления. В момент высадки англо-американских войск именно эти французские патриоты, жестоко преследовавшиеся вишійскими властями, оказали серьёзное содействие союзникам. «Друзья» Мэрфи, наоборот, всеми силами противодействовали высадке и в точности выполнили приказы Петэна — открыть огонь по американским войскам. Тем не менее американские круги ни за что не хотели привлечь к освобождению Африки вооружённые силы Сражающейся Франции и Движение сопротивления. Ставка делалась на сговор с вишійцами. Ставка была бита, ибо вишійцы действительно открыли огонь и силой препятствовали высадке англо-американских войск всюду, где могли. Если, тем не менее, высадка союзных войск не встретила чрез-

мерных затруднений в Марокко и Алжире, то в этом сказалась общая слабость вишійского режима.

Потери, понесённые союзными войсками, составили 18 738 человек, в том числе: 2574 убитых, 9437 раненых, 1620 пропавших без вести и 5107 взятых в плен. Это сравнительно небольшие потери, если учесть масштаб операции и количество высадившихся войск. Весьма вероятно, что и понесённых жертв можно было избежать, поскольку, при другой политике, разумеется, не было бы необходимости занимать Северную Африку силой. Было бы вполне достаточно, чтобы основная ставка делалась на патриотические элементы, на поддержку Движения сопротивления. Но этого, как мы знаем, не было. Ориентация на французскую реакцию, а виднейшим автором этой ориентации был Мэрфи, потребовала расплаты кровью. «Ошибка» дипломатических интриганов и всех прочих покровителей вишійских клвслингов сделала также неизбежной длительную кампанию в Тунисе, которая закончилась через шесть с лишним месяцев после высадки англо-американских войск в Северной Африке и потребовала ещё 50 тысяч жертв.

Северная Африка — Марокко, Алжир и Тунис — была потеряна для антигитлеровских держав и для французских патриотов в тот момент, когда режим Виши был признан в результате многих интриг. Вишійские изменники с первых же дней захвата ими власти во Франции позаботились укрепить свои позиции в её североафриканских владениях; для Петэна и его клвкли они играли роль залога и инструмента в политической игре.

Теперь уже известно, что ещё до формального подписания позорного акта капитуляции перед Гитлером, Петэн и его присные приняли меры, чтобы Северная Африка не могла стать ареной для собирания французских патриотических сил. В один и тот же день, 9 июня 1940 года, вишійские капитулянты приняли два решения: сдать на милость Гитлера и командировать в Северную Африку одного из наиболее презренных французских монархенцев и давнишнего главаря реакционных заговорщиков против республики — Марселя Пейрутона. Этот изменник, будучи впоследствии министром внутренних дел вишійского «правительства», казнил сотни и тысячи французских патриотов, за что и сам был казнён французским народом. Пейрутон успел, однако, некоторое время послужить в администрации Дарлана, созданной в Северной Африке в результате хлопот всё того же Роберта Мэрфи.

В июне 1940 года Марсель Пейрутон был отправлен в Северную Африку со специальным заданием — предотвратить переход Ма-

реко, Туниса, Алжира и других французских территорий в руки патриотов. Он пробыл в Северной Африке всего один месяц и пять дней, 8 июля его отозвали назад в Виши, чтобы сделать главноначальствующим над всеми застенками и виселицами Петэна. Пейрутон был верным холопом немецких оккупантов, прислужником гестапо. Короткого срока его пребывания в Африке оказалось вполне достаточным, чтобы заручиться верностью генерал-губернатора Марокко генерала Ногеса, генерал-губернатора Западной Африки генерала Буассона и даже командующего войсками в Сирии генерала Мительгаузера. Сам Пейрутон «обеспечил должный порядок» в

Алжире и Тунисе, ибо знал заранее, что к Тунису будут устремлены взоры итало-германского командования. Уезжая в Виши, Пейрутон оставил здесь верного человека, адмирала Эстева, германского агента, изменника. С этими людьми и находился в контакте Роберт Мэрфи.

История африканской кампании ещё не написана. Незвестна ещё во всех подробностях её предистория. Факты, касающиеся развития военных и политических событий, скрываются самым тщательным образом. Но некоторые факты всё же стали достоянием гласности. И они позволяют приподнять завесу над событиями, разыгравшимися в Африке пять лет назад.

### III. За кулисами африканской кампании

#### 1. Жак Лемегр-Дюбрейль, генерал Анри Жиро и другие

Где и когда зародилась идея заменить вторжение союзных войск в Европу через Ла-Манш высадкой в Северной Африке? До сих пор было известно, что впервые проект десанта в Северную Африку был предложен Черчиллем во время его бесед с президентом Рузвельтом в Вашингтоне в начале 1942 года. Но Роберт Мэрфи мог бы с полным правом претендовать на первенство. Постепенно начинает выясняться, что первенство не принадлежит даже и ему. За истекшие пять лет в мировую печать проникли отрывочные, неполные данные, позволяющие предполагать, что у колыбели африканской кампании стояли люди, предпочитающие оставаться в тени. Полная история этой кампании сможет быть написана только тогда, когда будут преданы гласности документы из архивов международных разведок, причём наибольший интерес представляли бы здесь архивы германской разведки...

Ещё с конца 1941 года Роберт Мэрфи и поверенный в делах США в Виши, Тук, вели секретные переговоры с неким французом, по имени Жак Лемегр-Дюбрейль. Трудно сказать, кто из этих трёх лиц проявил больше инициативы, хотя можем предположить, что в данном случае вполне уместна русская поговорка: «На лоуда и зверь бежит». Во всяком случае, они нашли друг друга. Лемегр-Дюбрейль был затем рекомендован Робертом Мэрфи и Туком американскому общественному мнению как «лидер французского подполья». Кем он был на самом деле? Лемегр-Дюбрейль не играл сколько-нибудь заметной роли во французской политической жизни до войны. Но он играл активную роль во французских реакционных кругах. Накануне войны он был известен как глава

«Лиги налогоплательщиков» — одной из могущественных реакционных массовых организаций во Франции. В своё время его публично обвиняли в причастии к фашистской вылазке перед парламентом в феврале 1934 года и в финансировании «кагуларов» — фашистских заговорщиков против республики в 1937 году. Он был участником крупнейшей во Франции (и весьма прибыльной!) компании по производству растительных масел. Его имя числится среди регентов Французского банка — этот пост Лемегр-Дюбрейль сохранил и после оккупации Парижа гитлеровскими войсками. Перед войной ему принадлежал контрольный пакет акций издательства крайне правой, фашистской газеты «Ле жур». Короче говоря, Лемегр-Дюбрейль принадлежал к пресловутым «двумстам семействам».

После капитуляции петэновцев Лемегр-Дюбрейль, как и многие другие французские реакционеры, служил немцам. Во Французском банке он представлял интересы банка Вормса, через который немецкие оккупанты контролировали французскую экономику. С гитлеровцами этот делец находился в самых тесных и наилучших отношениях. Он снабжал их маслом и следил за тем, чтобы вся машина так называемого «франко-германского сотрудничества» была должным образом смазана и работала без перебоев! В частности Лемегр-Дюбрейль снабжал маслом армию Роммеля. Когда в Соединённых Штатах, куда Лемегр-Дюбрейль благополучно перебрался из Франции, его спросили об этих «торговых отношениях» с немецкими оккупантами, он пожал плечами и ответил: «Ну а вы, американцы, посылали ведь железный лом в Японию, не так ли?»

Германские оккупационные власти не мешали Лемегр-Дюбрейлю беспрепятственно совершать поездки в Северную Африку, где

находились плантации, принадлежавшие его фирме.

Что могло заставить этого французского капиталиста и заядлого редактора, прислужника немецких оккупантов, вступить в контакт с Марфи и Туком и предложить им услуги посредника между ними и вишйцами во Франции и в Северной Африке? Желание перестраховать себя на случай поражения гитлеровской Германии? Возможно. Но только этим нельзя объяснить тот шаг, который Лемегр-Дюбрейль решил сделать. Гостяло, узнав о его диллингах, едва ли стало бы с ним перемоняться.

С другой стороны, что побуждало названных двух американских дипломатов вступить в секретные переговоры с этим французским квислингом и что могло им внушить доверие к нему? Очевидно, прежде всего общность взглядов на будущее Франции. Лемегр-Дюбрейль исключительно враждебно относился к Движению сопротивления, Марфи и Тук внимательно прислушивались к тому, что говорил их соседник. А говорил он о том, что вишйские круги охотно помогут американцам при условии, что Движение сопротивления и зарубежные организации Сражающейся Франции будут отстранены от какого бы то ни было участия во французских делах; Виши, доказывал Лемегр-Дюбрейль, ждёт только удобного случая, чтобы перейти на сторону Соединённых Штатов, достигатоно только, чтобы они доверили тем людям, имена которых он, Лемегр-Дюбрейль, называет. Во время этих переговоров и было названо имя генерала Анри Жиро.

Впрочем, оно было не первое и не единственное, которое упоминалось во время многочисленных встреч в Виши и в Алжире. Лемегр-Дюбрейль прежде всего называл имя Эдуарда Эррио. Выяснилось, однако, что Эррио не хочет иметь ничего общего с французскими приспешниками Гитлера — коллаборационистами. Тогда решили обратиться к Вейгану. Но этот верный сподвижник Петэна, разумеется, и слышать не хотел об этом. Кеннет Дэвис утверждает, что Вейган предупредил Петэна о секретных переговорах, ведущихся с американцами. Сообщил ли об этом Петэн немцам? Упоминание Дэвиса о предупреждении Вейгана заслуживает внимания, ибо отсюда можно легко сделать вывод, что в секреты Лемегр-Дюбрейля были посвящены ещё многие другие лица. Так оно и было на самом деле. По мере того как вся афера приобретала всё более ясные очертания и переговоры продвигались вперёд, среди французских финансистов началось движение за скорейший перевод капиталов в североафриканские банки. Инициатива принадлежала двум крупным франко-африканским компаниям. Одна из них — Химический концерн — принадле-

жала французским и германским капиталистам. 51% акций этой компании находится в руках германского химического треста «И. Г. Фарбениндустри». Другая компания — «Трансафриканская» — была создана для эксплуатации ресурсов Северной Африки, причём контрольный пакет акций принадлежал известной германской финансовой корпорации «Дейче банк» и некоторым другим германским промышленным фирмам. Поеспид перевести свои капиталы в Африку и де Вейдел, виднейший французский монополист, один из отцов вишйского режима. Де Вейдел являлся в то время признанным главой французской оружейной фирмы «Шнейдер—Брезо», связанной с концерном Круцца и концерном «Герман Геринг Верке». В североафриканские банки были переведены капиталы итальянской компании «Монтекаттини». Могло ли всё это совершаться без ведома немецких оккупационных властей? Едва ли!

В февральско-мартовском номере американского журнала «Протестант» (за 1943 год) анонимный автор опубликовал данные о том, что о переговорах, ведущихся между Лемегр-Дюбрейлем и американскими дипломатами, было известно широкому кругу финансистов и других дельцов; от них сведения просачивались дальше. Лемегр-Дюбрейль информировал своего близкого приятеля, вишйского палача Пьера Пюше. Пюше, в свою очередь, передал эту информацию швейцарскому банкиру Бреару де Буасанже, посреднику в финансовых сделках Виши с немцами. Пюше известил Буасанже об англо-американских планах оккупации Северной Африки в ближайшем будущем и просил предупредить об этом представителей промышленности и банков Германии. «Протестант» уверяет, что встреча между Пюше и Буасанже состоялась в Женеве, где последний проживал постоянно, будучи членом правления много раз упоминавшегося нами Банка международных расчётов. По «счастливой случайности» в Швейцарии в это время находился известный немецкий фальшивующий банкир барон фон Шредер, возглавлявший немецкую ветвь международной (немецко-англо-американской) банковской фирмы Шредеров, занимавшей видное положение в лондонском Сити и на Уоллстрите. Барон фон Шредер, узнав от Буасанже о предстоящих событиях, спешно выехал в Германию. После этого поток французских капиталов, среди которых было немало немецких, с ещё большей силой устремился в Северную Африку. За три недели, предшествовавшие высадке англо-американских войск, около девяти миллиардов франков было депонировано в отделениях «Банк де Пари э де Пейлаба» и «Унион паризьен» в Марокко и Ал-

жиро. Добавим, что оба эти французских банка в то время находились под контролем «Дейче банк».

Таким образом, выясняется, что о предстоящем вторжении союзных войск в Африку знали по крайней мере многие французские, швейцарские и германские банкиры. Но в таком случае столь важная новость не могла не дойти до ушей гитлеровской разведки. Она, по всей вероятности, не знала, когда состоится это вторжение. Точной даты не знал и Лемегр-Дюбрейль.

Вернёмся, однако, к личности генерала Жиро.

Почему именно этот генерал был избран в качестве орудия планов французских вишйцев и их американских друзей? Объясняется это просто. Генерал Жиро не имел прямого отношения к созданию вишйского режима. Он попал в плен в самом начале «битвы за Францию» — в июне 1940 года: после прорыва немцев у Седана Жиро был назначен командующим 9-й французской армией и был захвачен немцами в тот момент, когда направлялся в штаб армии. В Германии Жиро вместе с сотней других французских пленных генералов и адмиралов содержался в старой саксонской крепости Кёнигштейн на Эльбе, недалеко от Дрездена. Непричастность Жиро к капитуляции Петэна — Лаваль перед Гитлером должна была облегчить Лемегр-Дюбрейлю и Мэрфи выдвижение этого генерала на пост будущего руководителя французской администрации и армии в Северной Африке. Лемегр-Дюбрейль уверял своих американских коллег, что стоит генералу Жиро, известному своими антигерманскими настроениями, появиться в Северной Африке, как все французы сплотятся вокруг него для борьбы за освобождение Франции. Лемегр-Дюбрейль напирал на то, что генерал Жиро давно уже является для французов национальным героем — с того времени, как он отличился в первой мировой войне и тогда же совершил «дерзкий побег» из немецкого плена, присоединился к французским армиям и продолжал сражаться за дело Франции. Высоко превозносились также и военные знания генерала, хотя за двадцать пять лет, прошедших после первой мировой войны, он так же безнадежно отстал, как и в целом весь французский генералитет. Выдвигался и ещё один аргумент в пользу Жиро, а именно его... антибританские настроения и его готовность сотрудничать с американцами. Если Жиро, доказывая Лемегр-Дюбрейлю, возьмёт в свои руки руководство вторжением, то французские вооружённые силы в Африке не только не окажут сопротивления, но, наоборот, всячески облегчат высадку американских войск. Как потом оказалось, влияние генерала Жиро среди французских колониальных администраторов было равно

нулю. Никто не хотел его знать, никто не хотел с ним считаться, и, как известно, после вторжения союзных войск во главе французской администрации в Северной Африке оказался один из наиболее гнусных вишйцев, адмирал Дарлан, а избраннику Мэрфи пришлось удовлетвориться второстепенной ролью, которая досталась ему только после настойчивых требований американцев...

Генерал Жиро действительно всерьёз поверил, что он будет командовать вторжением, в особенности после того, как Мэрфи письменно заверил его в этом. Кеннет Дэвис, характеризую Жиро, пишет, что он «упрям, недалёк и глуп». Впрочем, какой умный человек согласился бы играть столь сомнительную роль в тёмной интриге франко-американских реакционеров, интриге, в том же весьма дурно пахнущей?

Генерал Жиро был не только упрямым, недалёким и глупым человеком. Он ещё ко всему этому был отъявленным реакционером, горячим сторонником Петэна и... гитлеровского «порядка»! Известно его письмо Петэну, написанное в Лионе 4 мая 1942 года. Письмо гласит: «Дорогой маршал, в связи с нашим недавним разговором и с целью устранить какие бы то ни было недоразумения о моей позиции, я заверяю вас в моей полной лояльности. Вы, как и глава правительства (т. е. Лаваль), были столь любезны, что объяснили мне политику, которую вы намерены проводить в отношении Германии. Я полностью согласен с вами. Даю вам честное слово офицера, что я не предприму ничего, что могло бы в каком-либо смысле попортить ваши отношения с германским правительством или помешать выполнению задачи, которую вы поручили адмиралу Дарлану и премьеру Шьеру Лавалю. Моё прошлое является гарантией моей лояльности. Я прошу вас, маршал, принять уверения в моей абсолютной преданности. А. Жиро». Один этот документ в достаточной степени полно характеризует политический облик Жиро. К этому можно добавить, что после своего появления в дезорганизованной зоне Франции в апреле 1942 года Жиро составил подробную докладную записку о причинах поражения Франции, причём целиком солидаризировался с Петэном, что Франция понесла «заслуженную кару» за «вольномудство». В этой записке, между прочим, говорится: «Французы, бывшие в Германии в качестве военнопленных, могут засвидетельствовать, что она процветает, физически и морально здорова. Возможно, что немцы лишены свободы, но в Германии, конечно, нет ни беспорядка, ни анархии. Везде идёт работа, и это только является благом для народа, который хочет жить и жить счастливо. Пусть Франция знает об этом и извлекает из этого пользу».

Таков был облик генерала, на котором остановили свой выбор вначале Марфи и Тук, а затем, по их рекомендации, весьма влиятельные лица в Вашингтоне. Кеннет Дэвис указывает на одного из них — бывшего американского посла в Виши — адмирала Леги, в то время советника Белого дома. Были и другие, о которых Кеннет Дэвис пишет, что они «активно поддерживали фашизм, окрашенный в католические цвета и представленный, например, режимом Франко». Всё же в Вашингтоне были колебания, и Марфи, например, получил приказ не раскрывать кому бы то ни было из его французских «друзей» день и место высадки союзных войск.

Итак, ещё в конце 1941 года (или в начале 1942 года) выбор пал на генерала Жиро. Но генерал Жиро был в это время в плену! Для того чтобы он мог сыграть свою роль, его необходимо было отсюда освободить. В апреле 1942 года весь мир облетело сообщение о том, что Жиро бежал из Кёнигштейна. Рассказывалось множество романтических историй об этом втором побеге Жиро из германского плена, однако сам генерал хранит молчание. Только недавно в Париже, в издательстве Рене Жийяр, вышла книга Жиро «Мои победы». Теперь, наконец, имеется версия, рассказанная самим генералом. Самое лёгкое, рассказывает он, было выбраться из крепости. Гораздо труднее было добраться до Франции. Побег подготавливался в течение двух лет. Супруга генерала, проживавшая в Лионе, где находился центр, руководивший освобождением Жиро, сумела переслать своему мужу лёгкий, тонкий и прочный трос запрянутый в окорок. При помощи этого троса Жиро спустился с крепостной стены, высотой в сорок метров. Вне крепостных стен генерала ожидал некий эльзасец по имени Рожер Гербер. Он передал генералу гражданское платье и фальшивые документы. Вдвоём они сели в поезд, без каких-либо приключений проехали всю Германию и достигли границы Швейцарии. Из Швейцарии Жиро беспрепятственно прибыл в неоккупированную зону Франции.

Такова версия генерала Жиро. Возможно, что всё это соответствует истине. Всё, кроме одного: бегства.

Крепость Кёнигштейн стоит на вершине горы. Вход в крепость ведёт через тоннель, вдоль которого были расставлены часовые. Этот путь был закрыт для генерала. Оставался другой путь — перебраться через крепостную стену и спуститься с сорокаметровой высоты. Напомним, что Жиро было тогда 63 года — возраст, не подходящий для акробатики. Предположим, однако, что всё это было сделано. Но как мог генерал «исчезнуть» и, более того, беспрепятственно

путешествовать по Германии, если учесть, что он хромым, и любой германский полицейский без труда, уже на этом основании, опознал бы беглеца? В своё время соответствующим образом инструктированные американские корреспонденты живописали, что генерал Жиро «силой воли заставил себя побороть хромоту».

Естественно возникающие сомнения в правильности версии о бегстве храброго генерала его друзья стараются рассеять указанием на то, что французские подпольные организации подготовили и обеспечили побег из Кёнигштейна и что эти организации располагали всеми необходимыми средствами для этого. Но это уже окончательно смахивает на детективный роман. В гитлеровской Германии, где гестапо было всемогуще и где существовало несколько десятков видов различных полиций, никакие «французские подпольные организации» не могли бы вызвать столь крупного и важного пленника из наиболее трудного для побега места заключения, возить его по всей Германии и вполне благополучно провезти через границу. Кроме того, если речь идёт об организациях, принадлежавших к Движению сопротивления, то почему они должны были освободить именно генерала Жиро? В германском плену томилось более чем достаточно покренных французских патриотов. Были, вероятно, такие и среди генералов и адмиралов, заточённых в Кёнигштейне. Однако «освободили» именно генерала Жиро, антиреспубликанца, реакционера, этновода, человека, нужного Лемегр-Дюбрейлю.

К «бегству» Жиро кое-какие французские круги были причастны, но как раз те круги, к которым принадлежал сам Лемегр-Дюбрейль, не имевший никакого касательства к Движению сопротивления. Этого даже не доказывать не приходится. Лемегр-Дюбрейль действительно мог помочь Жиро очутиться во Франции, но только при помощи тех, кому служил сам Дюбрейль, — немцев.

Необходимо напомнить ещё об одном странном и до сих пор не выясненном обстоятельстве. Уже много месяцев спустя, когда генерал Жиро был в Африке и занимал там пост командующего французскими вооружёнными силами, а именно в январе 1943 года, выяснилось, что начальником его штаба является генерал Рене Жак Адольф Приу. Об этом стало известно при скандальных обстоятельствах: генерал Приу подписал явно фашистский, расистский приказ по армии. Поднялся шум. И тут вспомнили, что генерал Приу, один из ближайших друзей Жиро, был неразлучен с ним в Кёнигштейне. Каким образом он оказался в Северной Африке? Стали наводить справки, выяснять. Однако удалось узнать только, что накануне вторжения союзников в Северную Африку генерал Приу был «осв-

бождён» немецкими властями «по состоянию здоровья». Немцы действительно освободили по этой причине некоторых французских генералов из плена, но только тех, кто уже находился при смерти. А генерал Приу был в цветущем здоровье. Невольно возникает вопрос: не получил ли и этот французский генерал-реакционер свободу из рук Лемегр-Дюбрейля?

Когда генерал Жиро прибыл в неоккупированную зону Франции, немецкие оккупационные власти для вида и отвода глаз «энергично протестовали» и потребовали от вишнйских властей немедленной выдачи беглеца. Они, однако, не стали настаивать, хотя совершенно ясно, что, пожелай они этого, Петэн немедленно покорился бы. Этот факт тоже не лишён значения.

Правда, возникает вопрос: какой смысл имело для немцев содействовать интригам Лемегр-Дюбрейля, если они сами, впрочем, не являлись инициаторами этих интриг? Уэйверли Рут отвечает на этот вопрос следующим образом: «С военной точки зрения немцам было ясно, что рано или поздно им придется иметь дело со вторжением союзников. В тот период (т. е. после разгрома немецких войск под Москвой и начавшейся затем подготовки Гитлера к наступлению на юго-западному направлению. — И. Е.) они смертельно боялись вторжения в Западную Европу, перед которым они не могли бы устоять в момент, когда для них возникли трудности в России. Если бы можно было увлечь союзников в другую сторону, от Западной Европы в Северную Африку, немцы, удерживая Тунис только десятью или пятнадцать дивизиями, были бы избавлены от необходимости создать на Западе фронт, который потребовал бы от ста до ста пятидесяти дивизий... Кроме того немцам благоприятствовало бы то, что их агент был связан с союзными сферами и мог снабжать ценной информацией».

Так замыкается цепь фактов, бросающих яркий свет на закулисные махинации, предшествовавшие вторжению союзных войск в Северную Африку и приведшие к тому, что действительный, настоящий второй фронт был открыт только через два года.

Но это ещё не все факты. Имеются и другие, не менее важные.

## 2. На сцене появляется Дарлан

В конце октября 1942 года союзные англо-американские войска, разделённые на три Отряда особого назначения — Западный, Центральный и Восточный, — двинулись к Северной Африке. Западный отряд, под командованием генерал-майора Джорджа Паттона, состоял из американских войск: 3-й пехотной, 2-й танковой дивизий и большей части 9-й пехотной дивизии, с соответствующими приданными средствами

усиления; отряд отплыл из Соединённых Штатов, чтобы высадиться на западном берегу Французского Марокко. Центральный отряд, состоявший из американских войск, расположенных в Великобритании, должен был высадиться в районе Орана под командованием генерал-майора Флойда Фреденгаля. Под командованием Фреденгаля находились части 1-й пехотной и 1-й танковой дивизий, усиленных корпусными подразделениями. Восточный отряд был смешанным, англо-американским. Им командовал генерал-лейтенант британской армии Кеннет Андерсон. Этот отряд включал части британских специальных войск «коммандос», регулярные пехотные части и подразделения двух американских дивизий — 34-й и 9-й. Все три отряда поддерживались соединениями английского и американского флотов и воздушных сил, в том числе воздушно-парашютными частями, в задачу которых входил захват аэродромов в Алжире. По плану, Западный и Центральный отряды, заняв порт Лиотэ, Касабланку и Оран, должны были соединиться в районе Феса и установить контроль над единственной железнодорожной линией, идущей от Касабланки через Фес на Оран. Кроме того Центральный отряд, двигаясь на восток, должен был установить контакт с Восточным отрядом, который высаживался в Алжире. В это время британская 8-я армия, занимавшая фронт у Эль-Аламейна, должна была перейти в наступление против итало-германской армии Роммеля.

Германская разведка, повицимому, переоценила свои возможности, ибо она едва ли допускала, что вторжение в Африку будет предпринято такими крупными силами. Для немцев речь шла о том, чтобы сорвать второй фронт. Они вовсе не хотели потерять свои позиции в Африке. Их расчёты оправдались только наполовину: вторжение в Европу было отложено, но африканские позиции были потеряны.

Как бы там ни было, теперь, когда союзные войска с трёх сторон приближались к берегам Северной Африки, должны были сказаться результаты «политических маневров» Мэрфи, Тука и других. Посмотрим, что произошло на самом деле.

На рассвете 8 ноября 1942 года началась высадка союзных войск. За день до этого в Гибралтар, где находился штаб командующего союзными войсками генерала Эйзенхауэра, прибыл генерал Жиро. Он был вывезен из Франции на английской подводной лодке, с которой уже в открытом море пересел на американский гидросамолёт, доставивший его в Гибралтар. При первой же встрече с Эйзенхауэром Жиро потребовал выполнения обещания Мэрфи о том, что верховное командование немедленно перейдёт в его, Жиро, руки. Он предъявил пись-

менное заверение Мэрфи на этот счёт. Ему было отказано. Тогда он потребовал, чтобы немедленно после высадки союзных войск союзное командование провозгласило его главой всех военных сил и гражданской администрации в Северной Африке. Спор в штабе Эйзенхауэра продолжался всю ночь с 7 на 8 ноября. В конце концов генерал уговорили отправиться в Алжир, «а там видно будет». Правда, генерал Эйзенхауэр опубликовал воззвание, в котором выражалась надежда, что с прибытием генерала Жиро в Алжир все французы объединятся вокруг него и помогут этому «лидеру» возглавить «движение против агрессии держав оси в Северной Африке». В том же воззвании говорилось, что «союзный верховный главнокомандующий согласился поддержать генерала Жиро всеми мощными силами, находящимися в его распоряжении». Но всё это было не более как игра теней.

Пока в штабе Эйзенхауэра шли утомительные объяснения с Жиро, поверившим в то, что именно он будет назначен верховным главнокомандующим англо-американской армией, в которой не было ни одного француза, союзные войска вели бой в районе Касабланки и Орана. И там и тут им было оказано ожесточённое сопротивление. Командующий вишійскими войсками в Марокко генерал Петенс в точности выполнил приказ Петэна — открывать огонь по английским и американским солдатам. Борьба за Касабланку и Оран продолжалась несколько дней. Сопротивление вишійских войск было подавлено к 10 ноября. В этих двух случаях подготовительные «политические маневры» Мэрфи не имели никакого эффекта. Вишійцы сложили оружие только тогда, когда убедились, что их игра проиграна. В боях у Орана и Касабланки союзные войска в основном и понесли те потери, о которых мы говорили выше, — 18 с лишним тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.

Несколько иначе сложились дела в Алжире. Здесь союзным войскам было оказано ничтожное сопротивление, но объясняется это вовсе не тем, что в Алжире Мэрфи смог наконец «показать себя». Как раз наоборот: не друзья Мэрфи из лагеря вишійцев, а французские патриоты открыли союзным войскам ворота в Алжир. Вкратце события развивались следующим образом. В ночь на 8 ноября несколько групп вооружённых патриотов (вооружённых очень плохо) заняли наиболее важные пункты Алжира — телефонную станцию, телеграф, полицейское управление, радиостанцию, — окружили дома, в которых проживали наиболее видные вишійские сановники, в том числе адмирал Дарлан, «случайно» оказавшийся в ночь с 7 на 8 ноября в Алжире, генерал Жуэн, командовавший войсками в Алжире, вице-

адмирал Раймонд Фенар и многие другие. Среди них были также временный губернатор Алжира Эттори и два офицера — члены «итальянской комиссии по перемирию».

Вполне естественно, что французские патриоты поддерживали контакт с единственным тогда представителем союзников в Алжире — Мэрфи. Полуофициальные американские отчёты о том, что происходило в ту ночь, утверждают, что Мэрфи узнал о нахождении Дарлана в Алжире при следующих обстоятельствах. После того как командующий вишійскими войсками в Алжире генерал Жуэн был арестован в своём доме французскими патриотами, Мэрфи в половине первого ночи отправился к нему, чтобы сообщить о предстоящем прибытии американских войск. Жуэн тотчас же ответил: «Мы должны сообщить об этом адмиралу Дарлану». Видимо, Жуэн не желал выражать своего мнения, ибо считался исполняющим обязанности генерал-губернатора генерала Ив Шателя, известного реакционера, всецело преданного Петэну. В тот момент Шатель отсутствовал в Алжире. Ответ Жуэна и его указание на необходимость немедленно поставить Дарлана в известность обо всём происходящем имеют ещё и другой смысл. Мэрфи заявил генералу, что союзники прибывают с самыми благими намерениями. Жуэн на всякий случай заявил, что должен протестовать против «вторжения на французскую территорию». «Это — не вторжение, — отвечал Мэрфи, — союзники прибывают по приглашению». «По чьему приглашению?» — спросил Жуэн. «Как по чьему? Конечно, по приглашению генерала Жиро», — настаивал Мэрфи. «Жиро?! — удивился Жуэн. — А какое он имеет право кого-либо приглашать во Французскую Северную Африку? Кто его уполномочил?» Мэрфи просил, чтобы Жуэн тотчас же отдал приказ по войскам не препятствовать высадке союзников. Жуэн объяснил, что он этого сделать не может, такой приказ может дать только адмирал Дарлан. «А разве он здесь?» — воскликнул Мэрфи, для которого эта новость была будто бы полной неожиданностью. «Да, он прибыл совершенно внезапно, чтобы навестить своего больного сына, — ответил Жуэн. — Он главнокомандующий всеми французскими вооружёнными силами и может отменить любой мой приказ». Разумеется, если бы Дарлан был немедленно отправлен в тюрьму, не могло бы быть и речи об отмене чьих-либо приказов. Кеннет Дэвис саркастически замечает, что такая возможность, как совершенно «недипломатическая», даже и не пришла в голову Мэрфи. Вместо этого он согласился с Жуэном, что необходимо вступить в переговоры с Дарланом. И здесь завязывается новая нить в запутанной африканской мистерии.

Каким образом адмирал Дарлан оказался в Алжире в эту памятную ночь?

За неделю до вторжения союзников Дарлан по поручению Петэна совершил инспекционную поездку по Французской Западной Африке и Марокко. 30 октября он вернулся в Виши и представил Лавалю отчёт о состоянии обороны в этих французских владениях. В опубликованном в Виши коммюнике глухо говорилось о том, что «некоторые обстоятельства придают особое значение поездке Дарлана». В тот же день министр пропаганды Виши в речи, произнесённой в Ницце, заявил, что вишийцы будут защищать свои позиции в Африке. Через несколько дней Дарлан прибыл в Алжир, на этот раз с частным визитом, якобы для того, чтобы навестить своего больного сына, находившегося в одной из вилл в окрестностях города. Дарлан давно мёртв и уже ничего не скажет. Другие, имевшие дело с ним, тоже молчат<sup>1</sup>. Но, так или иначе, он весьма кстати оказался в Алжире, чтобы Мэрфи мог вступить с ним в переговоры. Дарлан проживал на вилле адмирала Фенара. Его разбудили по телефону и сообщили, что американский поверенный в делах просит немедленно прибыть в дом генерала Жуэна для чрезвычайно важного разговора. Под конвоем вооружённых патриотов Дарлан в сопровождении адмирала Фенара и вице-адмирала Батто был доставлен к Жуэну. Здесь между Дарланом и Мэрфи произошёл «обмен мнениями». Узнав, в чём дело, Дарлан пришёл в ярость. «Я знал, что англичане глупы! — воскликнул он. — Но я не знал, что американцы тоже глупы». Мэрфи, как с его слов журналисты Кингсбюрн Смит и Димэри Бэсс излагают весь этот разговор, напомнил Дарлану о его собственном заявлении, сделанном после США в Виши, адмиралу Лаги, в июле 1941 года: «Придите ко мне, когда у американцев будет полмиллиона солдат для вторжения во Францию». Теперь около полумиллиона американских солдат высаживаются в Африке, сказал Мэрфи, и «мы пришли к вам». Мэрфи зывал к «патриотизму» Дарлана, он подчёркивал, что США и Великобритания пред-

приняли первый шаг к освобождению Франции. Он просил, чтобы Дарлан немедленно издал приказ по вишийским войскам не оказывать сопротивление. Дарлан ответил отказом. «Если бы маршал Петэн знал, что здесь происходит, — продолжал Мэрфи, — он, как вы хорошо знаете, дал бы вам указание не оказывать сопротивление». Дарлан задумался и наконец нашёлся: необходимо запросить Петэна, так как он не может взять на себя ответственность за издание такого приказа. Мэрфи согласился. Дарлан составил телеграмму, которую адмирал Фенар должен был немедленно отвезти на алжирскую радиостанцию. Однако французские патриоты весьма недипломатически задержали Фенара, и потребовалось вмешательство Мэрфи, чтобы посланец Дарлана был пропущен. Телеграмма была послана. Ответа не последовало. Зато Петэн был поставлен в известность, что вторжение союзников началось, и он издал приказ сопротивляться «до последнего патрона». Тем временем Мэрфи продолжал настаивать, чтобы Дарлан от своего имени отдал приказ о прекращении сопротивления. Но тот продолжал стоять на своём.

Положение французских патриотов тем временем становилось всё более затруднительным. Хотя Дарлан был задержан в доме Жуэна, где, как объяснил Мэрфи, он останется до вступления американских войск в город, вишийские власти, убедившись в том, что американцы запаздывают, пытались принять контрмеры. На отдельных участках начались перестрелки, несколько полицейских участков было захвачено обратно вишийцами. Серьёзное столкновение произошло у здания штаба 19-го армейского корпуса, где укрепились патриоты, арестовавшие вишийского генерала Рубертье.

Мэрфи всё ещё продолжал настаивать, чтобы Дарлан издал приказ. Тот, наконец, согласился. Он набросал несколько слов на клочке бумаги и передал его одному из своих адъютантов для доставки на радиостанцию. Патриоты, державшие караул у входа в дом Жуэна, перехватили этот «приказ». Оказалось, что Дарлан инструктировал вишийских военачальников «выполнять условия перемирия» с немцами, то есть оказывать сопротивление! Дарлан затягивал переговоры с Мэрфи, чтобы выиграть время. Около 6 часов утра отряд вишийской полиции пробился к дому Жуэна и окружил его. Теперь уже Мэрфи был пленником Дарлана. Правда, в этот момент передовые части английских и американских войск под командованием майора Рейдера уже были на берегу и начали продвигаться по направлению к городу, где происходила яростная перестрелка полиции с патриотами, сумевшими всё же удержать в своих руках важнейшие захваченные ими

<sup>1</sup> Рене Госсэ, автор книги «Переворот в Алжире», приводит некоторые данные, бросающие свет на события, предшествовавшие обнаружению Дарлана в Алжире. С Мэрфи Дарлан был знаком ещё с 1940 года. Во время своей инспекционной поездки по Африке, незадолго до вторжения союзников, Дарлан виделся с Мэрфи 29 октября. Несколько своим французским «друзьям» Мэрфи сообщил о предстоящем вторжении. Дарлан вернулся в Виши 30 октября и в последующие дни был занят сжиганием каких-то документов. В Алжир он вернулся 4 ноября, причём на этот раз в местной печати об этом не сообщалось ни слова.

стратегические пункты. В полдень 8 ноября Алжир был прочно в руках союзников.

Базалось бы, теперь уже и вовсе не было смысла вести какие бы то ни было переговоры с Дарланом и его кликой. Но мы сейчас увидим, что только после прибытия союзных войск по-настоящему началась подготовка к сделке с Дарланом, вызвавшая недоумение и возмущение в демократических кругах всего мира.

Официально, как уже указывалось выше, эта сделка мотивировалась тем, что Дарлан, отдавший в конце концов приказ о прекращении сопротивления, облегчил высадку союзников и «спас много американских жизней». На самом деле эта версия не соответствует фактам.

Но где же в это время был генерал Жиро? Он всё ещё пробирался в Алжир в сопровождении американского генерала Кларка. Оба они прибыли вечером 9 ноября. На следующий день, утром, Кларк и Мэрфи устроили совещание с Дарланом и другими вишійскими сановниками для подписания перемирия, в котором уже не было никакой необходимости, так как во всех пунктах Северной Африки сопротивление вишійцев было сломлено силой. Дарлан и теперь отказался подписывать такой документ, заявляя, что он не получил никаких указаний из Виши. На замечание Кларка о том, что генерал Жиро готов отдать такой приказ под свою собственную ответственность, Дарлан ответил: «Жиро может отдавать какие угодно приказы — никто их не будет выполнять». (Любопытно отметить, что на это совещание Жиро не был приглашён!) Только после того как Кларк заявил, что он арестует Дарлана, последний наконец согласился подписать приказ «о прекращении сопротивления». Это был, собственно, не приказ, кратко повелевающий «прекратить огонь»: на самом деле этот документ содержал нечто гораздо более важное, а именно соглашение с Дарланом. Он предусматривал прекращение враждебных действий; возвращение всех вишійских войск в казармы и соблюдение ими «строгого нейтралитета» (!); провозглашение Дарлана верховным военачальником и руководителем в Африке «именем маршала», то есть Петэна. Основным смыслом документа сводился к тому, что вишійский режим сохраняется в неприкосновенности. Дарлан согласился подписать этот документ только после того, как добился обещания, что «статус генерала Жиро» будет выяснен позднее, а те отдельные французские офицеры, которые оказали то или иное содействие высадке союзников и тем самым нарушили приказ маршала, не будут обречены какими-либо командными правами.

В полдень 10 ноября алжирская радиостанция приняла сообщение о том, что Дарлан приказом Петэна смещён со всех

занимаемых постов и главнокомандующим всеми вишійскими войсками в Африке назначается генерал-губернатор Марокко, Ногес. Дарлан поспешил известить Кларка, что вынужден отказаться от своей поездки под соглашением о перемирии. Снова возник «кризис». Правда, на следующий день, 11 ноября, стало известно, что немецкие войска вступили в неоккупированную зону Франции, причём Петэн, разумеется, издал приказ не оказывать им сопротивления. Это событие развязало руки и Дарлану и тем, кто с ним заключал сделку. 12 ноября генерал-губернаторы и командующие войсками Марокко и Алжира были приглашены к Кларку, который объявил им, что они будут арестованы, если немедленно не подтвердят соглашение с Дарланом. Снова возник вопрос о Жиро, которого Дарлан на этом совещании назвал «предателем». Американцам, по крайней мере, было уже совершенно ясно, что никаким влиянием Жиро в Африке не пользуется и шикло не будет ему подчиняться. Правда, они могли заставить любого вишійского администратора подчиниться приказу любого своего ставленника. Но, видимо, они не хотели «портить отношения» с людьми Виши по той простой причине, что тогда пришлось бы на их место назначать других, из антивишійского лагеря. Такая смена лиц была бы невозможна без смены политического режима в Северной Африке, а это, видимо, не входило ни в задачи, ни в расчёты тех, кто стоял за спиной Мэрфи. В конце концов, генералу Жиро, который оказался во всей этой игре вроде «шодкидного дурака», было заявлено, что ему придётся согласиться с ролью одного из первых заместителей Дарлана. Ив Шатель и Ногес остались на своих постах, как, впрочем, и вся остальная вишійская администрация в Марокко и Алжире. 13 ноября Шатель зачитал по алжирскому радио первое официальное заявление Дарлана. Этот документ стоит того, чтобы его привести полностью: «Жители Северной Африки! Маршал (то есть Петэн.— И. Е.) назначил генерала Ногеса своим делегатом в Северной Африке 10 ноября, перед вступлением германских войск в неоккупированную зону Франции. Он поступил так, полагая, что я лишён свободы. Генерал Ногес прибыл в Алжир вчера, 12 ноября. Пользуясь полной свободой и в полном согласии с ним, я снова взял на себя всю ответственность за интересы Франции в Африке. Мои действия полностью одобряются американскими властями, вместе с которыми я намерен обеспечить оборону Северной Африки. Каждый губернатор или резидент должен оставаться на своём посту и заботиться об управлении подведомственной ему территорией в соответствии с законами, имеющими силу в настоящее время, как и в прошлом. Французы и мусульмане! Я полагаюсь

на вашу дисциплинированность. Каждый да останется на своём посту. Да здравствует маршал! Да здравствует Франция!» Таков был этот документ, провозгласивший сохранение порядков, установленных и в Северной Африке вишійскими «законами». Нечего удивляться тому, что Дарлан публично подтверждал власть Петэна. Более того, когда изменническое поведение вишійского «правительства», отдавшего без выстрела всю неоккупированную зону Франции немцам и воспрепятствовавшего выходу тулонской эскадры в море, что привело к её гибели, вызвало взрыв возмущения среди французов в Северной Африке, Дарлан совершил ещё один трюк: он объявил, что Петэн во всём этом неповинен, так как является «пленником Гитлера» и не может выполнять своих функций; поэтому он, Дарлан, принимает на себя титул Петэна — «главы государства». Вишійский режим был, таким образом, официально переведён из Франции в Северную Африку, с тем, быть может, чтобы затем вернуться туда обратно в неприкосновенном виде.

Во всём этом и состоит то, что можно назвать второй фазой французской «загадки»: вначале дипломатические отношения с Виши, затем неофициальные отношения с немелкими приспешниками, вроде Лемегр-Дюбрейля, кратковременная авантюра с генералом Жиро и, наконец, завершение всей игры — появление на сцену Дарлана и создание предпосылок для преемственного сохранения вишійского режима. Как можно судить по указаниям Кеннета Дэвиса, этой игрой с самого начала дирижировали круги, среди которых особенно выделялись всё тот же сенатор Ванценберг и член палаты представителей Гамильтон Фиш, давно известный своими профашистскими настроениями.

Обращает на себя внимание ещё одно очень важное обстоятельство. Так называемое «соглашение о перемирии», подписанное в Алжире 11 ноября, обязывало всех вишійских командующих прекратить сопротивление и «соблюдать нейтралитет». В Алжире и Марокко вишійцам не пришлось выполнять это соглашение по той простой причине, что ещё до его подписания союзные войска силой, а в Алжире также при помощи французских патриотов, заставили вишійцев сложить оружие. Единственной французской колонией в Северной Африке, где это соглашение могло быть применено и после 11 ноября, был Тунис. Но тамошний губернатор адмирал Эстева не обратил на это соглашение и на «приказы Дарлана» никакого внимания. Имеется даже указание на то, что Дарлан окольным путём дал Эстева знать о необходимости оказывать сопротивление. Войсками в Тунисе командовал генерал Баррэ, сочувствовавший союзникам и намеревавшийся не подчиниться приказу

из Виши — не препятствовать высадке германских войск. Морскими силами, сконцентрированными в Бизерте, командовал адмирал Дербен. Вместе с адмиралом Эстева он принял меры к изоляции генерала Баррэ. Когда германские войска стали высаживаться в Тунисе, они не встретили сопротивления. Отказался подчиниться приказам из Алжира также и генерал-губернатор Французской Западной Африки генерал Пьер Буассон. Дарлан фактически отказался приказать командиру тулонской эскадры немедленно следовать в североафриканские порты, как того добивались американцы. В результате союзникам пришлось потратить более шести месяцев на захват Туниса. Западная Африка вместе с Дакаром оказалась в их распоряжении только после смерти Дарлана, когда во главе так называемого Совета имперской обороны — центра вишійской администрации в Северной Африке, созданного после вторжения союзников, — стал генерал Жиро. Разумеется, Буассон сохранил свой пост.

### 3. Конец французской «загадки»

Итак, Дарлан — глава «французской администрации» в Северной Африке. Что это была за администрация? Она прежде всего была насквозь реакционной, петэновской, вишійской. По сообщению корреспондента Юнайтед пресс Джона Парриса, американским властям в Северной Африке было хорошо известно, что Петэн находится в постоянной связи с Дарланом и «полностью солидаризировался» с действиями последнего, исходя из «будущего Франции, направляемого союзниками». Более того, для американских властей не было тайной то, что генерал-губернатор Марокко Ногес и генерал-губернатор Алжира Шатель поддерживали контакт с Виши через правительственную систему связи, которую они контролировали в течение долгого времени после оккупации Северной Африки союзниками. Виши не переставало направлять в Северную Африку своих эмиссаров, среди них, в частности, оказались бывший премьер мюнхенец Фланден и известный петэновец Пьер Пюше. Оба они вместе с тем представляли интересы Комитэ де Форж — объединения крупной французской промышленности, главари которого действовали в полном согласии с немецкими банками и концернами; в частности Пюше был в то время генеральным секретарём одной франко-германской фирмы. При посредстве Фландена и Пюше Дарлан состоял в контакте с де Венделем, наиболее влиятельным членом Комитэ де Форж, «другом» многих рурских магнатов и барона Шредера. Теперь Дарлан взял на себя заботу о тех миллионах, которые были заблаговременно переведены в североамериканские банки.

Так называемое «правительство», созданное Дарланом,—Совет имперской обороны—состояло из преданных Петэну вишйцев. Во главе экономического секретариата был поставлен адмирал Фенар, петэнсовский протеже. В числе «министров» числились генерал Жан Мари Бержере, бывший министр вишйского правительства и участвовавший в вооружённой борьбе против союзных войск в Сирии, Фернан Блондель, Людовик Трон, Альфред Позе, Жак де Сен Ардуэн, Жан Риго и т. д. Кто были эти лица? Все они принадлежали к вишйским кругам, а некоторые из них, как потом было установлено, были связаны с Лемегр-Дюбрейлем, как, например, Позе, Сен Ардуэн и Риго. Последний долгое время был личным секретарём Дюбрейля.

В Северной Африке в течение всего двухмесячного периода «правления» Дарлана действовал в неизменном виде вишйский «порядок». Только по требованию союзных властей, которым всё же приходилось заботиться о своём «лице», была объявлена ограниченная амнистия и освобождена из тюрем и концлагерей часть французских патриотов, заточённых там по приказу Петэна и его германских властелинов. В основном ничего не изменилось в Северной Африке. Движение сопротивления попрежнему находилось в подполье. Французские реакционеры и прислужники Гитлера чувствовали себя в полной безопасности. Печать, за исключением откровенно вишйской, была под строжайшим надзором. Неизвестно, как бы сложилось дело дальше, если бы 24 декабря Дарлан не был убит молодым французом по имени Бонье де ла Шапель. Убийца Дарлана был немедленно предан военнополовому суду и расстрелян на рассвете 26 декабря. Вместо Дарлана главой «правительства» был провозглашён генерал Жиро.

Жиро никогда не скрывал своей враждебности к республике. Теперь, вступив на пост, которого давно добивался, он показал, как он намерен действовать. Генерал-губернатор Алжира Ив Шатель был отстранён от своего поста за то, что не сумел «уберечь» Дарлана. Кто же был назначен генерал-губернатором Алжира? Марсель Пейрутон! По его приказу были арестованы сотни французских патриотов, принимавшие активное участие в событиях в ночь с 7 на 8 ноября и облегчившие союзникам занятие города! Враги республики снова были у власти. И они пользовались ею по своему усмотрению.

Вплоть до окончания тунисской операции Французская Северная Африка служила убежищем для вишйских последышей, не перестававших плести свои интриги и стремившихся выслужиться перед англо-американской реакцией в надежде, что в конце концов, когда гитлеровцы будут изгнаны из Франции, они окажутся у власти в Париже, а не руководители Движения сопротивления. Для французских реакционеров и их внешних покровителей самое главное состояло в том, чтобы власть над народом, над Францией, над её будущим находилась в руках доверенных Комитэ де Форж, «двухсот семейств». Для них победа над Германией только в том случае имела смысл, если она вместе с тем означала победу над французским народом.

Французский народ отверг этих претендентов на роль господ и властителей над его судьбой. Он отверг Дарлана. Он отверг Жиро. Уже летом 1943 года этот карикатурный «глава государства» стал сходить со сцены, а затем и канул в политическое небытие, откуда напомнил о своём существовании детективным романом о своём «бегстве» из Кёнигштейна. Французский народ отверг и де Голля, которого тогда не хотели признавать англо-французские реакционеры, ибо по ошибке приняли его за руководителя демократических сил Франции, по которому они поддерживают теперь, когда его реакционный облик ни у кого не вызывает сомнений.

На этом заканчивается французская «загадка».

Началась итальянская глава в истории саботажа второго фронта реакционными кругами Англии и Америки.

К концу мая 1943 года в Северной Африке не осталось ни одного вооружённого немца или итальянца. Армия Роммеля, прижатая к морю, предпочла сложить оружие. Союзные войска, состоявшие из трёх армий, накопившие значительный боевой опыт, могли теперь вернуться в Великобританию и осуществить много раз обещанное, но каждый раз откладываемое вторжение во Францию через Ла-Манш. Вместо этого они были использованы для операции против второстепенной фашистской державы — Италии. Черчилль мог торжествовать: его план, предусматривавший вторжение союзных англо-американских войск через Италию на Балканы, дабы оказаться там раньше Советской Армии, наконец стал проводиться в жизнь...

## IV. Вторжение в Италию

### 1. Странные «компромиссы»

Всё, что касается Черчилля и его планов, более или менее известно. Достаточно яркий свет на эти планы бросили факты, приводимые Ральфом Ингерсоллом. Африканский поход исчерпал все имевшиеся в то время резервы Соединённых Штатов. Вторжение в Европу через Ла-Манш было возможно только при одном условии: если все союзные армии будут переправлены обратно в Англию. Для этого не оказалось транспортных средств, хотя их оказалось более чем достаточно для отправки двух армий — одной американской и одной английской — из Англии и даже из Соединённых Штатов Америки в Северную Африку. Поэтому было решено в порядке «компромисса» использовать находящиеся в Африке войска для занятия Сицилии, а затем и для «ограниченного вторжения» в Италию. Американские авторы, как правило, утверждают, что всё это было результатом интриг Черчилля. Ингерсолл пишет, что «весь итальянский поход с военной точки зрения не имел никакого смысла. А к концу — даже военнополитического смысла не осталось». Не только в политических кругах Соединённых Штатов, но также в военных кругах имелись противники второго фронта. У Черчилля было немало единомышленников по ту сторону океана. Как пишет Ингерсолл, «вторжение через Ла-Манш, как таковое, имело могущественных противников на самых видных постах не только в Англии, но и в Америке». К ним прежде всего относились генерал Арнольд, командовавший американскими военно-воздушными силами, адмирал Кинг, командующий американским военно-морским флотом, и многие другие. «Я не могу называть их имена», — пишет Ингерсолл. Но эти имена известны. Фактически Черчилль говорил не только от своего имени, когда в ряде своих речей отрицал возможность вторжения через Ла-Манш: он выступал как защитник взглядов англо-американских реакционеров.

В речи, произнесённой 21 сентября 1943 года в палате общин, Черчилль вспомнил о том, что во время переговоров в июне 1942 года было принято решение об оккупации только Северной Африки. «В то время, — сказал он, — свыше пятнадцати месяцев назад, не было принято никакого решения, которое выходило бы за пределы оккупации Северной Африки». Правда, это не помешало Черчиллю заявить почти годом раньше, на завтраке в честь лорд-мэра Лондона в Меньшон-Хаузе 10 ноября 1942 года, что вторжение в Африку имеет единственную цель «выиграть выгодный плацдарм, откуда можно открыть новый фронт против Гитлера и гитлеризма, очистить берега Аф-

рики от фашистской тирании и тем самым содействовать освобождению народов Европы». Одна эта фраза содержит столько двусмысленности, что стоит всех прочих речей главного апостола политики затягивания войны на континенте.

Но опять-таки никто не должен думать, что американцы были слепыми и глухими. Черчилль доказывал в длинной серии речей (11 ноября, 29 ноября 1942 года, 11 февраля, 25 мая, 8 июня, 27 июля, 31 августа, 21 сентября, 9 ноября 1943 года и т. д.), что вторжение в Европу через Ла-Манш «невозможно» и наверняка закончится «новым Дюнкерком», а то и «рядом Дюнкерков». В этих речах приводились все мыслимые аргументы против вторжения через Ла-Манш, и одним из главных была ссылка на «нехватку тоннажа». Однако вполне нашёлся тоннаж — около 1000 кораблей! — для перевозки английских и американских войск в Северную Африку, а затем — свыше 2700 кораблей — для высадки в Сицилии, начавшейся 10 июля 1943 года. Всё это видели американцы. И тем не менее, как пишет Ингерсолл, военное министерство США не собралось оспаривать у англичан верховенства в ведении войны в районе Средиземного моря. «Не собиравшись оспаривать» — это в достаточной степени мягко сказано. По сути дела, Эйзенхауэр во всём соглашался — во всём, что касалось стратегической линии, — не на свой риск и страх. Кеннет Дэвис приводит собственные слова Эйзенхауэра о том, что, занимая должность верховного главнокомандующего союзными войсками, он фактически выполнял роль «председателя Комитета», а Комитет этот состоял не просто из равного количества американцев и англичан. Об англичанах можно сказать, что они были послушными исполнителями воли Черчилля, а среди американцев каждый генерал считался представителем определённой группы сенаторов и членов палаты представителей в Комитете — верховном главнокомандовании, которым управлял Эйзенхауэр. Если даже и принять за истину, что англичане — члены этого Комитета — были более изощрённые, ловкие, опытные, хитрые, то всё же было бы по меньшей мере наивным полагать, что американцы были только беспомощными жертвами своих английских коллег.

Перед англо-американским штабом вставала новая задача — управление оккупированной итальянской территорией. В предвидении этого были созданы соответствующие органы, слившиеся затем в так называемом Союзном Военно-гражданском управлении. Но итальянская проблема была шире. Речь шла о том, на кого

союзники намерены опереться в Италию. Что касается Черчилля, то он давно уже сделал свой выбор, и американские реакционеры фактически последовали за ним.

## 2. Опекуны Савойской династии

Для британских реакционеров итальянский фашизм был противником в той мере, в какой он угрожал интересам Британской империи. Личные отношения Черчилля с Муссолини носили, вероятно, весьма компрометирующий характер. Известно, что в багаже «дуче» после его расстрела в апреле 1945 года итальянскими партизанами были обнаружены письма бывшего британского премьер-министра к Муссолини. Письма эти вместе с другими документами, найденные при Муссолини, были сданы на хранение в один из банков. После визита Черчилля в Северную Италию они исчезли...

Муссолини оказался врагом. Именно Муссолини, а не итальянский фашизм, не Савойская династия, служившая для него наилучшим прикрытием в течение двадцати лет и связанная с ним одними узами. Во всей Италии Черчилль видел только одного врага — Муссолини. Он сам во всеуслышание говорил об этом в радиоречи из Лондона 23 декабря 1940 года: «Итальянцы, я скажу вам правду: всё это (то есть война.— И. Е.) случилось по вине одного человека. Один человек, только один человек сверг итальянский народ в смертельную борьбу против Британской империи и отнял у Италии симпатию Соединённых Штатов. Я не отрицаю, что он великий человек, но нельзя также отрицать, что после восемнадцати лет господства он довёл нашу страну до грани страшного разорения. Он один, вопреки желаниям короны и королевской семьи, вопреки желанию папы, Ватикана и католической церкви, итальянского народа предал сокровища и наследников древнего Рима в руки жестоких варваров-язычников... Несомненно, придёт время, когда итальянская монархия и народ, которые стоят на страже священного центра христианства, скажут своё слово».

Те силы, на которые рассчитывал Черчилль, перечислены здесь вполне точно. Народ упомянут в последнюю очередь, в самом конце, так сказать, «для полноты впечатления», для виду. Савойская династия и Ватикан — вот кто были желанными союзниками Черчилля, как и всей британской реакции.

Но в этом же состояла также и линия американской реакции. Показательно, что это неоднократно подчёркивалось в заявлениях, которые делались от имени Вашингтона и Лондона. В речи, произнесённой Черчиллем 27 июля 1943 года, в связи с па-

дением Муссолини, можно найти следующее место: «Было бы серьёзнейшей ошибкой, если бы державы, спасающие Италию, Великобритания и Соединённые Штаты, действовали таким образом, что это привело бы к разрушению всей структуры итальянского государства. Мы, разумеется, не намерены довести Италию до хаоса и анархии и оказывать без властей, с которыми мы могли бы иметь дело. Я не намерен идти по дороге, которая может привести к концлагерям, расстреливающим командам; я не намерен отвечать за народ, который должен сам отвечать за себя». Эта несколько туманная декларация, которая, однако, вполне ясно давала понять, что в Италии всё должно остаться по-старому, при изменении некоторых вывесок, была дополнена более прямым заявлением Черчилля 21 сентября о том, что все его симпатии на стороне правительства маршала Бадальо. И в то же время американским газетам и радиовещательным компаниям, как свидетельствует У. Рут, было дано указание, в форме «совета», не критиковать и не нападать на Савойскую династию...

Всё, что произошло затем в Италии, вплоть до плебисцита, состоявшегося уже после войны и показавшего, что итальянский народ презирает и отвергает королевских союзников Муссолини и требует провозглашения республики, служит достаточно ярким подтверждением простой истины: «освобождение» Италии мыслилось в англо-американских реакционных кругах как простой переход от открытого фашистского режима к реакционному режиму, прикрытому «конституционными гарантиями» и благословением Ватикана. Италия должна была стать базой католической реакции и служить «примером» для таких католических стран, как Франция, Польша, Австрия, Венгрия и др. Реакционная Италия должна была вместе с тем сыграть и другую роль — плацдарма на рубежах Юго-Восточной Европы. Как известно, Черчилль и его американские единомышленники основательно просчитались. В Албании, Югославии, Румынии, Болгарии, Венгрии началось могучее всенародное демократическое движение, когда героические партизаны Тито, Энвер-Ходжа и войска Болгарии Отечественного фронта гнали и уничтожали гитлеровских унтергаулей. И вот тогда-то англо-американские реакционные круги стали выставлять Италию в качестве примера для других стран Юго-Восточной Европы. Именно по этой причине Черчилль и его присные хотели всеми мерами сохранить итальянскую монархию и монархистов, которые могли служить наилучшим прикрытием для всех реакционных сил Италии, готовые служить англо-американскому капиталу.

Но Савойская династия была настолько отягощена своими преступлениями, настолько презираема и ненавидима народом, что никакие силы не могли её спасти. Она была свергнута. Это был сильнейший удар для опекунов итальянской реакции. Борьба за Италию — борьба, ведущаяся между итальянским народом, с одной стороны, и итальянской реакцией, поддерживанной внешней реакцией, с другой стороны, продолжается и поныне.

К концу 1943 года противникам второго фронта стало ясно, что дальнейшая оттяжка вторжения через Ла-Манш может привести к противоположному результату. Советские войска перешагнули через Днепр. Весной 1944 года они на юге достигли Днестра, затем — Прута, форсировали эту реку и вступили в Румынию. Гитлеровская Германия ещё была сильна, борьба с ней трудна, но она уже не могла предотвратить свою гибель. А гибель эта надвигалась с каждым новым ударом советских войск. Было уже ясно, что независимо от того,

будет ли образован второй фронт в Западной Европе или нет, победа Советского Союза и разгром гитлеровской Германии неминуемы.

Крутое изменение военно-политического положения в Европе было той именно решающей причиной, которая заставила английских и американских противников второго фронта (это были и противники Рузвельта и прогрессивных кругов) пересмотреть свои планы, свою тактику и стратегию. Однако и теперь они вовсе не намеревались начать, наконец, честно воевать с гитлеровской Германией.

Накануне рождества 1943 года (24 декабря) генерал Эйзенхауэр был назначен главнокомандующим союзными войсками, предназначенными для вторжения в Европу.

Начиналась последняя битва между силами реакции и силами демократии за окончательный исход войны. В этой битве на стороне реакции главная роль принадлежала Уоллстриту...

## Под стенами Берлина

В ходе Великой Отечественной войны ряд крупнейших сражений был выигран советскими войсками в результате мастерского применения маневра на окружение и уничтожение крупных неприятельских группировок.

Маневр на окружение вытекал из предельно решительного характера тех задач, которые ставились товарищем Сталиным перед нашими вооружёнными силами.

Цель наступательных операций советских войск состояла не в вытеснении вражеских войск и передвижке на запад линии фронта, а в уничтожении и пленении главных стратегических группировок и техники врага. Такие цели достигались наилучшим образом в результате успешного осуществления операций на окружение.

«Нельзя считать случайностью тот факт,— указывал товарищ Сталин,— что командование Красной Армии не только освобождает от врага советскую землю, но и не выпускает врага живым с нашей земли, осуществляя такие серьёзные операции по окружению и ликвидации вражеских армий, которые могут послужить образцом военного искусства»<sup>1</sup>.

Наступательные операции, завершавшиеся окружением крупных неприятельских группировок, протекали в самых разнообразных условиях. Например, Сталинградская, Яско-Кипинёвская, Корсунь-Шевченковская, Восточно-Прусская операции осуществлялись путём нанесения сильных сходящихся ударов по флангам неприятельских группировок для их окружения. По-иному решалась задача окружения немецких войск в Белоруссии. В начальный период наступления ударами наших войск на Витебском и Бобруйском направлениях первоначально были окружены и разгромлены крупные оперативные группировки немцев. Затем, используя достигнутый успех, стремительно прозвигаясь на запад, наши войска заняли охватывающее положение и по отношению к основной группировке немцев в Белоруссии — Минской — и окружали её. Окру-

жение и последующая ликвидация этой группировки были осуществлены в оперативной глубине противника, на значительном удалении от той линии, по которой проходил фронт перед началом Белорусской операции.

Как показал опыт Великой Отечественной войны, успешное завершение маневра на окружение ещё далеко не означало завершения всей операции: ликвидации окружённой группировки была сопряжена с длительными боями как с ней самой, так и с неприятельскими войсками, пытавшимися ударами извне деблокировать окружённые части.

В битве под Сталинградом окружение 4-й танковой и 6-й немецких армий было завершено 23 ноября 1942 года. До 10 января 1943 года происходили боевые действия, направленные, с одной стороны, к скорейшему продвижению наших войск в Западном и Юго-Западном направлениях. Одновременно шли напряжённые бои с сильной группировкой Манштейна, пытавшейся прорваться к Сталинграду и освободить окружённые немецкие армии.

Только после того, как Манштейн был разбит, наши войска начали генеральную операцию по ликвидации окружённой группировки. Внешний фронт советских войск, наступавших на запад и юго-запад, достиг к этому времени линии Миллерово—Тадинская—Зимовники, в 200—260 километрах от Сталинграда.

Самая ликвидация окружённых армий потребовала 24 дня (с 16 января по 2 февраля 1943 года).

В Корсунь-Шевченковской операции наши войска, завершив окружение неприятельских войск и создав прочный заслон против контратаковавших извне танковых частей немцев, немедленно приступили к ликвидации окружённых войск. Здесь борьба с контратакующими извне войсками шла одновременно с напряжёнными боями по ликвидации окружённых войск противника. Бои продолжались 20 дней (с 28 января по 17 февраля 1944 года).

В Яско-Кипинёвской и Белорусской операциях наши войска, завершив окружение неприятельских группировок, частью сил вели бои по их ликвидации, а основной

<sup>1</sup> И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 85—86. 1944.

массой продолжали стремительное наступление вперед, выполняя поставленные перед ними основные стратегические задачи.

Исключительный интерес представляет Берлинская операция, проведенная 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами и завершившаяся разгром вооруженных сил Германии.

При планировании этой операции необходимо было учесть некоторые особенности обстановки.

Немецкое командование сосредоточило для обороны имперской столицы—Берлина—и подступов к ней основные силы своих войск, действовавших на советско-германском фронте; оно приняло всевозможные меры для заблаговременной и всесторонней подготовки глубокой обороны, чему способствовал весьма трудный для наступления характер местности<sup>1</sup>.

Поражение берлинской группировки немцев, несомненно, влекло за собой окончание войны и поражение гитлеровской Германии. Поэтому следовало ожидать, что в борьбе за Берлин немцы будут оказывать ожесточенное сопротивление, а в крайнем случае постараются выйти из-под наших ударов.

Наши войска были полностью лишены всех тех преимуществ, которые в предыдущих операциях обеспечили им стратегическую внезапность. Немецкое командование, естественно, имело все основания предполагать, что главный удар будет нанесен на Берлинском направлении с плацдарма на западном берегу реки Одер, в районе Кюстрина.

Обстановка требовала, чтобы операция была завершена в кратчайший срок. Великий элемент случайности должен был безусловно исключаться, чтобы противник не смог ни затянуть борьбу, ни уйти из-под наших ударов.

С точки зрения замысла, Берлинская операция отличается от всех предшествовавших наступательных операций Советской Армии тем, что она с самого начала планировалась как операция на одновременное окружение и последующее уничтожение двух крупных оперативных группировок врага, действовавших в районе Берлина и юго-восточное,— главные силы 9-й армии и 4-й танковой армии немцев.

С этой целью правофланговые соединения главной ударной группировки 1-го Белорусского фронта после прорыва неприятельской обороны на реке Одер должны были обходить Берлин с севера и северо-запада. Войска центра и левого фланга

должны были наступать на восточную и юго-восточную окраины Берлина.

Могучая танковая группировка 1-го Украинского фронта должна была, войдя в прорыв, созданный войсками фронта в неприятельской обороне на реке Нейсе, наступать в северном и северо-западном направлениях, причём часть танковых соединений должна была ворваться в Берлин с юга, а часть выйти в район Потсдама и там соединиться с войсками 1-го Белорусского фронта, обходившими Берлин с северо-запада.

Тем самым достигалось окружение всей берлинской группировки противника и её одновременное расчленение. Одна часть её окружалась в районе собственно Берлина, другая — в лесах юго-восточнее германской столицы.

В ходе войны, в зависимости от поставленной цели и обстановки, советским командованием применялись различные формы оперативного маневра — маневр охватывающих ударов, маневр глубокого фронтального, или рассекающего, удара.

В Берлинской операции с блестящим успехом была применена комбинация обоих видов маневра.

Операция развёртывалась в точном соответствии с планом Верховного Главнокомандования.

К 25 апреля после прорыва неприятельской обороны на реках Одер и Нейсе войска правого фланга ударной группировки 1-го Белорусского фронта, обойдя Берлин с севера и северо-запада, установили в районе Потсдама непосредственную связь с танкистами генерала Делюшенко, обошедшими Берлин с юго-запада.

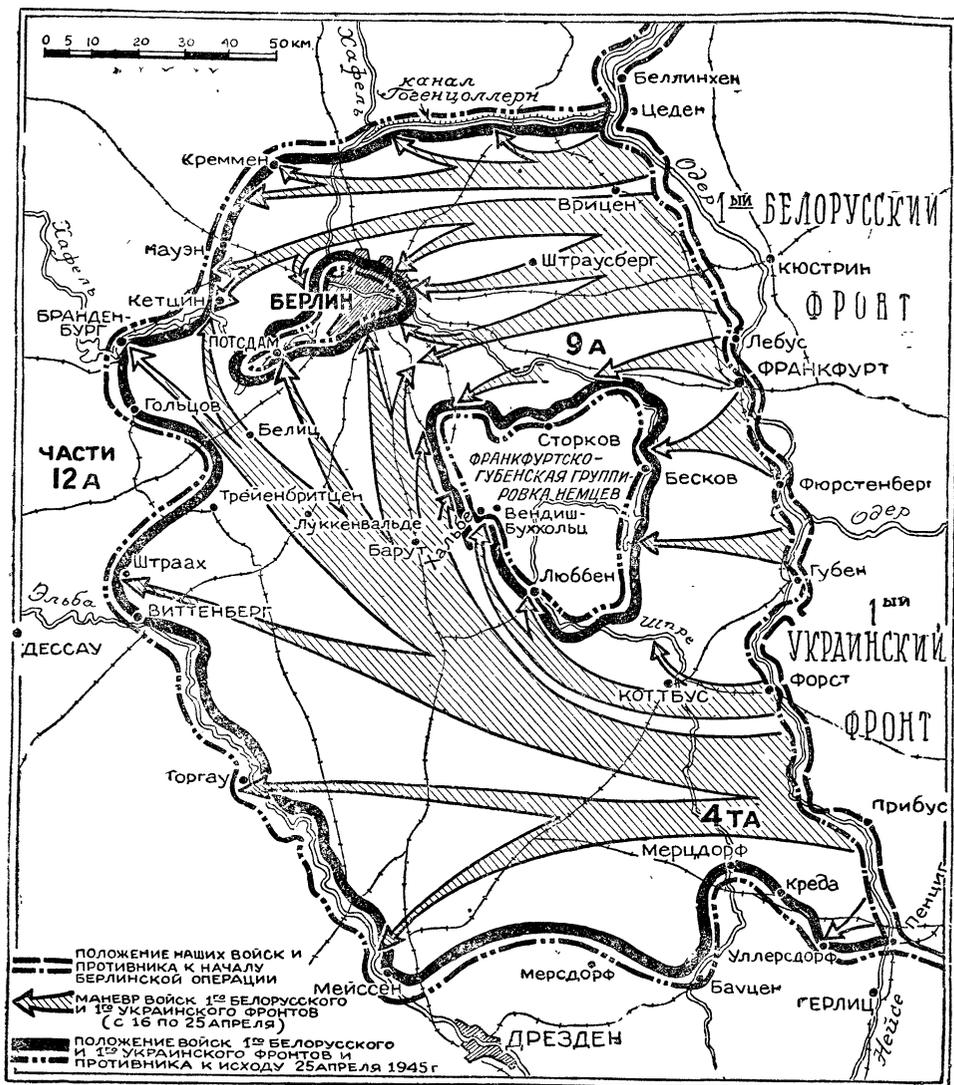
Одновременно на юго-восточной окраине Берлина установили непосредственную связь войска левого фланга главной ударной группировки 1-го Белорусского фронта с танкистами маршала танковых войск Рыбалко. Успешно выполнили свои задачи и остальные войска обоих фронтов.

Так было завершено окружение немецких войск в самом Берлине (собственно берлинской группировки немцев) и в лесисто-озёрном районе юго-восточнее Берлина—основных сил 9-й немецкой армии, так называемой франкфуртско-губенской группировки.

Образовались два замкнутых кольца. Удаление внешнего фронта от окружённых группировок колебалось от 20 до 80 километров.

В дальнейшем мы постараемся вкратце изложить ход борьбы с франкфуртско-губенской группировкой немцев и на этом примере показать, что без такого характера требуют от командования и войск высокого мастерства, мобильности, стойкости и умения быстро реагировать на все по-

<sup>1</sup> Подробно эта сторона Берлинской операции была нами освещена в статье «Последнее крупное сражение Великой Отечественной войны». «Октябрь» № 6 за 1946 год.



пытки врага тем или иным путём вырваться из окружения.

Франкфуртско-губенская группировка состояла из 15 дивизий и ряда отдельных частей и учреждений, входивших в состав 11-го танкового корпуса СС, 5-го горнострелкового корпуса СС и 5-го армейского корпуса. Общая численность её достигала 200 тысяч человек. Немецкие войска стремились во что бы то ни стало прорваться из окружения и уйти в западном направлении с целью соединения с войсками 12-й немецкой армии, действовавшими юго-западнее Берлина. Именно такую задачу поставил Гитлер этой группировке приказом от 25 апреля.

Прорвавшись из окружения, немецкие войска вышли бы на тылы наших войск, завязавших упорные бои на южной окраине Берлина.

Поэтому первая задача нашего командо-

вания состояла в том, чтобы не допустить прорыва окружённых войск и соединения их с немецкими войсками, окружёнными в самом Берлине. С этой целью командованием обоих фронтов ввело в дело крупные соединения из резерва для усиления блокады окружённой группировки и её скорейшего разгрома.

Особое внимание было обращено на подготовку устойчивой обороны на направлении Вендиш — Бухольц, Луккенвальде с целью воспрепятствовать прорыву немцев на запад.

Здесь было создано три линии обороны.

Нашим войскам было приказано перехватить все лесные дороги, ведущие на запад; вдоль автостреды Коттбус — Берлин создать опорные пункты, усилить это направление артиллерией, подтянуть танковые и танко-истребительные артиллерийские части.

Остальные войска обоих фронтов, действовавшие против франкфуртско-губенской группировки, развернули концентрическое наступление с севера, востока и юго-востока с целью рассечения группировки на части и её ликвидации.

26 апреля войска противника сделали первую попытку прорваться из окружения. В ночь на 26 апреля немецкое командование создало в районе Хальбе сильную группировку в составе 6 дивизий, в том числе 2 танковых. В 8 часов 26 апреля эта группировка перешла в наступление. Ей удалось прорваться и выйти в район леса северо-восточнее Барут.

Наше командование, используя заранее сосредоточенные на этом направлении резервы, нанесло по прорвавшейся группировке ряд концентрических ударов с севера и с юга. В результате боёв, шедших в течение второй половины дня 26 апреля и в ночь на 27 апреля, прорвавшиеся части были зажаты в лесу северо-восточнее Барут и в значительной мере уничтожены. Только пленными наши войска захватили 5 тысяч человек и кроме того 40 танков, более 180 орудий и миномётов.

В течение 27 апреля наши войска отражали ещё несколько попыток прорыва. Кроме того были окончательно ликвидированы немецкие войска в лесу северо-восточнее Барут. Здесь было взято ещё 6200 плен-ных, 47 танков, 25 бронетранспортёров, более 180 орудий и миномётов.

Выполняя приказ Гитлера, соединения 12-й немецкой армии, снятые с Западного фронта, пытались прорваться на восток для соединения с окружённой группировкой. Ещё 25 апреля они начали ожесточённые атаки против наших войск, образовавших внешний фронт на участке Белиц—Трейен-бритцен; в районе Белиц немцам удалось незначительно потеснить наши части к северо-востоку.

28 апреля немцы возобновили попытки прорыва, бросая в бой отряды пехоты, танков и артиллерии. Однако ни одна из этих попыток успехом не увенчалась.

В боих за этот день окружённые немецкие войска потеряли ещё 3 тысячи солдат и офицеров пленными, 15 танков и 68 орудий.

Опасаясь, что окружённая группировка будет окончательно разгромлена, немецкое командование решило предпринять в ночь на 29 апреля последнюю, решительную попытку прорыва.

В захваченном нами приказе по 5-му армейскому корпусу говорилось:

«Сегодня ночью начать прорыв на запад... в общем направлении на Белиц. Бой вести боевыми группами под командованием решительных командиров. Кроме танков и машин с рациями никаких других машин с собой не брать».

Наступление немцев началось в 1 час ночи на 29 апреля атакой группы в составе 10 тысяч человек с 35—40 танками.

К рассвету после ожесточённого ночного боя немцам удалось прорвать фронт наших частей на узком участке в районе Хальбе, выйти в лес Штатсфорст—Штаков и перерезать здесь автостраду.

Дальнейшее продвижение немцев было остановлено нашими подошедшими резервами.

Во второй половине дня немецкая группировка численностью до 45 тысяч человек возобновила атаку и вновь прорвала наш фронт на двухкилометровом участке в районе Мюккендорф.

Используя эту брешь, немцы, несмотря на сильный артиллерийский и миномётный огонь с севера и с юга, начали мелкими группами, а затем и отдельными колоннами прорываться в восточную часть леса Штатсфорст—Куммерсдорф.

Наше командование сумело вновь потянуть резервы и к исходу дня остановить немцев на рубеже Куммерсдорф—Шперенберг.

В результате боёв 29 апреля в районе операций сложилась весьма своеобразная обстановка.

Головным прорвавшимся частям удалось в общей сложности продвинуться на запад на 24 километра.

Однако в результате контратак наших частей (с севера и юга) сильно растянувшаяся на запад немецкая группировка приняла форму узкой «кишки», шириной не более 6 километров.

Наши войска не позволили противнику расширить горловину прорыва в районе Хальбе и Мюккендорф.

К концу дня, по существу, образовалось три узких мотка, в которых оказавшись зажатой вся франкфуртско-губенская группировка: первый — в районе Вендиц—Буххольц, второй — в районе леса Штатсфорст—Штаков и третий — в районе леса Штатсфорст—Куммерсдорф.

Одновременно с прорывом франкфуртско-губенской группировки на запад немецкое командование 29 апреля предприняло новую попытку прорыва внешнего фронта наших войск — на участке Белиц—Шпемг—ударами 12-й армии. Цель состояла в том, чтобы соединиться в районе Луккенвальде с франкфуртско-губенской группировкой.

Однако и эта попытка не удалась. К исходу дня наши части отбили все атаки и продолжали удерживать прежний рубеж. Расстояние между передовыми частями прорывавшейся на запад группировки и частями 12-й армии достигало к исходу дня 30 километров.

В ночь на 30 апреля командование

1-го Украинского фронта приняло меры для окончательной ликвидации окружённых немецких войск. Были подтянуты новые резервы и перегруппированы те силы, которые уже вели бои в этом районе. План действий был построен на том, чтобы концентрическими ударами с севера и юга расчленил немецкую группировку на части и по частям ликвидировать, чему способствовало её растянутое положение.

Немецкое командование, не считаясь с громадными потерями, решило, в свою очередь, 30 апреля продолжать пробиваться остатками своих войск на запад.

В течение 30 апреля в районе лесов Штатфорст — Штаков и Штатфорст — Куммерсдорф — Шёневейде и западнее продолжались ожесточённые бои.

Сосредоточив на рубеже Шперверберг — Куммерсдорф компактную группу войск и добившись здесь значительного численного превосходства, немцы, сбив находившиеся перед ними части, продвинулись ещё на 10 километров к западу и вышли передовыми частями в район Вольтерсдорф (севернее Луккенвальде).

Немецкая группировка растянулась на 35 километров.

В это время начались общие атаки наших войск по всему фронту «котла». В первой половине дня были полностью ликвидированы немецкие войска, зажатые в районе Вендиш — Буххольц. Тем самым был «отрублен хвост» всей окружённой группировки. К концу дня были раздроблены на изолированные части немецкие войска, зажатые в лесах Штатфорст — Штаков и Штатфорст — Куммерсдорф и по частям уничтожены или взяты в плен. В ходе боёв 30 апреля было захвачено свыше 24 тысяч пленных.

Отдельные немецкие части, прорвавшиеся в район севернее и северо-западнее Луккенвальде ещё в течение 1 мая, пытались пробиться в районе Белиц для соединения с частями 12-й армии. К исходу 1 мая эти части были также полностью уничтожены. На поле боя в районе севернее и северо-западнее Луккенвальде немцы оставили только убитыми 10 тысяч человек. В плен было взято около 18 тысяч солдат и офицеров.

Франкфуртско-губенская группировка немцев прекратила своё существование. Она была полностью ликвидирована нашими войсками. Только в плен было взято 120 тысяч человек. В числе пленных оказалось 7 генералов, в том числе и заместитель командующего 9-й немецкой армией генерал-лейтенант Бернгард. Кроме того наши войска захватили 304 танка и штурмовых орудия, более 1500 полевых ору-

дий, 17 600 автомашин и много другого военного имущества.

Величина окружённой группировки обусловила значительную продолжительность всей операции — около 6 дней. Потребовалось привлечение большого количества войск, а на отдельных этапах боёв — также большей части авиации 1-го Украинского фронта.

Опыт этих боёв позволяет сделать несколько интересных выводов.

Был подтверждён опыт предыдущих операций в том отношении, что ликвидация окружённой группировки может потребовать весьма напряжённых боёв и продолжаться в течение длительного промежутка времени.

Борьба с франкфуртско-губенской группировкой (и её ликвидация) продолжалась 10 суток, считая с момента осуществления её оперативного окружения, т. е. с 22 апреля до 1 мая.

Операция такого рода обычно требует значительного количества сил и средств, причём силы, участвующие в завершении окружения, могут оказаться недостаточными для ликвидации окружённой группировки; требуется ввод в действие значительных резервов.

Манёвр на расчленение окружённой группировки, обычно применяемый для её скорейшей ликвидации, может не дать сразу требуемого эффекта. Окружённые войска противника, отходя под ударами наступающего, скорее идут на предельное сжатие кольца, чем позволяют расчленивать себя, и стремятся во что бы то ни стало прорваться из окружения, не останавливаясь перед тяжчайшими потерями.

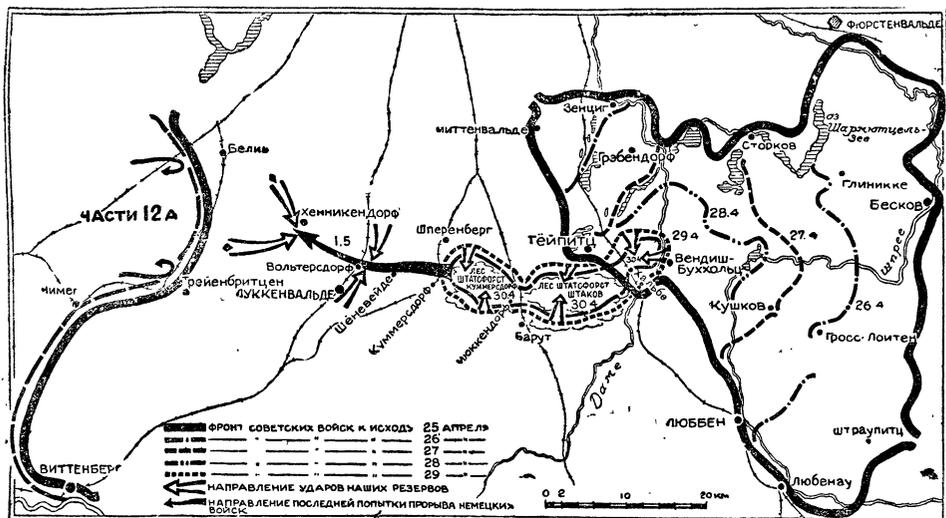
Несмотря на создание сравнительно плотного кольца окружения, возможность прорыва неприятельских войск никогда не исключается.

Противник играет «ва-банк» и решается на прорыв в таких условиях, в каких в обычной обстановке он никогда бы не рискнул перейти в наступление.

Компактное расположение окружённых войск на сравнительно ограниченной площади позволяет им быстро произвести необходимые перегруппировки и создавать на нужном направлении сильные ударные «кулаки», численное превосходство на узких участках, намеченных для прорыва.

Лесные массивы в районе окружения франкфуртско-губенской группировки позволяли все перегруппировки производить скрытно от наблюдения нашей авиации.

Мастерское использование командованием 1-го Украинского фронта имевшихся резервов и высокая их маневренность поме-



пали немецкой группировке свободу действий; в конце концов она оказалась зажатой в трёх «котлах» и лишённой всякой свободы маневра.

Опыт как этой, так и всех предшествовавших операций показал исключительную важность своевременного создания устойчивого внешнего фронта, удалённого на достаточное расстояние от района окружения.

Если бы войска 1-го Украинского фронта, действовавшие на участке Белиц — Трейенбритцен, не смогли противостоять натиску 12-й армии немцев и частям последней удалось бы прорваться в район Луккенвальде, обстановка южнее Берлина для наших войск в значительной степени осложнилась бы. В случае объединения прорывавшихся из окружения немецких войск с 12-й армией все наши части, действовавшие на южной окраине Берлина, оказались бы отрезанными от своих тылов.

Большую роль в уничтожении окружённой группировки сыграла наша артиллерия, в особенности в период борьбы с прорывавшимися на запад неприятельскими войсками.

Ведя огонь прямой наводкой по густым прорывавшимся немецким колоннам, наша артиллерия наносила врагу тяжчайшие потери.

Крупную роль сыграли также наши подвижные войска — танковые и механизированные части и самоходная артиллерия.

В боях 26 апреля в результате своевременного удара крупного танкового соединения был закрыт прорыв, образовавшийся в районе Хальбе, и восстановлено сплошное кольцо окружения в районе Вендиш-Буххольц.

Крупная группировка немцев, прорывавшаяся 1 мая в районе северо-западнее Лук-

кенвальде, была разгромлена в результате быстрого выхода в этот район и стремительных ударов танковых частей генерала Лелюшенко.

В истреблении живой силы и техники окружённых войск активное участие принимала авиация обоих фронтов, наносившая массированные удары по врагу. За время боёв, приведших к ликвидации франкфуртско-губенской группировки, только авиация 1-го Украинского фронта сделала 2459 штурмовых и 1683 бомбардировочных самолётных вылета.

В совершенно иных условиях осуществлялась ликвидация немецкой группировки, окружённой непосредственно в районе Берлина.

В отличие от франкфуртско-губенской эта группировка должна была не прорываться из окружения, а до последней крайности удерживать обороняемый ею Берлин.

Подробное изложение хода боёв за Берлин не входит в задачу нашей статьи. Мы ограничимся отдельными замечаниями.

Немецкие войска, окружённые в районе Берлина, представляли тоже очень крупную группировку и насчитывали в своём составе несколько тысяч орудий и большое количество танков.

Для борьбы с берлинской группировкой были использованы главные силы 1-го Белорусского фронта и большая часть авиации последнего, а также значительные силы 1-го Украинского фронта.

Опытом борьбы за Берлин ещё раз подтвердилось выявившееся в ходе войны положение, что большие населённые пункты обладают весьма большой оперативной ёмкостью. Как для их обороны, так и для

штурма требуется большое количество войск и боевой техники.

Операция по овладению Берлином и ликвидации окружённой в нём группировки была завершена в течение 10 дней, несмотря на исключительно своеобразные и тяжёлые условия борьбы.

Несомненно, задача штурма Берлина и уничтожения оборонявшей его группировки была значительно облегчена тем, что к началу решающих боёв за город наши войска имели решающее превосходство в силах над противником.

Превосходство это было достигнуто после того, как в ходе боёв на Одерском оборонительном рубеже и на подступах к Берлину были разгромлены все неприятельские войска, оборонявшие этот рубеж, и их оперативные резервы, а также многие части берлинского гарнизона, выдвинутые немецким командованием для усиления обороны подступов к городу.

Кроме того в результате успешно завершённого нашими войсками маневра немецкое командование не смогло использовать для обороны города главных сил 9-й армии, окружённой юго-восточнее Берлина.

Для боёв в Берлине нашим командованием было сосредоточено громадное количество боевой техники и в первую очередь артиллерии, которая, несомненно, сыграла крупнейшую роль в штурме города.

Особенно важно подчеркнуть, что в составе нашей артиллерии имелось большое количество тяжёлых орудий крупных калибров, которые своим огнём как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, действуя в составе штурмовых групп и отрядов, прокладывали дорогу пехоте и танкам.

Исключительно важное значение имело то обстоятельство, что к началу штурма Берлина нашими войсками был накоплен громадный опыт борьбы за крупные населённые пункты.

Усилия наших войск, обложивших Берлин и приступивших к его штурму, не рассредоточились равномерно по всему периметру города, а группировались на определённых направлениях. По городу и окружённой в нём группировке наносилось несколько концентрических ударов с севера, востока и юга. Это привело к тому, что к концу апреля немецкий гарнизон оказался расчленённым на 3 группы, зажатые в восточной, центральной и западной частях города, причём связь между ними могла поддерживаться лишь по узким «коридорам», шириной в несколько сот метров. Естественно, что боевая деятельность неприятельских войск была в таких условиях весьма ограничена.

При штурме Берлина с самого начала были найдены правильные методы построения боевых порядков и использования всех родов оружия в виде организации штурмовых отрядов и групп. Последние явились наилучшей формой организации взаимодействия всех родов войск в сложной обстановке уличных боёв.

Наконец, следует отметить, что значительную роль в ускорении ликвидации берлинского гарнизона сыграла также непроницаемая воздушная блокада города, организованная нашей авиацией, лишившая немцев возможности использовать свою авиацию для подброски резервов и боеприпасов берлинскому гарнизону.

## На дальних трассах

Очерк

1

Точно по расписанию самолёты поднялись в воздух. Лётчики доносили: видимость хорошая, идём без отклонений.

Самолёты идут на Берлин, Вену, Лигниц, Будапешт... Самолёты соединения дальней авиации.

В году 365 дней. Столько же лётных дней значится и в штабном журнале авиасоединения. Шесть миллионов километров налетали его самолёты по дальним трассам без единой аварии.

Они поднимаются в воздух в любую погоду, в любое время года. В метель и туман, в снегопад и грозу, в бурю и дождь.

Базовый аэродром. В небольшой комнатке — на метеорологической станции — синоптики следят за погодой. На командном пункте не отходит от аппаратов оперативный дежурный. Сам генерал, загружённый обычной работой по управлению дивизией, следит за работой экипажей.

Генерал только что приехал в штаб. Ему положили:

— С «Кристалла» доносят: ветер полтора метра в секунду.

-- Шесть, — сказал генерал.

Дежурный смутился:

— Передавали полтора...

Он не договорил: из аппаратной принесли новое сообщение:

«Я «Кристалл», я «Кристалл», вкралась ошибка. Ветер не полтора, а шесть, ветер не полтора, а шесть».

Прямая микрофонная связь продолжается. Базовая станция перешла на приём данных с промежуточных и конечных аэродромов трассы. «Уран» передает:

— Ясно, с присутствием облаков высоких и средних форм до пяти — семи баллов, слабые дымки при видимости четыре — десять километров, ветер западный, северо-западный три — пять метров в секунду, температура — 4°.

Радируют с «Кристалла»:

— Облачность — пять — девять баллов, двухслойная, высота — сто метров, слабая дымка, видимость два километра, пониженные видимости до полутора километров, ветер северо-западный, четыре — семь метров в секунду, температура — от 0 до + 3.

Сведения о погоде передают «Тополь», «Весна», «Коршун» и другие станции.

Сводки изучены, проанализированы. Теперь в штабе точно известно положение на любом километре трассы.

Анализ погоды передаётся самолётам. Радица входит в связь с экипажами. В воздухе больше двадцати самолётов. Но за несколько минут каждый из них, приняв метеорологическую сводку, уже уточняет и доносит на «Рубин».

— Я Шульженко, — сообщают с одного корабля, — в одиннадцать часов двадцать шесть минут прошёл пункт 120, высота полёта — семь тысяч двести футов. Путевая скорость — триста тридцать пять километров в час, иду над облаками.

С другого корабля передают:

— Я, Трифонов, в одиннадцать часов тридцать минут прошёл пункт 203, высота — шестьсот метров, скорость — двести пятнадцать километров.

Майор Щербатенко радирует в одиннадцать часов тридцать пять минут:

— Прошёл пункт 198, высота — четыре тысячи метров, скорость — двести тридцать пять километров.

И так со всех кораблей. Наилучшая скорость у Шульженко. Генерал отдаёт распоряжение:

— Идти на высоте семь тысяч двести футов.

С «Рубина» вновь летят радиограммы:

— Всем держаться высоты Шульженко, лететь над облаками, там наилучшая скорость.

Подняв корабли на выгодную высоту, генерал занялся обычными делами, принимал командиров с рапортами, начальника штаба, подписывал бумаги, давал советы, указания.

Вдруг раздался пастойчивый телефонный звонок. Дежурный старший лейтенант Акшевский донёс о потере связи с одним самолётом.

Генерал склонился над бумагами. Через минуту дежурный шёл в кабинет:

— Связи всё ещё нет.

Генерал спокойно листал бумаги.

— Садитесь, — наконец разрешил он.

И подал стакан воды.

— Что это с вами? — укоризненно покачал он головой. — Сколько часов вы спали перед дежурством?

— Пять часов, — ответил старший лейтенант.

— Пойдёте под арест.

Дежурный готов был сейчас пойти на всё, лишь бы быстрее получить в руки ускользнувшую нить управления. В эти минуты для него ничего не существовало, он думал об исчезнувшем самолёте, о людях, которым, может быть, нужна немедленная помощь с земли.

Между тем генерал продолжал листать бумаги.

— Со всеми станциями связался? — спросил он.

— Так точно.

— Со всеми экипажами установили связь?

— Да, все средства исчерпаны.

Генерал встал:

— Все ли?

Тем временем пропавший самолёт шёл в гуще облаков. Долгое время экипаж определял своё расчётное место только по времени и скорости полёта. Получив приказ подняться над облаками, он стал набирать высоту. Сразу это не удалось. Командир корабля старший лейтенант Сухарев решил: поискать наиболее тонкий слой. Однако и в другом месте толща облаков прочно держала машину. Самолёт метнулся в сторону — результат тот же. Началось обледенение. Нужно было немедленно выходить из облаков, но выхода не было. Экипаж утратил связь с базой.

— Неужели не разыщут? — спросил командира пилот.

Стараясь ничем не обнаружить волнение, командир спокойно сказал:

— Найдут.

Но про себя подумал: «На командном ли пункте генерал?»

Да, генерал был на командном пункте. Прервав разговор с дежурным, он лично взялся за управление. Приказал всем станциям продолжать работу, всем машинам установить двухстороннюю связь. Казалось невозможным, чтобы двадцать экипажей могли доносить о себе через каждые три — четыре минуты, одновременно поддерживая

такую же скорую связь между собой. Но это стало возможным.

Услышав голос генерала, на самолётах поняли: именно сейчас особенно важны немногословность, чёткость. Экономия времени совершила невозможное. Вместо сорока-пятидесяти минут, требуемых для полной взаимной связи, операция завершилась в десять минут.

На исходе десятой минуты с корабля, шедшего на параллельной трассе, донесли:

— Установил связь с Сухаревым.

— Держать связь, — приказал генерал.

А ещё через несколько минут он уже говорил с Сухаревым.

— Самолёт обледенел, — доносил командир корабля, — пробиться за облака невозможно. Разрешите изменить курс.

— Не советую. Пробиться в пункте триста пятьдесят.

Вскоре Сухарев радировал:

— Пробился в пункте триста пятьдесят.

Дежурный, присутствовавший при операции, неотрывно смотрел на генерала:

— Как же вы могли узнать, где и какая толща облаков?

Генерал опустил в кресло:

— Надо внимательно читать погоду.

Остаток дня старший лейтенант неотлучно находился у аппаратов. И хотя всё шло благополучно и первые самолёты завершали свой рейс далеко от родной земли, а экипажи, возвращавшиеся домой, подходили к базе, он и все окружавшие его были настроены.

Погода, менявшаяся в течение дня, к концу рейсов вновь установилась. Тем не менее дежурный распорядился выдвинуть передвижную приводную радиостанцию.

И очень кстати. Перед самой посадкой над аэродромом прошла волна тумана. В короткое время она совершенно закрыла, как здесь говорят, «ворота в дом».

Самолёты уже подходили к аэродрому.

Ярко вспыхнули маяки. Однако их не было видно с воздуха. По позывные рации отлично слышны.

Урок, преподанный дежурному генералом, не прошёл даром.

Один за другим самолёты совершили полуслепую посадку.

А когда всё улеглось и утихло, когда минул рабочий день и лётчики собрались в столовой, кто-то вспомнил про Акшевского.

— Молодец он! — похвалили сразу несколько человек.

— Где он? Пригласить бы его на обед.

С конца стола крикнули:

— Бесполезно, Акшевский спит.

— Как! — воскликнули все разом. — Спит, с вечера?

— Так приказал генерал.

— Тогда всё ясно, — согласился Салов. — Тогда правильно.

2

Генерал принял нас в своём кабинете. Он сидел за столом, обитым слегка потёртым плюшем. Слева под рукой — приборы, справа — книги. Несколько телефонных аппаратов. У стены 2—3 стула и диван.

Простота и скромность хозяина располагают к беседе.

— Как добились успеха? — говорит Никола Алексеевич. — Обильно. Летает каждый день. В любое время года.

Для генерала, для командиров полков, командиров эскадрилий гг. Зброва, Космульского, Щербатенко, Храмова, Моисеева, Трифонова, для лётчиков и штурманов — для всех мастеров дальних перелётов, непрерывные полёты в течение всего года стали действительно обычным, будничным делом. Однако история авиации не знает подобного примера.

И до сих пор у нас и за рубежом практиковались перелёты по дальним трассам без посадок. Но то были перелёты единиц или отдельных групп. Такие перелёты обычно специально подготавливались и носили экспериментальный характер. И кто знает, как долго ещё продолжались бы эти эксперименты, если бы не нашлись люди с ясным умом, смелым взглядом вперёд, с сильной волей, люди, верующие в могущество техники и умеющие взять от неё всё! Такие люди нашлись.

То, что ещё вчера было доступно лишь самым выдающимся, самым талантливым мастерам воздуха, стало массовым явлением. Лётчики соединения дальней авиации открыли в истории не только нашей отечественной, а и мировой авиации новую блестящую страницу.

Успеху предшествовал богатый опыт как отдельных лётчиков, так и соединения в целом. Многие из авиаторов и в предвоенные годы прошли выучку в военном и гражданском воздушном флотах, но подлинной школой для них явилась Великая Отечественная война.

Дивизия, сформированная в самую трудную пору — в дни, когда от каждого воина требовалось напряжение всех сил, — показала себя боевой единицей, её личный состав — истинными сынами своей отчизны.

За два года войны лётчики соединения налетали двадцать восемь миллионов километров. Они пробыли в воздухе сто две тысячи часов — одиннадцать лет, девять месяцев и двадцать дней.

Лётчики побывали в осаждённом Ленинграде, в городах-героях — Сталинграде, Одессе, Севастополе. Были в Мурманске, в

городах Урала. Летали в Австрию и Германию, в Румынию и Польшу, в Чехословакию и Югославию. Их самолёты летали и на Восток: на Камчатку, Курильские острова, Южный Сахалин, в Мукден, Порт-Артур. Вот далеко не полный перечень городов, в которых они побывали.

Соединение доставило на различные фронты тысячи боевых самолётов. При этом в самых трудных условиях, в сложной обстановке лётчики покрывали от трёх до пяти тысяч километров в день. Они доставляли, кроме оружия и боеприпасов, питание, одежду, литературу, всё без чего солдат не может идти в бой. Не было такого фронта, где бы не знали лётчиков соединения, о их мужестве, бесстрашии, умении всюду и всегда вовремя прийти на помощь тем, кто в ней нуждался больше всего.

...По заданию Ставки Верховного Командования нужно было нанести массированный удар по противнику с воздуха. У лётчиков было всё: бомбы, горючее, оружие, но не было масла. База ещё находилась за несколько сот километров. Главный маршал авиации тов. Голованов спросил:

— Можете доставить на своих самолётах масло? Это очень важно.

— Раз важно, то и возможно, — ответил главному маршалу генерал Захаров.

Через десять — пятнадцать минут самолёты поднялись в воздух. Лётчики сами погрузили масло и доставили его точно в срок.

Приказ Ставки был выполнен.

...Н-ское танковое соединение пятый день держало особо важный рубеж у стен Ленинграда. Оно совершило уже десятки контратак. Но в баках машин кончалось горючее. Его запас измерялся двумя — тремя контратаками. Горючее можно было доставить только по воздуху. Горючее было нужно именно сегодня.

В тот день бушевала пурга. Но не это смущало генерала Захарова, получившего приказ доставить горючее танкистам. В пургу его лётчики уже летали. Новым в перелёте было самое расстояние. Впервые предстояло покрыть тысячекilометровый путь без посадок.

— Невозможный перелёт, — сказал кто-то из группы штабных работников.

Лётчики молчали. Они ждали, что скажет генерал.

А генерал стоял у карты, думал.

— Там решается судьба города Ленина, — сказал он. — Значит...

— Лечу, — ответил капитан Кононенко.

Генерал пристально посмотрел на лётчика, глаза их встретились. Нет, сейчас речь шла не о том, лететь или не лететь. Лететь,

конечно. Речь шла о том, кому доверить выполнение боевой задачи.

— Смогу, — подтвердил капитан Кононенко.

Он сказал это всем сердцем. И генерал поверил. Генерал смотрел дальше одного полёта, он понял в это мгновение: именно такой перелёт наконец должен превратить его мечту в действительность. Мечту о массовых перелётах по дальним трассам в любую погоду.

Мечта о дальних перелётах, которые рано или поздно должны и замкнуться вокруг земного шара, могла родиться только у большесвикя, непрерывно работающего над открытием нового, всегда и во всём идущего вперёд.

...Никита Алексеевич Захаров рос в Донбассе. Тут он начал познавать жизнь. И первым учителем был отец. Памятен день, когда отец привёл его на Дружковский завод.

— Держись ближе к товарищам, — наказал отец прощаясь, — выбирай их осматрительно.

И токарь Никита Захаров ближе сходился с теми, кто оказывался пытливей ко всему. Таким был рабочий соседнего цеха, занимавшийся в свободное время переплётном книг.

— Научите, — попросил Никита товарища.

Тот научил. За это время Никита начал читать с разбором, по-настоящему. Книжки открывали юноше глаза на мир.

Он искал теперь уже не одиночек-учителей, а такой коллектив, который мог бы воспитать из него человека. Токать Никита Захаров вступил в комсомол.

С путёвкой комсомольского комитета он пошёл в губернскую партийную школу.

В годы, когда партия направляла лучших людей в деревню, Никита Алексеевич, уже прошедший немалый жизненный путь, получивший партийную закалку, получил ответственный пост секретаря райкома партии.

Он взялся за организацию первой в области машинно-тракторной станции.

В деревне не было механизаторов. Кадры надо было вырастить на месте.

Кропотливое воспитание людей, умение привить им любовь к технике позволили в короткое время организовать образцовую станцию.

...Генерал оторвался от воспоминаний. Перед ним стояли подтянутые боевые лётчики: Щербатенко, Волков, Зебров, Гордеев, Макаров, Горшков, Сатов. Их объединяло одно желание — творчески приложить свои силы. Они искали лишь человека, ко-

торый бы мог повести их вперёд, захотел бы помочь им.

Лётчики нашли такого командира. Они знали о генерале Захарове как о талантливом инженере. После окончания авиационного института тов. Захаров был направлен на работу в Гражданский воздушный флот, здесь он выдвинулся своей смелостью, находчивостью, прославился своими исканиями, стремлением к новому.

Лётчики соединения могли бы назвать десятки самолётов, в которых проявлялась смелость Никиты Алексеевича.

Вот один из них. Летели среди гор. Порывом сильного ветра машину сбросило вниз. Она падала со скоростью четырёхста пятьдесят километров в час. Машину тянуло к скалистым горам.

А ветер рвал, ревел. Сила его измерялась тридцатью пятью — сорока метрами в секунду.

Вот такой силой самолёт был сброшен вниз до пятисот—шестисот метров. Внутри самолёта всё перевернулось. В первое мгновение Никите Алексеевичу показалось: отлетели плоскости. Но, к удивлению, они оказались на месте.

«Тогда хвост...» — мелькнула мысль. Но прочность машины выдержала всё. — Убирай газ! — крикнул Никита Алексеевич лётчику.

Сам же немедленно выпустил шасси. Погасив скорость, машину удалось взять в руки.

Всё это совершилось стремительно. Нужны действительно большой опыт, воля, чтобы не растеряться в такое мгновение. Никита Алексеевич не растерялся.

Таким знали лётчики генерала, идя к нему на влучку. Наиболее неутомимых генерал охотно брал к себе. С ним он и решил осуществить задуманное.

И теперь вот... Генерал ещё раз осмотрел своих питомцев, пожал руку капитану Кононенко.

Да, именно теперь пора это сделать. Капитан Кононенко и несколько других опытных лётчиков были снаряжены в рискованный рейс.

Самолёты ушли, а через несколько часов после их вылета на столе у генерала лежала радиопрограмма:

«Бойцы моей дивизии преклоняются перед неслыханным мастерством и мужеством ваших лётчиков. Великое спасибо вам, генерал, воспитавший таких витязей воздуха. Командир танковой дивизии (подпись)».

Генерал Захаров, волнуясь, нетерпеливо спросил у дежурного:

— А ещё? Почему нет другой?

— Сейчас расшифровывают, товарищ генерал.

Генерал кинулся на командный пункт. Здесь записывали: «Отбили три атаки немцев. Успешно. Переходим в контрнаступление. Враг не пройдёт...»

### 3

Война окончилась.

В мирных условиях изменился характер службы соединения.

В один из дней генерал был вызван в штаб высшего командования. Он получил там новое задание: обеспечить доставку газет и журналов советским войскам, несущим службу вдалеке от Родины.

— Вы мастера летать по дальним трассам, — сказали генералу, — вам и карты в руки.

Однако организация массовых перелётов на дальние расстояния без посадок и невзирая на погоду требовала большой подготовки. Нужны по крайней мере месяцы упорных тренировок.

Прошёл день, другой, третий. Генерал не появлялся. Он готовил расчёты, строил планы, думал. Дальние маршруты проходят через большие районы плохой погоды, на пути встречаются не только низкая облачность, но и сплошные снегопады, метели с явлениями инверсий, вызывающими обледенение самолётов.

Что же нужно, чтобы преодолеть всё это? В расчётах генерала было записано: «1. Специальный отбор экипажей.

2. Выработка определённых навыков в самолётовождении.

3. Владеть инструментальной навигацией.

4. Оборудовать аэродромы».

Началась тренировка к массовым перелётам, к шторму туманов, обледенений, грозных фронтов.

Из старейших авиаторов было укомплектовано несколько экипажей, и всё же их не хватало. Тогда к опытным мастерам прикрепили молодых. Весь личный состав сдал специальные зачёты на знание материальной части, воздушной навигации, аэродинамики, радиосвязи, метеорологии. Тренировки носили напряжённый характер. Большое внимание было уделено подготовке командного состава. Они должны были освоить: точный выход на приводные радиостанции аэродромов других соединений в облаках и ночью, выход на цель после «потери» ориентировки, слепую посадку на базовый аэродром днём и ночью и т. д.

Одновременно шла подготовка всех экипажей. Во время первых же полётов, например, кроме командира корабля, второго лётчика, штурмана, радиста и механика, на борт были посажены второй командир, второй штурман, а иногда и

второй радист. Тренировка занимала не менее пяти — шести часов в сутки.

В эти дни генерал почти не смыкал глаз. Нужно было не просто научить людей, но и узнать каждого — от командира корабля до радиста.

Как-то генералу донесли: молодой командир корабля Волкодаев недостаточно оценивает опасность обледенений.

— Вы, что же, не верите в опасность обледенений? — спросил его генерал.

— Верю, — ответил Волкодаев и слегка запнулся, — Обледенение, — конечно, большая помеха, да ведь у нас приборы...

Волкодаев, разумеется, не мог не знать, что механическое оборудование, установленное на передней кромке плоскостей, стабилизатора и киля, не может считаться надёжным средством в борьбе с интенсивным обледенением.

— А есть ли опасность обледенения стёкол пилотской кабины?

— Конечно, — подтвердил лётчик.

— Так почему же вы так незаконно расходуете спирт? — удивился генерал. — Он ваше спасение.

Волкодаев молчал. Генерал повторил вопрос. Но лётчик всё не решался заговорить. Наконец он спросил:

— Вы знаете, товарищ генерал, лётчика Макарова?

— Ещё бы! Отличный лётчик. И спирт пилит. Да, он, как никто другой, надеется на это вспомогательное средство, — генерал испытующе посмотрел на Волкодаева: — Но к чему вы об этом расспрашиваете?

— А к тому, — проговорил Волкодаев, — что зря Макаров так слепо верит в спирт: это — ненадёжное средство.

— Как?! — генерал привстал, прошёлся по кабинету: — Что вы ещё скажете о лётчике Макарове?

— Да что сказать, — подумав, сказал Волкодаев, — помните, как он летал в Берлин?

Генерал ещё больше насторожился. Поощрённый вниманием, Волкодаев продолжал уже с жаром:

— Помните, как он в районе Орши испытал обледенение всех степеней. Нарастание льда тогда у него доходило до пятнадцати сантиметров.

Командир дивизии и рядовой лётчик, вспомнив этот случай, вновь представили себе, какая тогда началась тряска моторов у Макарова, как он терял управление самолётом.

— Действительно, и спирт ему тогда не помог, — согласился генерал.

— Вот и я о том же, — обрадовался Волкодаев.

— Но как же он всё-таки спасся? — пряча улыбку, спросил генерал.

Волкодаев ответил:

— Слышал я, будто Макарова выручило отличное знание погоды.

— Верно, — подтвердил генерал.

— Но как он её узнал? Как мы, лётчики, на такие дальние полёты можем всегда знать погоду по всем трассам? Где гарантия безопасности перелётов?

Генерал спросил в упор:

— Значит, вы не верите в ежедневные дальние перелёты?

— Нет, — признался Волкодаев.

Генерал крепко пожал руку лётчику:

— Молодец, таких трезвых людей и нужно нам для дальних перелётов!

То, что высказал Волкодаев, подтверждало решение генерала и его помощников предпринять более действенные меры борьбы со снежными бурями, пургой, грозами. Проверив себя в беседах с людьми, генерал проводил в жизнь одно мероприятие за другим.

Так появился зондировщик. Ежедневно за час перед вылетом в воздух поднимается самолёт. Он внимательно разведывает погоду на каждом фронте и через каждые две—три минуты сообщает данные. На командном пункте определяют высоту перелётов, в нужных случаях изменяют маршруты.

В наиболее неблагоприятных условиях с конечных пунктов трасс впереди экипажей стали посылать самолёт с непонятым грузом. Эта машина, которой легче пробиться через препятствия, является как бы дополнительным разведчиком погоды, сообщая по радио исчерпывающие данные о характере облачности.

Вскоре зондировщик начал уходить на разведку и перед посадкой. Это тем более строго практикуется в дни сильных обледенений. Сообщения зондировщика в таких случаях дают возможность разумнее установить высоту подхода машин и самого снижения.

В наши дни техника отечественной авиации располагает колоссальными возможностями. В соединении делают всё, чтобы полностью использовать её, вносят то разумное, что ещё лучше обеспечивает дальние перелёты, гарантируя экипажи от каких-либо неприятных неожиданностей.

Командование соединения уделяло и уделяет большое внимание оборудованию аэродромов. Были созданы промежуточные аэродромы, дооборудованы конечные, по маршрутам. Так, в Замостье приводные радиостанции стояли в самом городе. Их перенесли к месту посадок. Впервые с успехом был применён слепой расчёт на посадку по приводным радиостанциям. Кроме радиостанций, на всех аэродромах установили радиопеленгаторы. Широковещательные станции нача-

ли периодически передавать в эфир позывные и опознавательные сигналы. Командованию удалось регламентировать работу широковещательных станций, которые регулярно передают присвоенные им позывные. Правда, это не совсем приятно радиослужителям во время исполнения, скажем, вальсов Штрауса. Но что поделаешь, зато регулярно передаваемые позывные оказывают хорошую службу авиации. На аэродромах, помимо командной станции, установили зенитные и посадочные прожектора, электрические знаки «Т» и т. д.

Всё лучшее собрано на базовом аэродроме. И прежде всего здесь строго продуман расчёт на полуслепую посадку, которая чаще всего обуславливается погодой.

Сильным врагом лётчиков при посадках является плохая видимость по горизонтали и высоте.

Выход был найден. Помимо радиоприборов, выводящих самолёт к полосе посадок, на аэродроме установили мощный неоновый маяк. Он, как и многие другие установки, смонтировал инженерами соединения. Таких совершенных установок пока не имеет ни один аэродром. Удачно здесь использованы морские сигнальные прожектора. Они установлены так же, как и на берегу моря, только белые линзы заменены красными.

Словом, сделано всё, чтобы лётчики могли быстро и точно совершить посадки при любой видимости.

Самые машины оборудованы новейшими навигационными приборами. Барографы, радиоальтиметры, антиобледенители, надёжные радиостанции, радиокompасы— всё это и многое другое позволяет экипажам вступать во взаимную связь с любой точкой в радиусе нескольких тысяч километров.

Вся подготовка к дальним перелётам без посадок была завершена в три раза быстрее, чем намечал даже сам генерал.

— Сделаю всё, чтобы обуздать погоду, — заявил нам лётчик Волкодаев. — Сделаю всё для безопасности полётов. Я чувствую себя в воздухе так же надёжно, как и на земле.

И действительно: на каких бы широтах и пространствах ни находились лётчики, в какую бы бурю и смерч они ни попали, какой бы плотный туман ни угрожал им, какая бы гроза ни разразилась над ними, — им не страшно. В полёте экипажи каждую минуту связаны между собой. С земли следят за ними. И в любой час, в любую минуту готовы оказать помощь.

Это—поистине чудо. Каждый лётчик, от командира корабля до радиста, на всём протяжении перелёта, в любую минуту, может знать всё о других экипажах, говорить с радистом. Каждый, от генерала до рядового радиста, на всём протяжении перелётов, в любую минуту, «видит» жизнь экипажей.

Опустился ли самолёт на Берлинском аэродроме,—все об этом знают. Попала ли машина в облака,—каждый стремится на выручку и выручает. Снизили ли экипаж путевую скорость,—отовсюду советуют, как поднять её.

Лётчики соединения летают в любую погоду. Это подтверждается всё новыми и новыми примерами. Вот и в этот день, когда мы находимся у генерала, с Берлинского аэродрома поднялись самолёты. На борту одного из них — группа генералов сухопутных войск. Больше трёх дней они ждали подходящей погоды, чтобы вылететь на своих машинах, но погода не унималась. Лететь же нужно было срочно. И тогда генералы воспользовались помощью лётчика из соединения Захарова.

За время перелётов погода меняется несколько раз. То буря, то туман, то сильный снегопад сопровождают самолёт. Генералу доносят об этом. Генерал спокоен.

— Долежат, — говорит он.

Вскоре мы убедились в этой уверенности. Невзирая на пургу, самолёт опустился на базовом аэродроме. Генералы вышли из самолёта. Они пришли к генералу Захарову поблагодарить личный состав соединения за мастерство.

Преодоление расстояний в шесть—восемь тысяч километров без посадки стало обычным делом для лётчиков соединения.

Это — чудо. Но оно итог исканий советских авиаторов, это их мирный подвиг, который они сами рассматривают как скромный вклад в пятилетку.

— Обыкновенное дело, — говорит генерал, — мы служим народу.

#### 4

Они служат народу. Лётчики соединения с честью продолжают нести свою вахту. И если бы мы спросили, кто из них самый лучший, нам затруднились бы ответить. У каждого из них своя сильная сторона.

Потребовалось посадить сразу шесть самолётов, прилетевших из разных пунктов. И эту сложную операцию поручили капитану Кайеревичу. Над аэродромом висел пустой туман. Он закрыл все запасные аэродромы. Кайеревич мог видеть самолёты только в тридцати метрах от земли и в двухстах метрах от посадочного знака «Т». Капитан мастерски использовал нужные приборы и с их помощью блестяще посадил самолёты.

Он по праву считается мастером управления.

Недавно командование снарядило экипаж в очередной рейс. На этот раз, как и всегда, наши солдаты в Лигнице с нетерпением ожидали почту. Погода в этот день оказалась особенно плохой. И хотя у командования не было сомнения в том, что любой лётчик до-

ставит желанные вести с Родины в срок, выбор пал на Василия Зеброва.

Почему? Василий Зебров, как и другие лётчики, умеет бороться с трудностями, но он сильнее других любит бороться с ними. Да, такова уж индивидуальная особенность этого человека: он терпеть не может благополучной погоды.

— Хорошая погода балует лётчиков, — говорит Василий Зебров.

В один из осенних дней над базовым аэродромом стояла плотная стена тумана. При таком тумане в городах прекращается движение автомашин, пешеходы идут ощупью.

Предстоял срочный вылет.

Приехавший на аэродром генерал заметил:

— Ну и погодка!

Лётчик Зебров спокойно ответил:

— А я бы взлетел.

Генерал посмотрел на него:

— Взлететь-то вы взлетели бы, я знаю, но кто вам разрешит это?

Генерал проехал на взлётную полосу. Внимательно её осмотрел.

— Зебров! — позвал он вернувшись.

— Я здесь, товарищ генерал, — стора я от нетерпения, отозвался лётчик.

Зебров стоял перед генералом, и минутная пауза ему казалась вечностью.

— Разрешаю полёт, — сказал генерал.

Зебров мгновенно пропал в тумане. О мастерском его взлёте можно было судить лишь по шуму моторов.

Вот такому человеку и был поручен срочный опасный перелёт. В этом перелёте Василий Зебров попал в облачность. Однако он умело нашёл потолок и вышел за облака. А вот обледенение предотвратит всё же не смог. В результате отказали все приборы. А это значит потерю ориентировки. Но мастер слепых полётов не растерялся. Как только на самолёте отказал последний прибор, лётчик заменил их своим телом. Нажав на педаль руля, он замер в одном положении. Нельзя было сделать ни одного движения, нельзя было переменить положение ног ни на сантиметр, в противном случае лётчик не мог бы знать, где он, какие отклонения сделал самолёт.

И так он вёл машину вперёд на той высоте и том курсе, которые были нужны. Около двух часов лётчик вёл самолёт. И он привёл его на место.

Как-то потребовалось доставить из пункта Н. ценный груз, нужный для самого соединения. Командование знало: из пункта, находящегося вне обычных трасс, не так охотно могут выпустить машину во всякую погоду. При этом, как никогда, требуются настойчивость самого лётчика, его чуткость.

За срочным заказом послали молодого лётчика Семёна Космульского.

На аэродроме ему сказали:

— Мы не можем вас выпустить, такая облачность...

— А груз? Его надо доставить в срок.

— Всё это так, товарищ, но согласитесь: не всегда обстановка позволяет человеку сделать всё, что он задумает.

Лётчик пристально посмотрел на «чужого» начальника и проговорил со страстью:

— Человек всегда всё может.

Семён Космульский связался с командиром дивизии.

— Сами-то вы как себя чувствуете? — спросил генерал Захаров.

— Нужно лететь, — ответил Космульский.

— Летите.

«Чужой» начальник проводил дерзкого лётчика восхищённым взглядом.

Срочный груз был доставлен в соединение точно к указанному времени.

У каждого своё. Каждый силён в своём. Учась друг у друга, лётчики соединения идут за своим командиром, уверенные в любом успехе.

В один из так называемых нелётных дней на далёком аэродроме приземлились самолёты. С одного из них маршалу Рокоссовскому вручили почту. Принимая пакеты, маршал заметил:

— Лётчики соединения генерала Захарова перевернули всякое понятие о лётной и нелётной погоде, — он помолчал и прибавил громче, так, чтобы его могли слышать все: — У этих лётчиков нет теперь ни одного нелётного дня.

Личный состав соединения высоко держит честь советской авиации, умножает её славу.

...Последний перелёт в минувшем, 1946 году совершал майор Салов. В тот ве-

чер, 31 декабря, над аэродромом разгулялась пурга. Бушевала метель. Салов опаздывал.

— Придёт ли? — спрашивали одни.

— Не ушёл бы на запасный аэродром, — тревожились другие.

— Будет ли триста шестьдесят пятый перелёт без происшествий, как и все остальные в году?

— Скорее! — хотелось крикнуть всем.

Но каждый, подражая своему генералу, как мог, скрывал своё волнение.

Генерал сам следил за полётом.

— Как себя чувствуете? — то и дело спрашивал он у майора Салова.

— Огорчён задержкой.

— Вижу, идти становится почти невозможно.

— Что вы, товарищ генерал, — спешил Салов, — вот поверчусь малость и пойду на посадку.

Была минута, когда генерал решил заменить советы приказом о возвращении на запасный аэродром. И хотя каждый понимал необходимость этого решения, но воспринял бы его с болью. Впрочем, у каждого оставалась неугасимая вера в товарища.

— Нажми, дорогой, — вдруг услышал у себя за спиной генерал.

Генерал обернулся. Какой-то красноармеец, подняв голову к небу, продолжал обращаться к Салову:

— Нажми, товарищ майор, выручи.. дорогой мой...

И майор Салов выручил. Преодолевая невероятные трудности, он посадил самолёт на базовом аэродроме.

Майор вышел из машины и шагнул навстречу генералу. Генерал крепко обнял лётчика.

## Путешествие по Закарпатыю

Очерк

«К Востоку, всё к Востоку  
Летит душа моя».

**В. Жуковский.**

«Восточной Швейцарией» называют этот прелестный уголок советской земли, примыкающий к четырём государствам Европы — Венгрии, Чехословакии, Румынии и Польше.

Сравнение со Швейцарией приходит на ум уже через 30—40 минут после вылета из Львова, когда однообразную низменность Восточной Галиции внезапно сменяют Карпатские высоты. Изрезанные глубокими ущельями, они сплошь покрыты неоглядной толпой зелёных и хвойных деревьев, расступающихся, чтобы дать место зеркальным водам высотных озёр да альпийским лугам, вкрапленным в горно-лесистый ландшафт.

Если вы летите в Закарпатье на самолёте, первым городом на вашем пути будет Ужгород, древняя столица этой области, занимающей территорию в 12 тысяч с лишним квадратных километров. Я прилетел в Ужгород в воскресный день. В древнейшем селении Закарпатья, превращённом в уютный городок, толпы празднично одетых горожан заполняли бульвары, сады и красивую набережную реки Ужи, обсаженную кустами роз и каштанами.

Ужгород называют «прашуром карпато-русских городов». В нём происходили все наиболее важные события в жизни закарпатских украинцев. Столица Закарпатья ещё и сейчас многим напоминает о тех далёких временах, «доживших» до наших дней в своеобразной архитектуре старинных зданий, в планировке улиц, приспособленной к обороне города от нашествий иноземцев, в развалинах древнего Ужгородского замка, уцелевшие бойницы которого смотрят на вас словно глаза истории.

Новое и старое живут в этом городе, как напоминание о разных временах. Рядом с печатной афишей, извещающей о со-

стязании футболистов «Динамо» (Ужгород) — «Динамо» (Львов), висит рисованный плакат двух старейших ужгородских команд мяча — «Холостяков» и «Женатых». Объявление о массовом загородном гулянии, отпечатанное на русском языке чехами или малярами, вызывает невольную улыбку последней фразой: «Приглашаются все любовники природы». В ресторане «Киев» оркестр венгерских цыган с одинаковым неподражаемым искусством исполняет то буйный чардаш, то старый романс с исковерканными русскими словами: «Ах, эпти чорние глаза...» — и песни, рождённые в вихре сталинградской битвы или где-то на далёких отсюда дальневосточных сопках.

Но лихой чардаш, непривычные названия футбольных команд не могут заслонить собой тот украинский и русский колорит Закарпатья, который вы встречаете всюду, куда бы ни привели вас извилистые дороги и случай. В глинобитных, выбеленных хатах долин и в бревенчатых домах высокогорных деревень, похожих на сибирские селения, ещё на пороге охватывает тот знакомый изысканный запах Руси, который делает любое закарпатское село неотличимым от искони украинских или русских сёл Полтавщины и Поволжья, Урала и Киевщины. В передних углах висят затейливо расшитые рушники, и одежды женщин и девушек осыпаны пестрядью вышивок с такой же щедростью, словно где-нибудь близ Днепра или на Волге. Украинские имена, украинские фамилии... Почти все знают венгерский и чешский языки, но всюду слышен только украинский или русский говор.

Пожалуй, ни один народ, оторванный от родины, не сохранял свои национальные традиции с таким фанатическим упорством, как закарпатские украинцы на протяжении всей своей тысячелетней истории. Никто ---

ни Золотая Орда, ни румыны, ни мадьяры, ни немецкие фашисты — не могли вытравить в Закарпатье святую преданность национальным традициям и духовную свободу народа. На нелюдимых вершинах Карпатских гор, куда вовек не ступала нога завоевателей, мне довелось видеть девушек, похожих красивыми славянскими лицами и статными фигурами на боярышнен времён Ивана Грозного. Даже имена у них остались древнепечучими, какие встретишь у нас разве только в святцах — Василина, Афия...

Тот, кто знаком с историей Закарпатской Украины, кто знает символическое значение трембиты — боевой четырёхметровой свирели карпатских горцев, по сигналу которой поднимались народные восстания, — тот поймёт и разделит счастье мужщин, женщин и детей Закарпатья, воссоединённых с родным украинским народом. Как самое дорогое наследство, передавали закарпатские украинцы из поколения в поколение мечту об этом воссоединении с Родиной, о которой шапминали им, быть может, только памятники исторических событий. Этим памятникам нет счёта.

Спускаясь в пойму реки Латорицы, минуешь Веречанский перевал, прозванный Великими русскими воротами ещё в далёкую эпоху переселения народов. Очувившись в Воловецком округе, любуешься красивой узкой рекой с древнеславянским названием — Вече. Прехав в Ужгород, невольно вспоминаешь, что 240 лет назад на улицах этого города венгерский государь Ракоци оказывал царские почести приближённому духовнику Петра I Давиду Ивановичу Корбеву, положившему начало союзу между Петром и Ракоци в борьбе против Габсбургов, возглавлявших и олицетворявших в те времена Германию. Находясь в восточной части Карпат, встретишь стариков — участников знаменитого брусиловского прорыва...

И чем больше попадаете на пути этих живых и мёртвых свидетелей далёкого прошлого, ушедшего или уходящего в легенду, тем чаще задумываешься над исторической несправедливостью, постигшей наших закарпатских братьев, боровшихся целое тысячелетие за воссоединение с Украиной. Тысячу лет, почти не замирая, летели с Карпатских высот в нашу сторону пронзительные призывные звуки трембиты. Они могли бы принести избавление закарпатским украинцам ещё в петровскую эпоху, если бы судьба была к ним более справедлива...

Спустя два с половиной месяца после приезда Давида Корбева в Ужгород Пётр I и послаец Ракоци граф Берчени, встретившись в Варшаве, заключили союзный до-

говор, по которому Россия обязалась оказать в случае нужды военную помощь Ракоци в его борьбе против Габсбургов. Почти три года после этого знаменательного события военное счастье изменило Ракоци — страшная чума унесла в могилу тысячи его воинов, и граф Берчени в середине 1710 года снова отправился к Петру I, на этот раз с предложением занять русскими войсками северо-восток Венгрии и поставить к Эчеду, в Мукачеве и Мароморше русские гарнизоны. Только война с Турцией, натравленной на Россию французским королём, помешала тогда Петру протянуть руку помощи украинскому населению Закарпатья, снова закабалённого впоследствии династией Габсбургов.

И ещё раз вспыхнуло надеждой сердце закарпатского народа в дни знаменитого брусиловского прорыва. Но чёрная измена в верховной ставке России, направившая военные события тех лет наперерез их логическому развитию, снова надолго потушила пламя этой надежды.

Так тянулись годы и века в тщетном ожидании дня свободы. Гремела в горах трембита, поднимая народ на восстания против иноземцев. По приходили в деревни и города воины жестоких властителей и уходили, оставляя за собой кровавый след, дым пожарниц и плач сирот...

Закарпатская Украина всегда была яблоком раздора европейских государств. Стоит проехать хотя бы от Ужгорода до румынской границы, как вся её тысячелетняя история встаёт памятниками бесчисленных войн. На этом пути всюду попадаются паланки (замки), крепостные валы в горах и горные перевалы с остатками древних укреплений... И каждый след былых жестоких битв за обладание Закарпатьем овеян легендами о величайших страданиях закарпатских украинцев, стонавших под игом завоевателей.

У впадения реки Великой в Тиссу, на грани Закарпатья, коренной Венгрии и Семиградья (Трансильвании), вершину высокой остроколючей горы венчает один из наиболее древних замков — Хустский паланок. Этот замок, построенный, по преданиям, воеводой Хустом ещё до нашествия татар, осаждали венгры, немцы, поляки, румыны, турки, татары, разорявшие Закарпатье дотла. И, как знать, не сыграл ли бы Хустский паланок своей последней роли в двух мировых войнах, если бы 200 с лишним лет назад он не был сожжён молнией, ударившей в его пороховую башню!

Легенда о Невизком замке, сооружённом на крутой сопке близ Ужгорода, тоже тесно переплетена с горем закарпатского народа. Его строила турецкая царевна, про-

званная в преданиях «Поганой девой». Она приказала гасить известь для стен паланка молоком и белками яиц, вызвав в стране голод.

И замок в Мукачево построен на высокой горе, которую, говорят, народ насыпал чульчи не шанками.

Допустим, что ни одна из этих легенд не отличается большой достоверностью, но самое существование замков подтверждает великие страдания закарпатских украинцев, не раз становившихся жертвами разноплеменных завоевателей.

\* \* \*

Возможно, не следовало бы сейчас ворошить историю, но, повторяю, трудно без неё представить ту неизмеримую радость, с которой встретили закарпатские украинцы сначала наших солдат, освободивших их от фашистского призыва, а потом — всенародный манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной. Вот уже почти два года они живут под нашим солнцем, немножко поражённые непривычным для них гулом новой жизни, смело перешагнувшей горные высоты вместе с геологами, выстукивающими молотками каменную грудь Карпат, вместе с нефтяниками Баку и вместе с шахтёрами Донбасса, идущими по следам геологов — строителями новых угольных шахт, нефтяных вышек. Крестьяне долин с любопытством осматривают алтайские, сталинградские и харьковские тракторы, обрабатывающие бывшие помещичьи поля, ставшие народным достоянием.

И, постепенно приобщаясь к этой новой жизни с её быстрым ритмом, вчерашний хлебороб становится трактористом, а там, где добывают уголь и нефть, всё чаще встречаются гуцулы в чёрных саржевых спецовках, так непохожих даже по покрою на их белые дымчатые штаны, на вышитые рубашки и короткие куртки из грубой овечьей шерсти. Перед маленькой страной, в которой на 665 тысяч населения было около 100 тысяч нищих и безработных, открылись такие широкие дали, каких не видел ни один гуцул, взбиравшийся с трембитой на высочайшие горные вершины. «Будто Карпаты раздвинулись», — говорят жители долин, засевая поля крупнейшего в прошлом землевладельца графа Шенборна, владевшего почти половиной всех посевных земель Закарпатья. «Будто солнце к нам заглянуло», — шепчут обитатели самой таёжной части гор, где счастье было таким же редким гостем, как солнечный луч.

Новая жизнь Закарпатья богаче всей его тысячелетней истории. Правда, два года — срок слишком небольшой, чтобы можно бы-

ло сказать, что эта живописная страна уже превращена из отсталой, аграрной в индустриально-аграрную, какой, она, несомненно, станет в недалёком будущем. Лес и соль составляли промышленную основу её экономики. Теперь геологи Москвы, Ленинграда, Киева ищут в Карпатах жидкое топливо и уголь, железо и редкие металлы. Уже обнаружены признаки нефти, уже построены первые шахты, дающие уголь, и у подножья высокой горы Голый Верх заложен пробный рудник по добыче железной руды. Это — только начало больших геологических изысканий, и, до тех пор пока геологи не разгадают загадку карпатских недр, трудно предсказать промышленное будущее Закарпатской Украины. А сейчас закарпатские украинцы заняты разработкой своих несметных лесных богатств и добычей каменной соли, которой снабжается чуть ли не вся Восточная Европа.

Мне довелось побывать в Солотвинских шахтах, где добывают эту соль. Дорога на Солотвино от Ужгорода занимает 4—5 часов быстрой езды на автомобиле по великолепному асфальтированному шоссе, обсаженному черешнями и абрикосами. Мимо Мукачева, в котором 30 июня 1945 года был принят всенародный манифест о воссоединении с «Большой Украиной»; на древний Хуст с его старинным, разрушенным замком; на Тячево, где живут самые красивые девушки Закарпатья; по берегу Тиссы, слева от которой тянутся густые, будто тайга, яблоневые сады, а справа — румынские горы самых причудливых форм.

Вот и Солотвино. Соляные копи — на высоком взгорье, с которого открывается красивый вид на живописную долину Тиссы и близкий отсюда — в двух шагах — Румынский город Сегет. Солотвино стоит на самой границе с Румынией.

В центре большого надшахтного двора уходит в недра земли чёрный ствол двухсотметровой глубины. Вместе с директором соляных копей Сибиряковым спускаемся в прохладу подземелья и через 3—4 минуты неожиданно попадаем в роскошные подземные залы, как бы выложенные серым с прожилками мрамором. Залы дворцовых объёмов в 40—50 метров высотой следуют одна за другой сказочным двухъярусным лабиринтом. Яркий электрический свет затопляет подземное царство, дробясь мириадами тусклых искр о соляные стены. Невольно приходят на память рассказы геологов о том, что когда-то, многие тысячи лет тому назад, вся Дунайская впадина у подножья Карпат представляла собой дно неизвестного моря или громадного соляного озера.

Врубовые машины вгрызаются в стены подземных дворцов, откалывая большие

глыбы каменной соли. Откатчики грузят соль в вагонетки, бегущие к подъёмным клетям со всех направлений по сорокакилометровой подземной узкоколейной железной дороге. Гуцулы, чехи, мадяры, румыны работают быстро, они дают сейчас столько тонн соли в сутки, сколько никто не давал её даже в лучшие времена двухсотлетнего существования Солотвинских соляных копей.

— Всё дело в хозяине, — сказал мне старый рабочий, тридцать лет проводивший в шахте.

Он-то знает, что когда человек работает на чужой карман, ему не перепадает от прибылей фабрикантов больше того, что положено раз и навсегда, независимо от дивидендов хозяина.

— Ну, а теперь всё зависит от выработки. Сколько нарубишь соли, столько и заработаешь, — продолжает свою мысль мой собеседник, мадяр по национальности.

Мы разговорились. Собирается ли он уезжать на родину?

— Нет, зачем? У вас, у русских, есть хорошая поговорка: «От добра добра не ищут».

Впоследствии мне часто приходилось улавливать эту же мысль, выраженную иными словами.

\* \* \*

Теперь в Закарпатье никто не боится безработицы, наплодившей за годы мадярско-фашистского владычества нищих, батраков и люмпенпролетариат. Если завтра содержатель кафе на площади Корятовича, где я обычно завтракал, закроет своё маленькое торговое предприятие, он получит работу в любом месте, потому что работы в Закарпатье, по выражению Ивана Ивановича Туряницы, секретаря обкома КП(б)У, «хватит на всю Украинскую республику». Достаточно ознакомиться с пятилетним планом развития народного хозяйства Закарпатской Украины, чтобы убедиться в правоте этих слов.

Я видел в Ужгороде большую рельефную карту Закарпатской Украины с нанесёнными на неё будущими стройками. Всё, чем богата природа этой маленькой горнодолинной страны, — всё будет призвано на службу человека: и полезные ископаемые, которые должны избавить Закарпатскую Украину от оскорбительного определения мировых энциклопедий «отсталый, аграрный район»; и быстрые, горные реки, где уже заложены фундаменты будущих гидроэлектростанций; и неповторимая красота Карпатских высот, где строятся высокогорные санатории и альпинистские лагеря; и

леса, превращённые в красивую мебель, в самолёты, в бумагу, наконец, в стандартные дома для тех, кто жил в курных избах...

Лесные районы, похожие на сибирскую тайгу или на Кордильеры, резко контрастируют с экономически цветущими долинами, особенно на вершинах гор, называемых Верховиной. Тут, на Верховине, жила самая бедная часть населения, в своё время вытесненная с плодородных берегов Тиссы и Латорицы крупными землевладельцами.

Верховина — лесная глухомань, где часто люди доживали до 100 лет, ни разу не спускаясь в долины. Здесь ещё можно видеть следы той ужасающей нищеты, до которой довели верховинцев венгерские фашисты после насильственного отторжения Закарпатской Украины в 1939 году.

Два—три десятка убогих, пошатнувшихся лачуг образуют одну или две улицы обычной горно-лесной деревеньки. Впечатление доисторических времён неотступно сопутствует вам при ознакомлении с бытом жителей Верховины: грубо сколоченные столы и скамейки; детские люльки, выдолбленные в неуклюжих и огромных корневищах ясеня или дуба; светильники с плавающим в бараньем сале фитилём; одежда, сшитая из жёсткого домотканного холста, пригодного скорее для мешков; обувь, выкроенная из плохо выделанной бычьей кожи и прикреплённая к ногам лыком; деревянная соха, которой вспахивал верховинец свой жалкий клочок земли в несколько сот квадратных метров, чтобы посеять кукурузу, составлявшую ещё два года тому назад его основную пищу.

Правда, земледелие никогда не было главным занятием верховинцев: с тех пор как их пращурь, гонимые неоплатыми долгами, покинули долину, они рождались от лесорубов и умирали лесорубами, передавая по наследству мечту о земле, которой завладел помещици. Хлеб подавался прежде к столу только в большие праздники: в будни ели обычно кукурузную кашу — и на завтрак, и в обед, и на ужин.

Тяжёлое впечатление, оставляемое ничтогой лесных трущоб, рассеивается улыбками гостеприимных верховинцев, предлагающих путнику овечьий сыр и молоко. Не пытайтесь отказать от этого скромного угощения, если не хотите обидеть хозяев.

— Времена голода прошли, — говорит гуцул. — Теперь ест каждый, кто хочет работать.

И так всюду. Стоит автомобилю остановиться где-то в горах, кажущихся необитаемыми, — и внезапно, словно из-под земли, вырастают белоголовые мальчуганы и русоволосые девочки.

— Слава Иисусу! — звонко кричат они это обычное в Закарпатье приветствие и ведут гостя на хутор, спрятанный в дремучем лесу, где передают уставшего путника на поспешно радужных отцов и матерей.

В одном из таких домов горного Воловецкого округа мне пришлось заочевать. Хозяин Петро Маришко, человек лет 45, с лицом натурщика иконописцев, и его жена жаловались на быструю нищету, состарившую их обоих задолго до срока. Он работал лесорубом в имении графа Шенборна. Вспоминает:

— Горек был наш хлеб.

Два—три фунта кукурузы — всё, что можно было купить за дневной заработок.

Он один из тех многих безземельных и малоземельных крестьян, которые сейчас получили землю в долине. На его долю досталось целых 3 гектара — в 15 раз больше, чем имел его отец на Верховине.

— Будьте счастливы! — пожелал я им на прощанье, когда рано утром, взвалив свой скарб на плечи, вся семья целовала землю у порога покидаемого дома, в котором родились и отец, и дед, и прадед лесоруба Маришко.

— Дай боже! — сказал лесоруб.

Наши дороги разошлись. Семья Маришко ушла на свою новую землю, к востоку, я ехал на запад, где находится центральный район Верховины — Раховщина.

\* \* \*

По дороге на Раховщину попал я в высокогорное село Вуршаны, Хустского округа, удивившее странной пустынностью улиц (ни одного человека!) и пугающей молчаливостью домов (забитые досками окна и двери, залпёртые изнутри, должно быть, на тяжёлые засовы). Ни приветливого дымка над холодными трубами изб, ни пегушиного крика, ни журавлиного скрипа над колодезем. После долгих поисков какой-нибудь живой души мне попался, наконец, человек лет под сто, высунувший на мой голос голову из единственного незаколоченного окна.

— Куда девались люди, старик?

— Люди? Люди сошли на землю, — ответил он, словно мы с ним были на небе.

Через пять минут я знал всё.

Сто сорок хозяйств села Вуршаны переселились в долину Тиссы, а старик в Вуршанах остался сторожить заколоченные дома.

Много позже я заехал к этим переселенцам, начинающим новую жизнь на землях бывшего венгерского помещика Морвого и в окрестных сёлах Свобода и Ботар.

Первым, кого я встретил из вуршан в долине Тиссы, был Фёдор Сусик, человек лет

40—43, с лицом и фигурой, которые ещё и сейчас служат живой иллюстрацией его недавней нищеты: ввалившиеся щёки, глубоко залпавшие в орбиты глаза, худые, как плетя, руки с туго натянутыми синими жилами.

— Никак не может пополнеть, — жаловалась его жена. — Вот уже два года едим досыта, а он всё такой же, каким сделали его мадьяры.

Большая, в семь человек, семья Сусика переселилась с Верховины ещё в 1945 году. Приехали сюда уже летом и успели посеять на своём земельном наделе в 2,4 гектара только кукурузу. Зато теперь рядом с кукурузным полем колосится пшеница, зреют овощи и картофель.

— Откуда же взялись семена? — спрашиваю.

— Советская власть отпустила.

— Придётся возвращать?

— Нет, это безвозвратная ссуда.

— А налог большой?

— От налога мы, переселенцы, освобождены на 6 лет.

Сусик показывает мне своё хозяйство и всё вспоминает Верховину, где он владел двумястами квадратных метров земли, урожай с которой хватало только на кукурузную кашу.

— Было мне на той земле тесно, будто в гробу!

На мой вопрос, как и чем они там питались, отвечает:

— Если была кукуруза, ели три раза в день, если не было, три раза ложились умирать.

Земля и леса вокруг Вуршан принадлежали немецкому графу Сегертусу, у которого Сусик работал лесорубом. Граф платил ему 2—2,5 пенго в день, а хлеб стоил 15.

— Чтобы кушить простую рубашку, — говорит Сусик, — надо было работать целую неделю, и при этом никто в семье не должен был кушать.

Мы уже сидим в большой комнате Сусика. Когда-то, при помещике Морвом, здесь сушили и сортировали табак. Теперь это — временное жильё переселенца. В комнате тесно от набившегося народа. Вчерашние лесорубы рассказывают о своём житье-бытьё. Все одеты бедно, и единственной «роскошью» их туалета служит у мужчин традиционная широкополая фетровая шляпа, у женщин — силитки (нашейные украшения из цветного бисера) или пацёрки (бусы). Женщины, девушки и дети крепки и здоровы. Мужчины почти все худощавы, за исключением Малвея Ситаря, который был на Верховине владельцем корчмы и всё всегда сыгую жизнь. Теперь он тоже занимается хлебопашеством, потому что его корчма никому не нужна.

Каждый из этих людей жил на Верховине так же, как жили Сусик, и каждый живёт сейчас не хуже Сусика. Все получают «файный», то есть хороший, урожай, от которого начинается незатейливое крестьянское счастье: вдоволь хлеба, вдоволь овощей, вторая корова на дворе, лишняя пара свиней, ещё один выводок гусей и обнówki жене, дегтишкам, прихваченные с осенней ярмарки в близлежащем большом городе.

— Вот строиться скоро начнём, — говорит пожилой Ерёма Василь. — Ждём только лес.

— От кого?

— От государства. Теперь всё идёт от новой власти — и земля, и скот, и лес на постройку.

— И дорогой лес?

— Для нас, переселенцев, бесплатно.

Расставаясь с этими милыми, добродушными людьми, я задаю вопрос:

— А что, если бы вам пришлось вернуться на Верховину, к прежней жизни?

Долго молчат, морщина лбы и супя брови. Потом, как бы отгоняя от себя призрак страшного прошлого, тихо признаются:

— О, нет, лучше головой в Тиссу!

Они порвали с Верховиной навсегда, как и все полторы тысячи семей, переселившихся с гор в долину. Их ждёт иная жизнь, которой уже живёт большинство закарпатских крестьян, чьё будущее не связано с переселением с Верховины. Фёдор Сусик владеет, пожалуй, самым маленьким земельным наделом. Да и вообще переселенцы, осевшие в бывшем имении Морвого, могут похвалиться пока немногим, кроме доставшейся им земли. В других, соседних селах — в Ботаре, в Русской Долине, в Свободе — крестьяне получили от 3 до 6 гектаров на семью, готовые дома, фруктовые сады и виноградники.

Но раздел земель помещичьих имений и ограничение землевладений наиболее богатой части крестьянства не решают полностью вопроса об обеспечении плодородной почвой всех тех, кто хотел бы — и имеет на это полное право — заняться земледелием. В план больших работ послевоенной пятилетки включено осушение низменности, заболоченной сточными водами с Верховины, между городами Мукачево и Берегово. 97 тысяч гектаров этой низменности было осушено за 40 лет. Теперь мелиоративные работы проводятся ещё на 18 тысяч гектаров. Они должны быть завершены к 1950 году.

Разрешение земельной проблемы — лишь одна из многочисленных форм государственной помощи закарпатскому крестьянству. Но есть и другие виды правительственной помощи. За один первый год, минувший после воссоединения Закарпатской области с

Украиной, беднейшее крестьянство получило 7372 тонны зерна, выданного в виде семенных есуд; деревня купила по цене почти вдвое дешевле, чем прежде, 6 тысяч тонн суперфосфата — на 40 % больше того количества удобрений, которое покупало крестьянство в прошлом; 9 машинно-тракторных станций вспахали землю почти всем безлошадным хозяйствам.

— Легко жить, когда все идут тебе навстречу, — сказал как-то один крестьянин.

Это было на берегу Латорицы, в придорожной корчме, где обычно соляне обсуждают по вечерам свои дела за чаркой виноградного вина. Пока наш шофёр заправлял машину, я заказал себе и своему спутнику — агроному — скромный ужин. Как всегда в подобных случаях в Закарпатье, вокруг нас собралась толпа землепашцев, только что вернувшихся с полей. Мы предложили им трубочный табак и сигареты. Они с видимым удовольствием затянулись крепким дымом и громко посылали ко всем чертям бывший мадыарско-фашистский режим.

— В чём дело?

— Это бывает каждый раз, как только они видят табак, — сказал, смеясь, агроном.

Оказывается, крестьяне уже 6 лет не сеяли табак, который мадыары заставляли сдавать по баснословно низким ценам.

— А как теперь?

— Ого-го! — воскликнул один из крестьян. — Теперь мы можем угостить табаком всю Россию!

\* \* \*

Быть может, после моего рассказа о переселенцах с Верховины у читателя сложилось впечатление, что высокоторная часть Закарпатской Украины осталась совершенно необитаема? Нет, нет! С гор сошла на плодородные земли только небольшая, самая бедная часть населения, и жизнь на Верховине вовсе не замерла. Наоборот, будущее высокоторных районов, пожалуй, ещё более перспективно, чем будущее расцветающих долин Тиссы и Латорицы.

Есть на Верховине люди, которых не заманишь теперь в долину никакими калачами. Это гуцулы. Они говорят: «Гуцул без горы, як рыба без воды». Конечно, если бы в былые времена им предложили поменять голодное существование в горах на жизнь в долине, они, возможно, не задумываясь, изменили бы этой поговорке. Но сейчас, когда светлые лучи счастья победили вечный сумрак лесной глухомани Карпатских высот, когда верховинец ест хлеб не по большим праздникам, а каждый день, гуцулы предпочитают остаться на своих насыженных местах. Их прельщает к тому же завтрашний день Верховины, отражённый в плане послевоенной пятилетки с такой же

зеркальной ясностью, с какой видит гуцул свои родные Карпаты на дне прозрачных высокогорных озёр.

Что такое Верховина?

На Верховине лучшие альпийские луга, где в летнюю жару пасётся скот чуть ли не всего Закарпатья. Полониной называют закарпатские украинцы эти луга, покрытые прекрасной, сочной травой.

На Верховине разбросаны во множестве живописные уголки, превращаемые, по пятилетнему плану, в места лечения и отдыха всесоюзного значения. Кобылецкая Поляна, минеральные источники «Боркют» и «Квасы», сосновый лес на взгорье у Рахова — всё это места уже строящихся или пока ещё проектируемых санаториев и домов отдыха.

Верховина — это нефть и железная руда, марганец и полиметаллы, чудесный мрамор и леса, леса, леса, которым, кажется, нет конца и края.

Верховина — лесное царство. Отсюда горные узкоколейки и тягачи спускают к лесопильным заводам долин сотни тысяч кубометров древесины. Мне довелось побывать на одном из 19 лесопильных заводов области. Он самый мощный и носит имя Ильича. Ему уже несколько раз присуждали вторую премию в соревновании лесопильных предприятий Советского Союза.

Директор завода Юрий Васильевич Попович, получивший некогда высшее образование, но не сумевший подняться при мадьярах выше должности бракера, гордится всесоюзной славой своего передового предприятия, как юноша, успешно делающий первые шаги на жизненной стезе. Впрочем, они все чувствуют себя юношами — и пожилой Попович и старые рабочие завода, потому что жизнь началась для них лишь два года назад. А до этого дни текли в вечной нужде и в вечном страхе перед хозяевами из акционерного общества «Латорица», владевшими не только 6 лесопильными заводами в пойме реки Латорицы, но и судьбами людей, работавших на этих заводах. 70% акций акционерного общества принадлежало венгерским промышленным магнатам и 30% — Национальному банку Италии. На родной земле закарпатские украинцы были рабами господ из Будапешта и Рима.

Теперь их труд стал продуктивнее вдвое. Завод ещё не успел залечить всех ран, нанесённых ему войной, но уже давно достиг довоенного уровня производства. Каким образом?

— Очень просто, — поясняет Попович. — Когда работаешь на свой народ и не боишься за завтрашний день, можешь сделать гораздо больше, чем из-под палки рабовладельца.

Да, конечно. Вот эти рабочие, подсовывающие под горизонтальную пилу похожий на гротмачту ствол сосны, знают, что из ровных, сочащихся «слезой» досок, расходящихся с другой стороны пилы полураскрытым веером, будет сооружён стандартный дом для переселенцев с Верховины. А если это не сосна, а бук двухметровой толщины или ореховое дерево, — значит, будет у верховинца и красивая мебель.

Мебельных фабрик в Закарпатской Украине много. Они делают для народа вещи, которые два года тому назад можно было найти лишь в самых богатых домах и то не в Закарпатье, а где-то очень далеко от фабрик — в Вене, Берлине, Риме, Будапеште. Не часто встретишь на земле места, где живут такие искусные мебельщики, как в Мукачеве.

Шкафы, кровати, буфеты, письменные столы и удобные, как колыбель, кресла отполированы до зеркального блеска. Труд полировщиков утомительно однообразен. Они наливают дорогой шеллак на комочек мягкого волоса и, обернув его чистой тряпкой, безудельно протирают поверхность стола или шкафа. Движения их рук медленные и размеренны. Проходит час — и кусок древесины, впитавший в себя первую порцию шеллака и масла, сохнет сутки. А через сутки руки полировщика снова, будто в медленном ритмическом танце, проходят по буку, ореху, ясеню или дубу. Один и тот же процесс полировки повторяется 3—4 раза, пока вы не увидите в дверце шкафа ответ дня или электрических огней.

\* \* \*

Ветер с Востока выдувает провинциальную затхлость городов Закарпатской Украины, и бодрит людей своей свежестью, зажигая в них иные мечты, иные желания. Все хотят знать, как живут 200 миллионов советских людей по ту сторону Карпат, и жадно ловят каждое слово о России, об Украине, по которым закарпатские украинцы тосковали тысячу лет.

В окружном центре — Севлюше — я встречал двух лекторов ЦК КП(б) Украины, читавших лекции о марксизме-ленинизме. Один из них, профессор Москаленко, очень спешил обратно в Киев, где его ждали к экзаменационной сессии, и ни за что не сдавался на уговоры севлюшской интеллигенции прочесть сверх программы «ещё хоть одну лекцию».

— Поймите, — вскричал Москаленко, полусмущаясь, полусерьёзно, — я философ, и на меня действуют не убеждения, а только доказательства!

Воцарилось молчание. Потом кто-то тихо сказал:

— Философ — это очень хорошо. Но если бы вы, профессор, были к тому же историком, вы знали бы, что мы ждали вас тысячу лет...

Это провозучало для Москаленко лучшим доказательством: он остался.

Я вспоминаю человека рядом из того же Севлюша — 24-летнюю монашку Марию, работающую медицинской сестрой в больнице.

Затянутая в строго чёрное платье с белой крахмальной пелеринкой и в крахмальной же косынке с головной наколкой, похожей на огромный белоснежный гриб, эта украинская девушка с утра до вечера скользит по паркету больничных палат, по тенистому парку с великолепными аллеями роз. Она исполнительна, как автомат, безмолвна, как изваяние, набожна, как все монашки. Но в её серых больших глазах тупая покорность, в духе которой она получила воспитание в каком-то румынском женском монастыре, то и дело уступает место жалкому любопытству, вызываемому той новой жизнью, что кипит за больничной оградой. Там поют новые песни, там строят дом; там проходит молодёжь из неведомых монашке городов — Харькова, Одессы, Москвы...

— Вы бы пошли учиться, Мария. У нас медицинской сестре нетрудно стать врачом, — осторожно говорит одна из больных, кажется, киевлянка.

— Нет, я служу господу богу, — отвечает смиренно девушка.

Но в серых глазах я вижу бунт мыслей и почему-то твёрдо верю, что молодость одержит победу над старческим одеянием монашки.

Да, иные времена, иные люди, иные события. Формы жизни сохранились ещё во многом прежние, но содержание её стало совсем другим.

В большом горном селе Ясеня я видел студентов, приехавших на каникулы из самого молодого в СССР, Ужгородского, университета. Во времена австро-венгерского владычества, вплоть до конца первой мировой войны, в Закарпатской Украине не было даже начальных школ на украинском и русском языках. Эти школы открыли чехи, но университет даже при чехах был неосуществимой мечтой закарпатских украинцев.

И вот, наконец-то, своё высшее учебное заведение с родной украинской речью, со студентами из своих городов и сёл. Парни и девушки в Ясеня встречают студентов из Ужгорода без тени той зависти, которой были бы полны они ещё два года назад. Теперь ведь каждый может ехать учиться — не вынче, так в будущем году, не в

Ужгород, так в Киев, так в Москву. Это не те времена, когда на 10 тысяч населения в Ясеня был один студент, окончивший университет в Праге, — Николай Васильевич Пуперьяк, возглавляющий сейчас Закарпатский трест лесной промышленности.

Но даже тем немногим закарпатским украинцам, которым посчастливилось окончить университет в прежние времена, высшее образование не открывало дорогу в жизнь. Студент с дипломом лесотехнического института не шёл дальше скромной должности бракера на лесопильном заводе. Молодой врач мог мечтать о практике только в том случае, если у него были деньги на покупку собственного врачебного кабинета (тогда ведь не было, как теперь, так много больниц и поликлиник, для которых приходится выписывать врачей из Москвы и из Киева). И педагоги из украинцев работали нередко поварами, потому что министерство просвещения Венгрии отдавало предпочтение учителю-мадьяру. Но удивляйтесь же, узнав после всего этого, что в Закарпатье ещё и сейчас количество неграмотных и малограмотных достигает почти тридцати тысяч.

\* \* \*

— Целое тысячелетие Закарпатская Украина была в состоянии политического и экономического анабиоза, — сказал мне как-то в Ужгороде видный учёный.

И вот, путешествуя по этой маленькой стране то в вагоне, то в автомобиле, то верхом, я всюду наблюдал, как выходит Закарпатье из состояния анабиоза.

В далёком селе Нижнее Студёное, Воловского округа, увидел я массу советских книг. Откуда они попали в таком изобилии в такую глушь, если даже в Ужгороде жалуются на недостаток нашей литературы? Оказывается, ростки новой жизни появились здесь ещё задолго до того, как в Закарпатье была установлена советская власть, — когда ещё шла война.

Проходила через Нижнее Студёное какая-то часть Советской Армии, и поларили наши солдаты на память крестьянам несколько десятков книг советских писателей, посоветовав открыть в селе издучитальню. Много армейских частей прошло с тех пор через село, и каждая часть, узнав о избе-читальне, пополняла её книжный фонд, чем могла.

— Так затеплился в нашем глухом крае первый огонёк с Востока, — говорят крестьяне.

А потом заговорили о клубе — о таком же большом и красивом, как тот, о котором рассказывал русский солдат, строявший этот клуб у себя, в колхозе имени Сталина,

где-то под Золотоношей, у Киева. И вот уже готов клуб в Нижнем Студёном. Может быть, не такой большой и не такой красивый, как у колхозников, но «весёлый»: ставят в нём крестьяне спектакли — дело чуждое для здешних мест, где народ покои веков приучен смотреть на мир неподобья.

Как-то раз я увидел у подъезда Народной рады в Ужгороде — величественного и прекрасного здания кубических форм — толпу крестьян с Верховины, приехавших хлопотать о земле и садах в долине Тиссы.

И тут же, в пяти шагах от этих людей, жаждущих труда, проходили «шумною толпою» бронзоволицые старые цыгане. Как поднятые вихрем птицы, они ещё выбирают между старым и новым гнездом, косясь на таборную молодёжь, довольно часто меняющую гавайскую гитару на молоток и серп.

С одним из таких цыган, высоким 25-летним парнем, я познакомился на стройке нового вокзала в Мукачево. Он работает пока уборщиком строительного мусора, но собирается стать машинистом паровоза. Мы разговорились. Я спросил, почему он ушёл из табора.

— Работы стало много, — сказал, подумав, парень.

— Значит, лучше рабстать, чем кочевать?

— Айно, айно! <sup>1</sup> — воскликнул он.

Мы сидели в тени каштанов. Прямо против нас подымались красные сырые стены пока ещё бесформенного вокзала. За вокзалом в сиреневой мгле вечера уходили в небо лесные вершины Карпат.

— Правится вам наша сторона, наш народ? — спросил парень.

— Айно! — ответил я.

И добавил по-русски:

— Очень!

А днём позже, возвратившись в Ужгород, я присутствовал на публичной лекции одного из старейших учёных Закарпатья. Он говорил о счастье, которое обрёл закарпатский народ, воссоединённый с Советской Украиной, и закончил лекцию изречением Сенеки: «Кто не знает, в какую гавань он плывёт, для того не существует попутного ветра».

Я незвольно вспомнил при этом рабочих, помогающих геологам в разведке карпатских недр, шахтёров Солотвинских соляных копей, лесорубов с Верховины, студентов из села Ясеня, Фёдора Сусика из Вуршан, цыган — вспомнил всех моих новых знакомых в Закарпатья и, вспомнив, мысленно пожелал им попутного ветра, ибо все они знают, в какую гавань плывут.

---

<sup>1</sup> Айно — так, конечно.

## Рассказы о больших находках

### Ключи к барьеру

#### Неудача Пастера

Известие о том, что французский учёный Пастер нашёл способ борьбы со страшной болезнью — собачьим бешенством, — взбудоражило весь мир.

Человеку, искусанному бешеной собакой, спасения не было. С неотвратимой неизбежностью наступала смерть, беспощадная, мучительная.

Тысячи людей во всех странах гибли от этой болезни.

И вот впервые в истории медицины, 6 июля 1885 года, Пастер ввёл мальчику Жозефу Мейстеру средство, которое должно было дать то, что казалось совершенно невозможным, — спасти жертву яда бешенства.

Пастер сделал Жозефу Мейстеру 14 уколов. Каждый день по одному уколу.

Это и была прививка против болезни бешенства.

Через месяц уже не оставалось никаких сомнений в том, что страшный яд обезврежен.

Прививка спасла мальчика.

Вслед за Жозефом Мейстером был вскоре спасён тем же способом другой мальчик, пастух Жюппиль.

Весть о чудодейственном лечении облетела все страны. Отовсюду стали приезжать в Париж, к Пастеру, пострадавшие, которым грозила ужасная смерть.

Однажды, в 1887 году, порог кабинета Луи Пастера переступила группа русских крестьян. Они прибыли откуда-то из глубины Смоленщины. Их было 19 человек — все искусанные бешеным волком.

Это были люди, обречённые на смерть.

Им начали делать прививки.

Газеты были полны описаний этого случая.

Описывалось, как их принимают, обследуют, лечат. Заключались многочисленные пари: останутся эти русские крестьяне жить или они погибнут?

Гений Пастера восторжествовал.

Русские крестьяне провели лечение и

уехали домой, избавленные от неминуемой гибели.

Но уехали не все. Трое уже не вернулись на родину.

Они скончались в ужасных мучениях.

Как объяснить эту неудачу Пастера? Почему три человека составили исключение?

Микроб бешенства, невидимый пока ни в каком микроскопе — это микроб центральной нервной системы, — как микроб холеры, например, — это микроб тонких кишок, микроб дизентерии — микроб толстых кишок, микроб пневмонии — микроб лёгких.

Попавая в тело человека при укусе заражённым животным, микроб бешенства не обнаруживает никакого особенного действия до тех пор, пока он не достигнет мозга. Когда начинаются изнурящие, безостановочные судороги всего тела, водобоязнь, буйный бред, то это значит, что микроб уже хозяйничает в мозгу.

Чтобы микроб добрался до мозга, нужно время. Проходит от трёх до шести недель. Иногда больше.

В чём заключался способ Пастера?

Пастер высушивал кусочек спинного мозга кролика, болевшего бешенством.

В этом кусочке спинного мозга находились микробы болезни. Высушивание их ослабляло, уменьшало их ядовитость, или, как говорят, их вирулентность.

Чем больше высушивается мозг кролика, тем меньше сила микробов, заключающихся в нём. Самый маловирулентный кусочек мозга получается на 14-й день сушки.

С него и начинают прививки.

Привитые микробы, заключающиеся в кусочке мозга 14-го дня сушки, очень слабы. Защитные силы организма легко их одолевают.

Справившись с ними, защитные силы начинают справляться с микробами 13-го дня сушки, затем — 12-го дня сушки, 11-го дня и так до 1-го дня сушки, то есть и с самым свежим, самым сильным ядом.

После этого защитные силы организма

уже могут справиться и с микробами, внесёнными укусом.

Важно только не опоздать. Надо перхватить микробы по дороге в мозг.

В этом вся суть.

Если прививки успеют развить свою силу, своё действие до того, как микроб поселится в мозгу, болезни не будет.

Если микроб опередит и проскочит в мозг раньше, болезнь неизбежна.

Неизбежна и смерть.

Всё зависит от срока, от того, сколько времени прошло с момента укуса до момента прививки.

Русские крестьяне были укушены не одновременно. Одни пострадали раньше, другие — позже на несколько дней.

Трое умерших принадлежали к наиболее ранним.

Для них прививка опоздала.

Всё это понятно.

Но непонятно одно: почему прививка убивала микробов бешенства только до того, как они попадали в мозг? Почему прививка действовала на микробов в любом месте, а в мозгу на них не действовала?

Удалось Пастеру это объяснить?

Нет, для Пастера и для многих тысяч учёных после него загадка оставалась неразрешённой.

### Пациенты профессора Юрега

Профессор Юрегг был психиатром и заведывал кликой душевнобольных.

Среди его пациентов имелось много больных прогрессивным параличом.

Это очень мрачная, очень печальная болезнь. Как бы она ни начиналась — легко или тяжело, — она кончается слабоумием.

А это, пожалуй, хуже, чем смерть.

До того как профессор Юрегг занялся ею, эта болезнь считалась неизлечимой.

После многих лет напряжённой работы, исканий, успехов, ошибок, разочарований, коротких надежд, долгих периодов отчаяния, затем снова уверенности, профессор Юрегг нашёл наконец путь борьбы с нею.

Это был путь, который вызвал вначале всеобщее изумление врачей, а затем возмущение и насмешки.

Самого профессора чуть не объявили больным, сумасшедшим.

Чтобы вылечить тех, кто заболел прогрессивным параличом, Юрегг заражал их другой болезнью.

Он заражал прогрессивных паралитиков лихорадкой, малярией. Малярией в самой активной форме — с острейшими приступами, с потрясающими ознобами, с высокой, изнуряющей температурой.

Он смело осуществил то, что вытекало из сделанных до него и опубликованных

в печати наблюдений одесского врача Розенблюма над тормозящим прогрессивный паралич действием лихорадочных заболеваний.

И оказалось, что профессор Юрегг вовсе не был чудачком или помешанным.

До профессора Юрегга из 100 прогрессивных паралитиков кончало слабоумием 100. Число выздоравливающих равнялось нулю.

У профессора Юрегга из 100 прогрессивных паралитиков кончало слабоумием 17.

Число выздоравливающих равнялось, следовательно, 83.

Благодаря Юреггу тысячи людей избежали страшной участи, грозившей им полной потерей человеческого облика.

Успехи Юрегга заставили смолкнуть насмешки, издевательства, возражения.

Его метод получил общее признание и был увенчан Нобелевской премией.

Всё ясно в этом прекрасном завоевании пытливого человеческого ума?

Нет, не всё.

Прогрессивный паралич — болезнь центральной нервной системы, болезнь мозга. Это — последнее заболевание, называемой сифилисом.

Возбудителем сифилиса является, как известно, микроб, носящий своеобразное имя — бледная спирохета.

Если начать лечение возможно раньше и лечиться аккуратно, от этой болезни ничего в организме не останется. Человек будет здоров совершенно и окончательно.

Если лечение запаздывает и, кроме того, ведётся несистематически, непланово, неаккуратно, сифилис внедряется в организм и выбить его оттуда — уже дело трудное.

Самое плохое — то, что благодаря неаккуратному и запоздалому лечению бледная спирохета успеет добраться до мозга и поселиться там.

Тогда положение становится совсем печальным. Дело может кончиться — и часто кончается — прогрессивным параличом.

Немецкий учёный Эрлих создал сальварсанное лечение сифилиса. Сальварсан — особый препарат мышьяка.

Сальварсан убивает бледную спирохету во всех органах тела.

Но если бледная спирохета поселилась в мозгу, сальварсан ничего с ней сделать не может.

Всё это понятно.

Но непонятны два обстоятельства.

Первое: почему сальварсан уничтожает бледную спирохету повсюду, во всех участках организма, кроме мозга?

И второе: что сделал Юрегг? В чём смысл заражения малярией? Почему малярийный приступ со своей высокой температурой

останавливал прогрессивный паралич, то есть помогал салварсану убивать бледную спирохету, забравшуюся в мозг?

Сумел это объяснить Яурегг?

Нет, для венского профессора и для многих тысяч других учёных загадка оставалась нерешённой.

### Сила мозга

Физиология — наука, которая занимается процессами, происходящими в живом организме, его функциями. Она исследует, как работают те или иные отдельные органы тела и все вместе. Она прослеживает роль каждой ткани в живом существе.

В числе других советских научных учреждений изучение функций организма ведёт и Институт физиологии Академии наук. Здесь в многочисленных кабинетах и лабораториях ставятся всевозможные опыты, чтобы проникнуть в ещё не раскрытые тайны печени, почек, желудка, сердца, нервных центров, крови.

Руководит всей этой деятельностью академик Лина Соломоновна Штерн.

Штерн сумела поднять завесу над некоторыми сокровенными явлениями живой высокоорганизованной природы.

Всегда и больше всего её интересовала в человеческом теле та область, которая служит основным стержнем всех процессов, разыгрывающихся в нём.

Это нервная система. Даже ещё точнее — центральная нервная система.

Разумеется, отсюда не следует, что Штерн не занимают другие области. Она сделала, например, чрезвычайно интересные и важные открытия, связанные с деятельностью желез внутренней секреции.

Тем не менее больше всего внимания Штерн уделила всё же центральной нервной системе.

Значение мозга в организме чрезвычайно велико. Жизнь человека, работа всех частей такого необыкновенно тонкого и сложного механизма, каким является человеческое тело, регулируется главным образом мозгом, нервными центрами, расположенными в мозговых полушариях.

Роль мозга исключительна.

Его нельзя сравнить ни с каким другим органом.

Можно привести, примера ради, следующий поразительный, но исторически верный случай.

В тюрьме города Копенгагена, столицы Дании, один из заключённых был приговорён к смертной казни. Его должны были четвертовать.

Разумеется, происходило это не в наши дни, а много лет назад.

Врачи Копенгагена обратились к властям с просьбой, чтобы преступника умертвили путём вскрытия вен. Они мотивировали

свою просьбу тем, что вскрытие вен — более гуманный способ казни.

Но у врачей была и другая цель. Они хотели воспользоваться случаем и произвести один эксперимент.

Власти просьбу врачей удовлетворили. И приговорённому сообщили о замене ему четвертования вскрытием вен.

Казнь произошла в назначенный день и час. Были сделаны все приготовления — преступнику связали руки, завязали глаза. А затем вскрыли вены.

Через несколько секунд кожа его покрылась холодным потом, тело стало биться в мелких судорогах. Потом движения ослабели. Наступила смерть.

Всё было так, как и должно быть при ничем не задерживаемой потере крови. И холодный пот, и судороги, и смерть — всё, как полагалось. Кроме одного.

Кроме того, что никаких вен ему не вскрывали и ни одной капли крови у него не выпустили.

Врачи сделали ему несколько лёгких, поверхностных надрезов кожи. А потом пустили тонкую струю тёплой воды. Тёплая вода текла по его руке, словно тёплая кровь.

Но преступник, у которого были закрыты глаза, ничего этого не знал и не видел.

Поэтому он думал, что льётся кровь. А с ней уходит жизнь.

Так он думал. Но работа мысли — это работа мозга. Уверенность в том, что наступает смерть, — тоже работа мозга. Она как бы внушала всем органам и тканям тела, что они умирают. И жизненные функции органов и тканей преступника под влиянием такого «приказания» мозга начали останавливаться.

И остановились.

Смерть наступила в результате лишь одной психической работы мозга.

В этом, кстати сказать, и заключался тот эксперимент, который хотели провести врачи Копенгагена. Они проверяли таким образом силу самовнушения.

Случай с копенгагенским преступником является только наиболее разительный пример силы действия внушения, действия психики.

Но ведь имеются тысячи фактов, менее ярких, но таких же убедительных. У человека изжога, боли под ложечкой, неукротимая рвота. О чём подобные явления говорят? О какой болезни они свидетельствуют? Это все признаки язвы желудка.

А на самом деле никакой язвы нет. У человека появилась мысль, что у него язва.

Мысль эта укрепилась. И вот нормальные процессы желудка под влиянием мозга извратились, стали вести себя, как при настоящей язве.

У профессора Андреева была пациентка, молодая женщина, с такими симптомами, что не оставалось никаких сомнений в диагнозе. И ей поставили диагноз: рак желудка.

Все врачи, которые осмотрели больную, пришли к заключению, что спасти молодую женщину можно, если немедленно вырезать раковую опухоль.

Профессор Андреев сделал операцию, вскрыл желудок.

А потом зашил, ничего не вырезав.

Никакого рака не нашлось. Ни в желудке, ни в соседних органах. Не оказалось даже подобия опухоли.

Это был не рак, а самовнушение — редчайший случай самовнушения.

Есть болезнь, которая называется истерией. Она очень часто бывает у женщин. Это болезнь нервов и психики.

Такая больная может внушить себе, например, что у неё паралич руки или ноги. И действительно, рука или нога у неё перестают действовать.

Никакого паралича у неё нет. Это тоже работа мозга.

Можно приводить подобные примеры без конца. Вероятно, каждый врач сталкивается с ними в своей деятельности.

Так что роль мозга в организме действительно исключительно велика.

Нормальная работа мозга — основа здорового организма.

### **Хрупкие клетки**

Нормальная, постоянная работа мозга может совершаться лишь при постоянных и неизменных обстоятельствах питания и обмена веществ мозговых клеток.

Всё, что нарушает питание и обмен веществ, нарушает деятельность мозга.

Природа поставила мозговую ткань в условия очень суровые и серьёзные.

В самом деле. С одной стороны, на мозг возложена исключительно ответственная роль в организме. А с другой стороны, нервно-мозговые клетки отличаются необыкновенной чувствительностью, очень высокой ранимостью, большой восприимчивостью к вредным влияниям.

Первые клетки не обновляются, не размножаются. Одни и те же клетки составляют мозг со дня рождения до смерти.

Значит, число клеток ограничено.

В то же время нервно-мозговые клетки легко разрушаются, легко гибнут.

Можно сказать, нервно-мозговые клетки — очень нежные, очень хрупкие образования.

Что получится, если человек съест некоторое количество недоброкачественной пищи — не совсем свежее мясо, например?

У него может появиться тошнота, может быть отрыжка. Или болезненность в обла-

сти печени. Или боли в желудке. Или расстройство кишечника.

И всё. Пройдёт несколько дней — и желудок, и печень, и кишечник успокоятся, войдут, как говорят, в норму.

Как бы обстояло дело с мозгом, с нервными клетками? Так же просто кончилось бы для них это лёгкое отравление?

О, нет. Далеко не так же!

Если бы продукты недоброкачественной пищи проникли в мозг, то тогда обнаружилась бы очень тяжёлые последствия.

Вся высшая нервная деятельность была бы резко нарушена. Помимо расстройства психического порядка — погемнения сознания, бреда, страшных головных болей, часто до беспамятства, — начались бы перебои сердца, судороги, может быть, остановка дыхания.

Человек в этом случае уже скоро не поправился бы. Это был бы тяжело больной, нуждающийся в длительном лечении.

Как видите, можно вполне сказать, что по сравнению с клетками желудка, или печени, или кишечника нервно-мозговые клетки — действительно очень нежные и очень хрупкие образования.

А между тем вредных, отравляющих веществ в человеческом теле сколько угодно.

Уже один пищеварительный тракт — желудок, тонкие и толстые кишки — огромный резервуар, в котором образуется множество более или менее сильно отравляющих продуктов. Через стенку кишечника всасываются в кровь продукты разложения, продукты распада пищи, продукты жизнедеятельности бактерий.

Их, вероятно, вполне хватило бы, чтобы в течение нескольких минут отравить всю центральную нервную систему.

Разумеется, этим нежелательным посторонним веществам не так уж безнаказанно обходится их пребывание в нашем теле.

Они обезвреживаются печенью, селезёнкой, лимфатическими железами, почками. В этом же принимает участие необозримое количество лейкоцитов (белых кровяных шариков).

Если печень, селезёнка, почки, лимфатическая система в порядке, то очищение крови от чужеродных и порой опасных веществ совершается безукоризненно.

Но всё же не настолько безукоризненно, чтобы ничего от этих веществ не оставалось. Какая-то доля их ускользает от обезвреживания и циркулирует в крови.

Эта доля очень мала. Она не причиняет почти ничего плохого, по крайней мере, ничего заметно плохого всем органам тела.

Всем органам тела. Но не мозгу.

Даже эта крохотная доля достаточна, чтобы отравить мозг и вызвать в нём непоправимые расстройства.

Почему этого не происходит? Почему его деятельность не нарушается? Кто охраняет мозг?

На решение этого вопроса Штерн направила всю свою способность исследователя.

### **Барьер защиты**

В Институте физиологии проделали следующую опыт с кроликом.

Кролик был самый обыкновенный, с розовым носиком, с розовыми глазами, ушами, лапками и с такой совершенно белой шерстью, что когда он сидел, поджав лапки, то всё вместе казалось клубком ваты с розовыми наклейками.

Кролику впрыснули в вену трипановую синь — 25 граммов, то есть около 2 столовых ложек.

Трипановая синь — это синяя краска.

И вот кролик стал синеть. Посинели носик, лапки, уши, глаза.

Когда состригли с него шерсть, то кожа под ней тоже была синей.

Затем кролика умертвили и произвели подробное вскрытие. И всё оказалось синего цвета — и печень, и желудок с кишками, и лёгкие, и почки, и селезёнка, и сердце, и мышцы.

Словом, трипановая синь пробралась всюду.

Нашлось только одно место, сохранившее свой естественный цвет. Это был мозг.

Он остался таким же бело-серым, каким был и до вливания краски. Ни одна крупинка трипановой сини в него не проникла.

Что это значило? Почему в мозг не попала синяя краска? Очевидно, что-то её туда не пропустило. Следует думать, что краска встретила на пути к мозгу препятствие.

В институте проделали ещё один интересный эксперимент. Его объектом была собака — средней величины дворняжка с коротким хвостом, очень весёлая, подвижная, бойкая.

Ей впустили в вену раствор кальция. И не каких-нибудь 25 граммов, а 150, то есть более полустакана. Словом, влили большую дозу.

Что произошло после этого с собакой?

Ровным счётом ничего. Прошёл час, другой, полдня, день, а собака оставалась такой же, какой и была, без всяких перемен в поведении, состоянии, настроении.

Тогда произвели с ней другой эксперимент.

Взяли тонкую иглу и вкололи её в затылок собаки, чуть пониже так называемого затылочного бугра, в то самое место, где позвоночный столб соединяется с основанием черепа.

Игла вошла, таким образом, в промежу-

ток между первым позвонком и дном черепа, пробила оболочку мозга и остановилась. Из наружного отверстия иглы закапала светлая, прозрачная жидкость.

Это была спинномозговая жидкость, которая всегда окружает мозг.

Теперь к игле приставили шприц и влили внутрь, в спинномозговую жидкость, тот же раствор кальция. Раствор тот же, но количество совсем другое. Количество очень ничтожное. В 300 раз меньше, чем было влито в вену. Всего с полграмма, то есть несколько капель.

Произошло после этого что-либо с собакой?

Да, произошло нечто весьма удивительное. Собака стала валиться на пол. Ноги перестали её держать. Мало этого: даже просто удержать голову у неё не хватило сил. Голова опускалась до самого пола.

Все мускулы собаки как бы превратились в тряпки. Собака лежала, распластавшись на полу, не будучи в состоянии ни подняться, ни передвинуться, ни повернуть голову, ни шевельнуть ухом.

Можно было подумать, что нервные центры потеряли способность управлять мышцами.

И эту поразительную перемену вызвали всего несколько капель раствора кальция.

Но почему же количество кальция, большее в 300 раз, влитое в вену, не произвело никакого действия?

Если полграмма привели собаку в такое тяжёлое инвалидное состояние, то 150 граммов должны были вызвать настоящую катастрофу, а может быть, и смерть.

А на самом деле ничего этого, как мы видели, не было.

Почему?

Потому что ни одна капля этой сравнительно огромной массы раствора, напльнувшей через вену русло крови, не проникла в мозг и не повлияла на нервные центры.

Кровь пронесла 150 граммов раствора через кровеносные сосуды всего тела и через кровеносные сосуды мозга. Но ни в одну нервномозговую клетку раствор не попал.

Что-то мешало раствору кальция из крови пробраться в мозг. Или хотя бы в спинномозговую жидкость.

### **Постоянство пропорций**

Природа одела головной мозг в крепкий костяной шлем — череп. Это его защита от сотрясений, ударов, от внешних опасностей, от внешних, так сказать, врагов.

Спинной мозг имеет свою костную покрывку — позвоночный столб. Крепкие позвонки также надёжно охраняют спин-

ной мозг от наружных толчков, ударов, ушибов.

Головной мозг и спинной мозг в основном образуют то, что называется центральной нервной системой.

Надо полагать, что такой важный орган, как центральную нервную систему, природа позаботилась защитить и от внутренних врагов так же надёжно.

Это верно. Ни один орган тела не укутан в такое число оболочек, как головной и спинной мозг.

Сразу же под черепом располагается твёрдая мозговая оболочка. Эта плотная, довольно грубая ткань — как бы первый пояс обороны.

К нему примыкает вторая оболочка — паутинная. Она очень тонкая, её волокна перешелестаются и образуют рисунок, похожий на паутину. Это настолько рыхлая, своеобразно запутанная ткань, что в ней враг должен как бы задержаться надолго, пока его не достигнут защитные силы организма. Таков второй пояс обороны.

Следующая и последняя оболочка облегает мозг вплотную. Она тоже рыхловатая, словно из ваты. И название у неё соответствующее — мягкая мозговая оболочка. Это теснейший сосед мозга. Именно в ней пробегают артерии и вены, питающие мозг. Можно сказать, что это третий пояс обороны.

Как видите, мозг действительно имеет неплохую охрану.

Но существует ещё одна полоса заграждения, через которую ведёт дорога к мозгу, — уже упоминавшаяся спинномозговая жидкость.

Спинномозговая жидкость заполняет пространство между второй и третьей оболочками, точно так же, как вода заполняет ров между двумя крепостными стенами.

Оболочки окружают мозг со всех сторон. Следовательно, и спинномозговая жидкость делает то же самое.

Количество этой жидкости незначительно — не больше трёх четвертей стакана.

Но эти три четверти стакана чрезвычайно важны для мозга, для его работы, даже для его жизни.

Всё в мозг идёт через спинномозговую жидкость. Только через неё. Именно сюда поступают из капилляров крови питательные вещества для клеток. Мозг питается только тем, что даёт ему спинномозговая жидкость. Это как бы база снабжения мозга.

Всё, что полезно и нужно для мозга, попадает раньше в спинномозговую жидкость. Всё, что вредно и не нужно для мозга, например отходы клеточного обмена веществ, также извлекается спинномозговой жидко-

стью и ею же передаётся в капилляры крови.

От состава спинномозговой жидкости в значительной степени зависит деятельность мозга. Известно, например, что психические процессы сопровождаются потреблением фосфора. Если не будет в спинномозговой жидкости фосфорных солей, не будет и достаточной психической деятельности.

Вот почему врачи при умственном переутомлении назначают внутрь препараты фосфора. Этим пополняют его чрезмерное израсходование клетками мозга.

Состав спинномозговой жидкости действительно имеет крупнейшее значение для мозга.

Но при выяснении всего этого обнаружилось, что дело не столько в том, какие вещества находятся в спинномозговой жидкости, сколько в том, каково в ней отношение разных веществ друг к другу.

Особенно интересной оказалась роль калия и кальция.

Калий возбуждает, подстёгивает мозг. Кальций как бы успокаивает, утихомиряет его.

Калия в спинномозговой жидкости почти в 2 раза больше, чем кальция. Их отношение соответствует 2 : 1.

При такой пропорции клетки мозга, клетки мозговых центров, видимо, чувствуют себя наилучшим образом и работают нормально.

Если калия, например, вдруг станет больше, если его отношение к кальцию будет 3 : 1, а не 2 : 1, то это уже начнёт чрезмерно возбуждать мозг, как бы подготавливать его.

Ясно, что получится. Все процессы в организме как бы затормозятся, как бы перейдут в бег. Сердце забьётся сильнее и быстрее, появится сердцебиение, дыхание станет учащённым, прерывистым, движения мышц — судорожными.

Если, наоборот, калия окажется в спинномозговой жидкости меньше, если его отношение к кальцию будет 1 : 1, то мозг начнёт как бы засыпать. Человек станет вальтаться с ног.

И может получиться так, как у собаки, которой прибавили в мозг кальция, то есть уменьшили отношение калия к кальцию. Она не могла даже поднять головы.

Правильная работа мозга, зависящая от постоянства условий питания и обмена веществ клеток нервномозговых центров, совершается только при постоянном составе спинномозговой жидкости.

А постоянный состав, в свою очередь, может сохраняться лишь тогда, когда в эту жидкость будет поступать только то, что для неё требуется.

Это ясно.

Но вот вопрос: кто наблюдает за тем, чтобы в спинномозговую жидкость не попадало ничего лишнего?

Есть такие контролёры?

### Задача барьера

Да, есть. Их искали и нашли. Нашла их Штерн.

Оказалось, что в основном это клетки капилляров, клетки тончайших стенок капиллярных кровеносных сосудов.

Клетки капилляров в печени, в руке, в мозгу, в почках, в глазу представляются даже под микроскопом совершенно одинаковыми. Ничем они как будто друг от друга не отличаются.

Но обнаружилось, что разница между капиллярами есть.

Разница эта не в форме клеток. Разница в функции, во внутренней работе клеток капилляров и в мельчайших невидимых деталях их строения.

Клетки стенок капиллярных сосудов мозга отличаются тем, что пропускают из крови в спинномозговую жидкость ровно столько веществ и таких, сколько и каких нужно для мозга.

Ничего лишнего эти клетки не пропускают.

Они как бы знают, что и сколько требуется перевести из крови в спинномозговую жидкость.

Они как бы знают, чего нехватает и что находится в избытке в спинномозговой жидкости.

Эти контролирующие клетки являются чем-то вроде барьера.

Если в спинномозговой жидкости мало какого-нибудь вещества, барьер словно отодвигается и пропускает из крови это вещество.

Как только нехватка запомнится, барьер как бы опять становится на своё место, и доступ в спинномозговую жидкость прекращается.

При избытке какого-либо вещества или при накоплении отходов обмена веществ происходит обратная история. Барьер отодвигается, чтобы излишек мог покинуть спинномозговую жидкость и перейти в кровь.

Равновесие, нужное мозгу, устанавливается.

Таковы клетки стенок мельчайших кровеносных сосудов в центральной нервной системе.

Они и получили соответствующее название: кровеносной барьер. Или, по специально медицинской терминологии, гематоэнцефалический барьер.

Теперь понятно, почему 150 граммов раствора кальция, влитые в вену собаке,

не произвели никакого действия. Их не пропустили в мозг клетки капилляров. Их остановил гемато-энцефалический барьер.

Также понятно, почему трупная синь окрасила все ткани и органы белого кролика, а в мозгу её не оказалось ни крупицы.

Это сделал гемато-энцефалический барьер. Он охранял мозг от краски.

Так Штерн и её сотрудники решили ту задачу, о которой мы говорили: узнать, что защищает безопасность мозга?

Они открыли смысл гемато-энцефалического барьера.

Это было замечательнейшее и труднейшее открытие.

Теперь спросим: хорошо всё это? Хорошо, что гемато-энцефалический барьер оберегает мозг от всяких вредных влияний, от ядовитых веществ, от нарушения постоянства состава спинномозговой жидкости?

Конечно, хорошо. Очень хорошо.

Но плохо то, что не всегда непроницаемость гемато-энцефалического барьера полезна организму. Иногда она приносит большую беду.

Может ли теперь удивить то обстоятельство, что у Пастера были случаи смерти людей от яда собачьего бешенства, хотя прививки были произведены?

Нет, не может. Привитое вещество не попало в мозг, где гнездились возбудители бешенства. Гемато-энцефалический барьер его туда ни за что не пропускал.

Точно так же он не пропускал в мозг препараты ртути и сальварсана — эти превосходные средства против прогрессивного паралича.

Бледная спирохета сидела в мозгу по ту сторону гемато-энцефалического барьера, а лекарства, которые могли бледную спирохету убить, находились по эту сторону барьера, который был для них непроницаем.

Вместо того чтобы помогать организму, гемато-энцефалический барьер помогал злейшим врагам организма.

Значит, перед Штерн вставала новая задача — найти, как открывать дорогу через барьер для веществ, полезных организму.

### Контролёр становится неисполнительным

В одном из отделов Института физиологии лежит на особом столе собака. Ей производят операцию. Одну, другую, третью. Хирург делает большие разрезы, идёт глубже, расширяет раны. Этот хирург — в то же время и экспериментатор. Его цель — искусственно нанести собаке большое повреждение.

И вот у собаки наступает то, чего добивался экспериментатор. Она лежит непо-

движно, с остановившимся взглядом глаз, безучастная ко всему окружающему. Сердце её бьётся еле-еле.

Напоминает что-нибудь это состояние собаки?

Да, напоминает. Оно очень похоже на шок, на травматический шок у людей. На шок в начальной его стадии.

Шок — дословно значит удар. Это болевой удар по центральной нервной системе. Удар этот может произвести ранение пулей, осколком снаряда, миной. Удар этот может вызвать и операция, большая, глубокая, очень травмирующая.

Во всех случаях шок показывает, что высшая нервная система, управляющая дыханием, сердцем, кровеносными сосудами, как бы внезапно ослабела.

Так у собаки и получилось.

Теперь экспериментатор вводит собаке иглу между позвонками, набирает в шприц немного светлой, прозрачной спинномозговой жидкости и несёт в лабораторию.

Его интересует, что происходит в этой жидкости с её составными элементами. Он определяет в ней количество калия и кальция, этих её важнейших солей.

И когда всё подсчитано, экспериментатор с удивлением видит, что получаются необычные цифры. Уже нет отношения калия к кальцию, как 2 : 1.

Есть отношение — 1 : 1.

Это значит, что гемато-энцефалический барьер перестал оберегать постоянство состава спинномозговой жидкости. Калий начал покидать её.

Проходит ещё несколько минут. Собака продолжает лежать на столе. Состояние её ухудшается. Всё тело становится холодным, как бы окоченевшим. Она почти не дышит. Если её уколоть иглой, то она даже не обратит внимания на боль.

Это картина усиления шока.

Экспериментатор извлекает новую порцию спинномозговой жидкости и несёт в лабораторию.

Стоят ли цифры калия и кальция в прежнем положении — 1 : 1?

Нет, цифра калия пошла ещё дальше вниз. Она достигла 0,5. Отношение стало такое: 0,5 : 1.

Гемато-энцефалический барьер всё так же не выполняет своей задачи. Это уже не прежний исполнительный контролёр. Он выпускает почти весь нужный для спинномозговой жидкости калий.

Гемато-энцефалический барьер стал проницаемым.

Это сделал шок.

### Открытие прохода

Изучение спинномозговой жидкости при шоке позволило понять ещё ряд явлений в центральной нервной системе.

Вот у совершенно здорового человека вдруг обморочное состояние. Его сознание темнеет.

Тогда его выносят на свежий воздух, и он приходит в себя. Что это значит?

Мы никогда над этим не задумывались. Ну, стало человеку дурно, вот и всё. Мы говорили, что от духоты у человека закружилась голова. И это было просто и понятно.

На самом деле это было совершенно непонятно.

Теперь, после работ Штерн, мы знаем, что за этим кроется интереснейшее физиологическое явление. Недостаток кислорода нарушил непроницаемость гемато-энцефалического барьера. И тогда в спинномозговую жидкость проникли необычные, неположенные вещества и отравили мозг.

При голодании у человека часто появляются галлюцинации, даже бред. Не всегда, но часто. Нехватка пищи изменила непроницаемость барьера.

У больного гриппом замечается помрачение сознания, несвязная речь: высокая температура нарушила непроницаемость барьера, и в спинномозговую жидкость хлынули посторонние вещества.

Если втянуть в шприц спинномозговую жидкость, а потом вогнать её обратно, и повторить это 15—20 раз подряд, то есть сделать то, что в физиологии называется «буксованием по Сперанскому», — барьер тоже потеряет свою непроницаемость.

То же самое получается при долгой бессоннице, при облучении рентгеновскими лучами. Инфракрасные лучи, ультракороткие электроволны дают тот же эффект.

Множество опытов, множество усилий на протяжении ряда лет позволили найти, один за другим, те обстоятельства, которыми, как ключами, открывался гемато-энцефалический барьер.

Что же, плохо это? Плохо ли, что ряд причин позволяет прорываться сквозь барьер веществам, скверно действующим на мозг?

Да, это не очень приятно. Это нарушает постоянство состава спинномозговой жидкости.

Но, с другой стороны, нельзя ли эти ключи использовать к нашей выгоде?

Вспомним венского профессора Юрегга. Он зарежал прогрессивных паралитиков малярией. После этого больные поправлялись.

Сам Юрегг был убеждён, что высокая температура малярии просто-напросто как бы оглушала бледную спирохету и делала её беспомощной против сальварсанных медикаментов.

Теперь мы знаем, что Юрегг ошибался. Высокая температура действительно играла главную роль: она изменяла проницаемость

барьера и открывала через барьер проход салварсаным препаратам. Лекарство проникло в спинномозговую жидкость, в мозг, в самое логово бедных спирохет. Теперь оно могло их уничтожить.

**И уничтожило.**

Всё это стало понятно главным образом только после работ Штерн.

Изучение факторов, влияющих на гемато-энцефалический барьер, также является крупной заслугой советского учёного.

Имея ключи к барьеру, можно было в случае надобности открывать дорогу в спинномозговую жидкость.

Задача была в сущности решена. Но практически это выходило сложно и не всегда выполнимо — пользоваться высокой температурой, голодом, бессонницей.

Тогда Штерн нашла ещё один путь через барьер — более прямой и скорый.

### **Прорыв барьера**

Появилась эта маленькая запаянная стеклянная ампулка всего несколько лет назад.

Впервые она участвовала в операции, которая была сделана в Ленинградском травматологическом институте.

Больной, для которого понадобилась эта ампула, был доставлен в операционную комнату в тяжёлом состоянии. Его внесли на носилках неподвижного. Это была жертва трамвая. Больного предстояло срочно оперировать. Но не только нельзя было вскрыть ему брюшную полость, в которой находится очаг повреждения, нельзя было даже сделать маленький разрез.

У больного был безучастный взгляд, устремлённый куда-то вдаль. На вопросы он отвечал тихо, не меняя выражения лица. Кроме того пульс у него еле прощупывался.

Словом, это была грозная картина травматического шока.

Больного нельзя было сразу оперировать.

Его осторожно сняли с носилок и положили на стол, на бок. Теперь можно было увидеть затылок, который только что в предоперационной комнате выбрили и смазали йодом.

Хирург взял длинную тонкую иглу, вколол её в кожу чуть ниже затылочного бугра и стал медленно продвигать её дальше. И вот тут на сцену появилась маленькая ампулка.

Сестра, стоявшая у столика с инструментами, сломала запаянный конец и всосала в шприц содержимое ампулки. В шприц набралось с половиной чайной ложки, то есть 2—3 грамма, бесцветной жидкости.

В тот момент, когда из иглы, введённой в затылок больного, стала капать спинно-

мозговая жидкость, сестра подала хирургу шприц.

Хирург вставил носик в наружный конец иглы и нажал поршень. То, что было в шприце, пошло внутрь, в спинномозговой канал, в спинномозговую жидкость.

Наступила пауза. Прошло десять секунд, двадцать, тридцать. Лицо больного медленно розовело. В глазах появилось живое выражение. Хирург ощутил, как пульс больного становился ясным, полным, ритмичным: давление крови, только что бывшее ничтожным, быстро поднималось. Сердце начинало работать нормально.

Вот теперь уже можно было приступить к неотложной операции.

Что здесь произошло? Вам, вероятно, уже понятно. Больного вывели из шокового состояния. Вывели быстро, в кратчайший срок, измеряемый секундами и минутами.

Кто это сделал? Маленькая стеклянная ампулка?

Да, отчасти и маленькая стеклянная ампулка. Но только отчасти. Главную роль сыграла игла.

Что она сделала?

Она пробила гемато-энцефалический барьер. Она силой нарушила его непроницаемость. Она силой доставила в спинномозговую жидкость то, чего там не хватало. А, как вы знаете, при шоке там не хватало калия. Надо было уравновесить избыток кальция, чтобы восстановить отношение 2 : 1.

Подброска калия восстанавливала это отношение.

Игла, проколовшая кожу, вошедшая в промежуток между основанием черепа и первым позвонком, пробившая твёрдую и паутинную оболочки, выполнила эту задачу почти мгновенно.

Игла насильственно открывала путь в спинномозговую жидкость для раствора калия, содержавшегося в маленькой стеклянной ампулке.

А нужно ли это было? Нужно ли было применять насилие? Может быть, следовало использовать те способы, которые тоже делают барьер проходным?

Нет, нельзя было. Ни высокая температура, ни бессонница, ни голодание, ни рентгеновские лучи, ни инфракрасные лучи не подошли бы. Здесь требовалась быстрота. При шоке иногда и секунды имеют значение.

Нет, только игла решала эту шоковую проблему.

Таков замечательный метод борьбы с шоком, который предложила Штерн. Он кажется необыкновенно простым.

**И это действительно так.**

Однако, чтобы его наметить, разработать все детали, его технику, чтобы найти лучшую дозировку, учесть и предупредить все

возможные ошибки, случайности, связанные с манипуляциями на таком органе, как мозг и его оболочки,— словом, чтобы добиться этой простоты, требовались многие годы исследований, опытов, бесконечное количество контрольных экспериментов.

Потребовались усилия десятков учёных — помощников и сотрудников академика Штерн.

Но результаты окупали эту громадную работу.

Когда профессор Машанский в Ленинградском травматологическом институте сделал при шок в впервые этот подзатылочный прокол, правильность штерновской идеи была доказана и на человеке.

Это было торжеством советской науки.

### Кончик иглы

Как уже было сказано, впервые бороться с шоком по штерновскому методу стали в Ленинграде, в Травматологическом институте.

Неоспоримый и демонстративный успех прорыва барьера и замечательное действие капли обещали этому методу широкую популярность среди врачей. В арсенале хирургов появилось новое сильное оружие.

Но вот стали поступать сообщения о неудачах.

Неудачи были совершенно непонятными. Врачи объясняли, что они проделали всё точно, как полагалось. Ни в чём они не отступали от указаний тех, кто создал этот метод.

Проверка показала, что так оно и было. Всё выполнялось правильно. И всё же неудачи имели место.

Странно было то, что у одних результат получался бесспорный, а у других, при тех же, казалось бы, условиях, ничего не выходило. Никакого впечатления на шок калий не производил. Приходилось немедленно прибегать к другим средствам.

Стали думать, что виновата маленькая ампула, препарат, раствор калия. Проверили. Нет, препарат был не при чём. Его пришлось оправдать, снять со скамьи подсудимых.

Предположили, что количество калия в некоторых случаях оказывается недостаточным. Может быть, следует увеличить дозу?

Но выяснилось, что и этого не требуется. Начали сомневаться ещё во многом. И всё проверили. И всё оказалось безупречным.

Шли изыскания, ставились новые опыты, придумывались самые замысловатые причины.

И вдруг наткнулись на кончик иглы. Виновник переполоха нашёлся. Кончик иглы мог сорвать всю большую идею.

В чём же дело?

Всё дело было в том, куда смотрит при вкалывании этот кончик иглы. Важнейшие нервные центры, такие, например, как центры дыхания, сердечной деятельности, а также центры, управляющие другими внутренними органами, находятся в основном на дне так называемого четвёртого желудочка — особого щелевидного углубления мозга. За четвёртым желудочком располагается третий желудочек, тоже очень важный участок мозга.

Калий надо вводить возможно ближе к этим центрам.

Вот в чём залог успеха.

Игла вкалывается в подзатылочную область. И она входит в спинномозговую жидкость как раз на границе головного и спинного мозга, в так называемую большую цистерну.

Если кончик иглы будет направлен несколько книзу, то есть будет смотреть в сторону спинного мозга, то раствор калия полётится вниз, в канал спинного мозга.

А надо, чтобы калий попал не в район спинного мозга, а в спинномозговую жидкость района желудочков мозга.

Для этого кончик иглы должен чуть-чуть, на самую крошку, подниматься и смотреть на головной мозг.

Теперь уже получается то, что требуется.

Калий под давлением поршня доберётся прямо до желудочков мозга.

Лишь только история кончика иглы выяснилась, с неожиданным затруднением было незамедлительно покончено.

Ещё раз было доказано, что когда речь идёт о жизни и здоровье человека, мелких вопросов не существует.

Метод Штерн вернул себе признание.

Во время Великой Отечественной войны на фронт шли многочисленные маленькие стеклянные ампулы. Они хорошо делали своё дело борьбы с шоком. Это не значит, конечно, что другие методы лечения шока, такие, например, как переливание крови или новокаиновая блокада, были оставлены.

Можно ли обойтись только вливанием калия, а всё остальное отбросить?

Нет, нельзя. Нельзя потому, что шок у разных больных бывает разным. Отличаются одни случаи от других своими причинами, причиной возникновения и сопутствующими изменениями и обстоятельствами.

В зависимости от этого и должно применяться то или иное средство.

Если шок сопровождается большой потерей крови, лучше всего бороться с ним переливанием крови. И борются.

Если шок возникает при ранениях конечностей, например ног, с разможданием здесь нервных стволов, лучше всего с ним справиться новокаиновая блокада, то есть

обезболивание всего поражённого нервного участка большим количеством новокаинового раствора. И справляется.

Если нет ни того, ни другого, то наиболее уместно введение в спинномозговую жидкость раствора фосфорнокислого калия — того самого, о котором мы только что говорили.

И получается, как вы знаете, весьма неплохо.

Верность всего этого была подтверждена очень ярко в годы Великой Отечественной войны.

Переливание крови спасло тысячи раненых бойцов, которым шок угрожал смертью.

Другие тысячи были спасены новокаиновой блокадой.

Такое же спасение приносит и метод Штерн.

А может ли быть так, что у раненого сразу и большая потеря крови, и разможжение нервных стволов, и нарушение состава спинномозговой жидкости?

Может быть.

Тогда лучшей борьбой с шоком будет применение сразу нескольких средств: и переливание крови, и успокаивающее лекарство, и обезболивание, и, если нужно, введение фосфорнокислого калия.

В медицине есть один замечательный принцип: надо лечить не болезнь, а больного. Один человек не похож на другого. Точно так же и организм одного человека отличается от организма другого человека. Поэтому и болезнь у разных людей протекает по-разному. Хотя бы болезнь была одна и та же.

Это означает, что в медицине не должно быть шаблона. Нельзя всех лечить по одной мерке. В отношении шока этот принцип также остаётся в силе. И при шоке учитываются особенности организма, особенности сопутствующих обстоятельств.

Наличие нескольких методов помогает избегать шаблона. А значит, и помогает врачу лучше выполнять свой долг, то есть принести больному наибольшую пользу.

### **Шок не остался одиноким**

Итак, Штерн во многом подчинила воле науки действие гемато-энцефалического барьера.

А при других страданиях?

При других страданиях насильственный прорыв барьера тоже оказался удачным средством исцеления.

Совершенно понятно, что прежде всего внимание Штерн обратилось к недугам, непосредственно связанным с центральной нервной системой.

Одним из таких недугов является столбняк.

Это страшная, беспощадная болезнь. Смерть от неё почти неизбежна. Случаи

выздоровления от столбняка очень редки. Но смерть — это мало. Столбняк причиняет ужасные, невыносимые мучения, которые не оставляют больного до самого конца.

Столбняк вызывается микробами, живущими в земле. Это не только опасные враги человека, но и коварные. Микробы столбняка почти не размножаются в теле человека. Попадая из земли в ранку на ноге или на руке, они обосновываются здесь и здесь же, спустя более или менее короткий срок, погибают. Если они даже и размножились, то обычно дальше места своего поселения ни они, ни их потомки не идут, не распространяются.

Поэтому часто бывает так, что ранка заживает, словно это пустяковая царапина.

А смертельное дело уже сделано. Потому что вредное вещество, которое выделяют микробы столбняка, их токсины, уже двигается по нервным волокнам к спинному и головному мозгу.

Яд столбняка — это яд центральной нервной системы.

Заболывают столбняком, как ни странно, редко.

Миллионы людей и в городах, и в деревнях, и в лесах, на огородах, в полях возятся с землёй. А столбняк бывает у единиц.

На самом же деле это не странно, так как заразиться столбняком не так уж просто. Для этого недостаточно иметь на руке царапину или порез. Надо, чтобы порез был большой, глубокий, с разможжением ткани, с загрязнением. А это бывает не у миллионов, а именно у единиц. Если, конечно, не считать войны.

На войне как раз очень часты именно такие раны, какие любит столбняк, какие нужны микробам столбняка, чтобы они могли жить и вырабатывать свой токсин.

На войне заражение столбняком может принимать массовый характер. Но и на войне поражаются столбняком тоже только единицы. Потому что на всякий случай каждому раненому обязательно — и возможно раньше после ранения — сразу же впрыскивают предупредительное лекарство — антитоксин столбняка.

Если вовремя произвести впрыскивание, то опасности от столбняка не будет никакой.

Но допустим, что такой случай заболевания столбняком произошёл. Чем может помочь метод Штерн?

Очень многим. Можно сказать, всем.

Никакими впрыскиваниями антитоксина уже ничего нельзя сделать, если болезнь ясно обнаружилась. Поздно. Яд уже пробрался в центральную нервную систему.

Помочь может только введение антитоксина прямо в мозг. Это значит, что надо прорвать гемато-энцефалический барьер и

вливать антитоксин непосредственно в спинномозговую жидкость.

Многочисленные опыты с собаками, заражёнными столбняком, подтвердили, что этот способ спасает жизнь.

Метод Штерн удалось применить у немногих, так как больные столбняком попадаются нечасто. Однако успех был несомненным.

Но вот болезнь, которая имела многочисленные жертвы,— эпидемический энцефалит, эпидемическое воспаление мозга.

Эта болезнь очень распространилась в своё время, сейчас же после первой мировой войны, и была известна под именем «сонной болезни».

Первая мировая война давно кончилась, около трёх десятков лет назад. А люди с этой болезнью часто встречаются до сих пор. Только тогда они были молодыми. А сейчас это старики.

Они не умерли от эпидемического энцефалита. Они уцелели. Но они продолжают болеть. Болезнь течёт медленно-медленно, незаметно и постепенно ухудшает состояние этих людей с их застывшими лицами, непрерывной дрожью рук, пальцев.

Эпидемический энцефалит—болезнь мозга. Она вызывается особыми мельчайших размеров микробами, проникшими в человеческое тело и засевшими в мозгу.

Когда эти микробы попадают в организм, то он вырабатывает антитела, свой антитоксин.

Почему антитела организма не уничтожают микробов эпидемического энцефалита?

Потому что эти антитела не могут попасть в мозг. Их не пускает гемато-энцефалический барьер. А микроб сидит в мозгу.

Таких людей с явлениями эпидемического энцефалита стали лечить методом Штерн. Разумеется, калий здесь не при чём. И надо пользоваться не фосфорно-кислым калием из запаянной ампулки.

Здесь делают иначе.

Из крови больного получают сыворотку, в которой содержатся защитные вещества. Это те антитела, которым барьер не давал ходу, задерживал их.

Теперь игла шприца открывает им дорогу. Производят прорыв барьера, и сыворотку подводят прямо к мозгу.

И врачи убедились, что это действительно останавливает болезнь.

Есть очень известная болезнь — язвенная болезнь. Это язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, толстых кишок. Почти каждый о них слышал.

И вот их пробуют лечить по методу Штерн.

Почему? На каком основании?

Очень просто. Есть причины полагать,

что язвенная болезнь — результат какого-то нарушения в тех нервных центрах мозга, которые, видимо, связаны с желудком и кишечником.

Начнут нервные центры неправильно регулировать пищеварение, возникнут сперва расстройств, а затем и язвы органов пищеварения.

На метод Штерн возлагается надежда, что с его помощью, может быть, удастся вмешаться в мозговые центры и перестроить их работу так, чтобы они стали лучше регулировать процессы кишечника.

При некоторых болезнях кожи нервного происхождения также пытаются найти путь через гемато-энцефалический барьер. Имеются уже данные о ряде случаев с хорошими результатами.

Как видите, шок не остался одиноким. У него оказались компаньоны — болезни, также поддающиеся воздействию штерновского метода. И этих компаньонов становится всё больше и больше.

Не удивительно, что число сторонников учения Штерн о гемато-энцефалическом барьере и число практических выводов из этого учения всё время растёт.

### Поправка к природе

В организме человека скрывается много микробов: одни — более опасные, другие — менее опасные.

Каждую минуту с воздухом, с водой, с пищей попадают в организм новые микробы. Из кишечника в кровь и в особую жидкость — лимфу — всасываются продукты разложения, разные вредные, отравляющие вещества.

Всё это враги здоровья и жизни.

Каждый из них в состоянии отравить человека «на тот свет» быстро и неотвратимо.

Отчего же человек живёт как бы в безопасности, не видя, даже не чувствуя многих из этих врагов, живёт 60—70—80 и даже более лет?

Оттого, что у человека есть защитники организма, которые ведут непрерывную борьбу со всеми врагами, зорко охраняют жизнь и здоровье людей.

Не будь их, этих защитников, человек не мог бы существовать. Он стал бы лёгкой, беспомощной жертвой любого микроба, любого токсина, любого отравляющего продукта разложения.

Откуда взялись в организме защитные силы?

Они вырабатывались на протяжении сотен тысяч, а может быть, и миллионов лет.

Вырабатывались они в процессе борьбы за существование всех предшествовавших поколений человека на земле и даже его животных предков.

Выжили наиболее приспособленные.

Защитные силы организма — это приспособления, которые помогли и помогают человеку выживать.

Великий мастер — природа выковала эти приспособления. Но защитные силы организма не есть существа, обладающие собственным разумом и пониманием.

Это автоматические, если можно так выразиться, существа. Они выполняют свои функции даже тогда, когда это может быть организму и не в пользу.

Они несколько напоминают гипотетических роботов, механических рабочих, которых, по мнению американских инженеров, можно якобы сконструировать и сделать на заводах из металла.

Стоит нажать кнопку — и робот начнёт идти. Ещё нажатие кнопки — робот остановится.

Но если вторую кнопку не нажать, то робот будет идти и идти, дойдёт до стены, проломает стену и пойдёт дальше, если это даже грозит разрушить весь дом.

Робот не рассуждает, а исполняет.

Защитные силы иногда тоже ведут себя, как роботы.

А это нередко приводит к очень нежелательным последствиям.

Белые кровяные шарики, или лейкоциты, как мы знаем, борются с микробами. Они захватывают этих возбудителей болезней, втягивают их в себя, уничтожают.

Но лейкоциты, захватив, например, туберкулёзную палочку, иногда не в состоянии с ней справиться, переварить её, так как микроб туберкулёза имеет плотную оболочку.

Вместе с таким непереваренным, уцелевшим микробом лейкоцит может перебраться в лимфатический узел. А это грозит тем, что когда микроб освободится наконец от лейкоцита, он начнёт размножаться и в лимфатическом узле появится новый очаг туберкулёза.

Лейкоциты, эти защитные силы организма, действуя слепо, в данном случае приносят уже вред человеку.

Что такое гной?

Это скопления лейкоцитов, напавших на вредных микробов или на постороннее вещество и уничтожающих их.

В червеобразный отросток слепой кишки проникли опасные микробы. Появляется у человека болезнь — аппендицит. Лейкоциты со всех сторон спешат сюда, чтобы бороться с микробами. Гноя здесь может образоваться так много, что стенка червеобразного отростка прорвётся, — наступит прободение отростка. Тогда лейкоциты с микробами попадут в брюшину.

И вот начнётся гнойное воспаление брюшины, тяжёлое заболевание, грозящее смертью.

В утончении стенки виноваты лейкоциты.

Это плохо. Защитные силы природы уже не помогают в беде, а отягощают беду.

Гемато-энцефалический барьер — защита мозга, не пропускающая ничего, что может вызвать разброд в высших нервных центрах.

Конечно, это очень хорошо.

Но гемато-энцефалический барьер часто не пропускает в мозг то, что должно спасти заболевший организм.

Мы это видели при прогрессирующем параличе, при бешенстве, при столбняке, при эпидемическом энцефалите.

Это, несомненно, плохо. Природа, создавшая барьер, уже приносит не пользу, а вред.

Значит, природа допустила какие-то ошибки. Ошибки надо исправлять. Наука этим и занимается. Люди науки вносят поправки в законы слепой природы.

Работы советского физиолога Штерн внесли и свою долю успеха в решение этой задачи.

М. ЧАРНЫЙ

## А. А. Фадеев

### I

Александр Александрович Фадеев появился на литературном горизонте Москвы в первой половине двадцатых годов. Помню высокого стройного юношу с мягким взглядом живых глаз, в сапогах, в широкой и длинной коричнево-серой рубашке кавказского образца, какую носили в те годы многие партийные и советские работники юга, с узким пояском, отделанным металлическим набором.

В литературе того времени пытались ещё задавать тон люди, всеми своими литературными вкусами связанные с дореволюционной литературой и к революции подошедшие в лучшем случае как наблюдатели, со стороны, чуть высокомерные и чуть снисходительные наблюдатели.

Некоторые писатели шеголяли такого рода изречениями: «У литературы (художественной) не может быть задачи», «Формальный признак живой литературы — тот же самый, что и внутренний: отречение от истины».

Если речь шла в противзвездиях этих писателей о революции, то она изображалась в лучшем случае как стихийная сила, как ураган, зародившийся неизвестно где и пронёсшийся над старой Россией. Человек революции изображался в лучшем случае как «некто в кожаном» (знаменитые кожаные куртки), суровый, решительный, мрачный, но в общем совершенно непонятный, без внутренней мотивировки его действий, без проникновения в его характер.

А. А. Фадеев пришёл в литературу из совершенно другого мира. Он пришёл к революции не из литературы, а из революции в литературу. Родившийся в 1901 году, А. Фадеев уже в 1918 году, то есть не достигнув 17 лет, вступил в партию большевиков. Фадеев находился в это время на Дальнем Востоке, где свирепствовали интервенты и белогвардейцы. Революционная деятельность юноши Фадеева началась с

подпольной борьбы: он участвовал в партизанском движении против интервентов, Кочака и других белогвардейских атаманов.

Насколько активным и заметным революционером был А. Фадеев, можно судить по тому, что весной 1921 года его избрали делегатом на X Всероссийский съезд партии. В это время в Кронштадте вспыхнул контрреволюционный мятеж, и Фадеев в числе других делегатов прямо из зала заседания отправился на фронт под Кронштадт. Здесь в бою он был серьёзно ранен.

После выздоровления Фадеев сделал попытку продолжать прерванное гражданской войной учение и поступил в московскую Горную академию. Но закончить её не удалось. Он уходит со второго курса Академии и возвращается на партийную работу. С осени 1921 года по осень 1926 года Фадеев работал в Москве, на Кубани, в Ростове на Дону, редактировал большую краевую газету, был ответственным сотрудником партийных комитетов.

Художник рождается незаметно, и попытки определить дату появления нового писателя обыкновенно искусственны и не дают точных результатов. Когда возникла первая мысль о самостоятельном литературном творчестве? Когда зашевелились в сознании и сердце художника первые образы его будущих произведений?

Занятый государственной и общественной работой, А. А. Фадеев, однако, уже в 1922—1923 годах написал «Разлив» и «Против течения», повести, вдохновлённые его опытом участия в партизанском движении на Дальнем Востоке. Но только когда в 1927 году появился «Разгром», роман на материале того же партизанского движения, читатель и критика отметили появление нового значительного писателя.

Впрочем, это произошло не сразу и не совсем единодушно. Теперь смешно вспоминать, какие оценки давали «Разгрому» двадцать лет тому назад представители

формалистских, эстетско-меньшевистских пиколок, которые в те времена ещё пытались навязывать свои вкусы молодой советской литературе. Так, один автор писал, что «роман этот довольно ловко сделан и напоминает разговор русского по-французски фразами из самоучителя». По мнению этого автора, литература должна «описывать не людей, а дело».

Представители старых эстетских школ заметили прежде всего, что молодой советский писатель Фадеев «учится у Толстого», «подражает Толстому», «находится под влиянием Толстого». Зерно истины в этих замечаниях было. Но люди, ограниченные своими формально-эстетскими критериями, не могли понять, что самая учёба у Толстого была в то время явлением не только прогрессивным, но смелым и новаторским.

Некоторые литераторы двадцатых годов в своих поисках нового стиля исходили больше от Андрея Белого и Ремизова, от символистско-декадентской предреволюционной литературы, чем от великих реалистов XIX века.

Им противостояла группа таких писателей, как А. Серафимович, В. Маяковский, Ф. Гладков, Д. Фурманов, А. Неверов, Вс. Иванов и другие, которые в новых условиях продолжали традиции русского реализма и прежде всего традиции великого родоначальника советской литературы Максима Горького.

Обращение Фадеева к Льву Толстому означало обращение к углублённому реализму, к людям, ибо, вопреки формалистскому недомыслию, невозможно отрывать дела от человека, так же как и человека от дела. Одно время в советской литературе пользовался популярностью образ массы-стихии, которая являлась основным героем произведения. Человек, личность теряли свои индивидуальные черты и совершенно тонули в многоголосом хоре действующей массы. В такой манере письма отражалось представление о революции как о стихии без границ и начала. Но представление это было неверным, искажающим реальную действительность, и «стихийный» метод в литературе очень скоро должен был обнаруживать свою несостоятельность.

А. Фадеев, М. Шолохов и другие молодые писатели, появившиеся из недр революционного народа почти одновременно в середине двадцатых годов, выступили с произведениями о гражданской войне, в которых масса несколько не обезличивала человека, а наоборот: чем больше человек являлся подлинным выразителем революционной массы, тем большая возникала потребность в том, чтобы показать всю глубину и сложность внутреннего мира такого человека-героя.

Фадеев учился у Толстого уметь проникать в человеческий характер и воссоздавать его с наибольшей силой правды и полноты, но те, кто упрекали его в работе «по самоучителю» не понимали, что молодой писатель исходил не столько от Толстого, сколько от самой жизни, а жизнь эта была совершенно новой и необычная.

В этом восприятии новой жизни, людей, поднятых революцией, Фадеев испытывал естественное влияние Горького больше, чем какого бы то ни было другого художника.

Именно здесь обнаружилась значительность и новаторство «Разгрома».

В литературе ещё почти совершенно не было отражения великой организующей, идейной силы, которая революцию вдохновляла, организовала, вела в бой и привела к победе. Ещё не было в литературе значительного реалистического образа большевика. Одной из первых попыток в этом направлении рядом с «Чапаевым» Дм. Фурманова был «Разгром».

Эта идейная, организующая сила революции выявлена не только в образе командира партизанского отряда Левинсона, человека высокого революционного сознания и самоотверженности. Она в группе партизан-рабочих, людей сурового шахтёрского труда, самыми условиями этого труда и опытом рабочего движения обученных дисциплине, организованности, выдержке. Эта группа рабочих составляет основное ядро партизанского отряда, идейную организующую силу революции, управляющую стихией, Фадеев сумел показать даже в образах партизан, подверженных иногда анархистскому своеволию, как эта сила воздействует на человека, как она выращивает в нём лучшие его задатки и подавляет дурные.

Пафос «Разгрома», его идейная кульминация лучше всего выражены в словах о Левинсоне, в котором жила «огромная, несравнимая ни с каким другим желанием, жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека». Это была мечта, зовущая на борьбу, на испытания, на подвиги. Она вырастала не из слепоты, не из незнания реальной действительности. Фадеев потому и создал образ Мечика, образ старинтеллигентского воздыхателя, чтобы показать крах мечты, оторванной от народа, от действительности. Эта мечта оказывается не только беспочвенной, но, по существу, и ложной, так как Мечик разоблачается в конце концов, как человек, который во всём любит прежде всего самого себя.

Левинсон видит скудость и бедность жизни, окружающей его, но смысл его собственного существования как раз и заключается в борьбе за её преобразование. Он уже давно убедился, что «жизнь басни о красивых птичках» приносит только разо-

чарование и вред, он «беспощадно задавил в себе бездейственную сладкую тоску по ним» и пришёл к выводу, что мудрость заключается в том, чтобы «видеть всё так, как оно есть, для того, чтобы изменить то, что есть, и управлять тем, что есть». Не только мудрость, можем добавить мы, но и счастье, потому что познанная реальность и необходимость открывают дорогу чувству свободы.

Левинсон обрёл новую мечту, большевикскую мечту.

В следующем своём большом произведении, в романе «Последний из Удэге», Фадеев продолжает эту борьбу с ложной романтикой, с миром внешне соблазнительных иногда, но вредных иллюзий, во имя революционной романтики, во имя реальной борьбы за реальное счастье.

Одна из главных героинь романа, Лена, прошедшая через несколько кругов старинтеллигентского самообмана, приходит к выводу, что люди буржуазной и интеллигентски-буржуазной среды украсили свою жизнь многим выдумками «от страха перед её действительным безобразием и жестокостью...» Эти люди создали многочисленные мифы или, вернее, эксплуатируют старые мифы, старые понятия, которые давно потеряли для них своё реальное содержание.

«И Лена начала смутно догадываться теперь, что всё, о чём говорили за столом, в гостиной и кружках эти люди и люди, лепящиеся вокруг них и пресмыкающиеся перед ними, — о родине, о человечестве, о красоте, о любви, о милосердии, о доброте, о боге, о счастье, — всё это они плохо знают и во всё это плохо верят, а хорошо знают и верят они в то, что они должны вкусно и сладко есть, пить много хорошего вина, нарядно и тепло одеваться, наслаждаться красивыми и хорошо одетыми женщинами, не затрачивая никакого труда на то, чтобы всё это у них было».

Враждебен не только мир Гиммеров, открытых капиталистических хищников. Лена начинает ощущать как фальсификацию, ложь, пошлость всё то, что должно быть окружено ореолом святости и красоты, — любовь, искусство, долг в отношении родины, — но что в этом мире Гиммеров и Ланговых извращено и совершенно изгажено.

Фадееву, может быть, не всюду удалось с совершенной полнотой и убедительностью показать это последовательное нарастание чувства отчуждённости и враждебности Лены к тому кругу людей, чувств и понятий, в котором она выросла. Но общее развитие этого образа, безусловно, реалистично и исторически правдиво. Не нужны были никакие чрезвычайные события в личной жизни Лены, чтобы она увидела гнусность общества Гиммеров и Ланговых. И Фадеев проявил подлинный такт художника, изо-

бравив отношения Лангового к Лене как отношения вполне корректные и даже проникнутые вначале любовью.

Есть фактор, который невозможно учесть ни в каких цифрах и таблицах и очень трудно выразить в каком-нибудь одном действии или эпизоде, но который в эпохи больших общественных потрясений играет огромную роль. Это фактор моральный.

Маркс говорил, что в те периоды, когда классовая борьба приближается к развязке, лучшим людям господствующего класса становится невыносимым разложение старого общества, они отрываются от него и переходят на сторону революционного класса. На чувства и поведение Лены воздействовали и то, что она видела в доме Гиммеров, и то, что её отец и брат оказались в революционном лагере, и вся атмосфера революционной правды и народной правоты, которыми насыщен был воздух эпохи.

Не потому чуткая и отзывчивая Лена пошла к партизанам, что увидела мерзость семьи Гиммеров, а потому она увидела эту мерзость, что почувствовала: правда, настоящее мужество, честность, моральная красота — всё то, к чему стремилась её юная душа, всё это было на противоположной стороне, на стороне страдающего и борющегося народа. Поэтому ей стало так одиноко, тоскливо и мучительно в том доме, где она выросла. Лена начинает презирать Лангового потому, что чувствует, если не всегда сознаёт, что благородство Лангового объективно оказывается жадностью человека, дрожащего за свои привилегии, а мужество его оборачивается палачеством.

Тема Лены, тема мелкобуржуазной интеллигентки, ищущей пути в вихре революции, заняла так много места в «Последнем из Удэге» потому, что речь в этом романе идёт о времени, когда борьба за новое общество только началась, о годах гражданской войны. Пусть передовые люди революции (в романе их представляют прежде всего Сурков и Алёпа Маленький) уже ясно видели цель и знали пути к её достижению, значительная часть народа ещё была в движении, в поисках, даже в колебании.

Сурков и Алёпа Маленький являются посетителями тех черт, которые должны развиться в человеке нового общества. Эти черты зародились под влиянием лучших традиций трудового народа, десятилетний революционной борьбы рабочего класса. Настоящее благородство, мужество, чувство общественного долга присущи именно этим людям, которые воодушевлены лучшими идеалами времени. Именно здесь рождается красота нового человека.

Но сколько же ещё кругом мрака, грязи, следов рабства и угнетения, которые убивают в человеке его человеческое! Рабочий-

революционер Мартемьянов произносит в романе слова, полные глубокого волнения и долгих раздумий: «Много проехали мы стран и городов, не упомянуть и названий. И чего я тогда не посмотрелся, и чего я только не передумаю!.. Сколь велик мир! Сколь богат! Сколь много людей—разных цветов и языков—населяют его! Сколь непомерно много труда людского вложено в него—и в землю, и в сталь, и в камень! И сколь же нищеты, обмана, зверства в жизни нашей, сколь темноты, грязи! И ради кого? Ради кого, я спрашиваю?..»

Эти слова перекликаются с размышлениями Левинсона из «Разгрома» и могли бы быть поставлены эпиграфом ко всему роману, как выражение его основного идейного тона.

Фадеев развернул в «Последнем из Удэге» широкую картину разных социальных укладов, дал образы представителей разных общественных слоев—от первобытного племени Удэге до капиталистов большого города, от китайских хунхузов до врача Костенецкого, в котором мечтательность чеховского интеллигента преодолевается здоровым чувством народной правды. И весь роман пропитан стремлением, выразившимся в восклицании Мартемьянова, переделать этот мир, в котором столько нищеты, обмана, зверства, стремление к новому, прекрасному человеку.

Писатель нашёл этого прекрасного человека. Прошло почти четверть века после событий, описанных в «Разгрома» и «Последнем из Удэге». Неузнаваемо изменилась страна наша, строй её жизни, быта, люди. Вернулся ли Фадеев в «Молодой гвардии» к своим старым героям в новых условиях или нашёл новых? На этот вопрос невозможно ответить односложными «да» или «нет».

## II

Есть много книг интересных, полезных, занимательных, по-разному талантливых. Но бывают иногда книги, которые тысячи читателей сразу воспринимают с огромной радостью: «Вот это—настоящее!» Книги, которые ощущаются как удовлетворение какой-то большой духовной потребности общества, как ответ на давно поставленную временем задачу.

И сразу становится очевидным, что речь идёт не только о частном интересе, занимательности, талантливости, проявленной в той или иной области, а о явлении большого культурного порядка, о значительном факте духовной жизни народа.

К таким редким книгам относится «Молодая гвардия» Ал. Фадеева. В своё время мы прочитали в газетах сообщение о группе молодёжи городка Краснодар в Донбассе, которая в условиях немецкой оккупации

создала подпольную организацию «Молодая гвардия», вела героическую борьбу с врагом и почти полностью погибла. Война ещё продолжалась. Миллионы воинов сражались, многие из них погибали каждый день на разных фронтах, и сообщение о Краснодаре стало в плотный ряд многочисленных известий о подвигах и жертвах советского народа.

Но вот пришёл писатель и не только рассказал историю «Молодой гвардии» в подробностях, но силой своего искусства воссоздал живые образы людей, юношей и девушек, их матерей и старших товарищей, раскрыл их душевный мир, и мы, взволнованные до глубины души, следим за каждым поворотом уже известной нам истории, и не можем оторваться, и, перевернув последнюю страницу, ещё долго чувствуем присутствие героев книги и раздумываем над их судьбой.

Фадеев увидел в истории краснодонской организации молодых патриотов столько поэзии, исторического величия и драматизма, что факты сами по себе зазвучали великой симфонией. Надо было узнать эти факты, понять людей и прочувствовать их в каждом душевном движении так, как это может сделать только художник, и только такой художник, который органически близок людям Краснодарца. И Фадеев смело отказался от всех возможностей, предоставляемых писателю свободно созданными им героями, он пишет о подлинных людях и событиях, он называет имена, которые в сознании и памяти тысяч людей живут во всей своей живой конкретности, и соединяет в своём произведении могучую силу искусства с непогрешимой убедительностью истории.

Основные герои этой книги—юноши и девушки 16—19 лет, молодёжь, которая стоит на рубеже школы и самостоятельности, ребята того возраста, когда наиболее сильно и радостно ощущение заманчивых просторов, когда мир раскрывается, полный увлекательных возможностей, когда наиболее остро воспринимаются все краски природы, когда с каждым днём растёт гордое ощущение своей силы и уверенности в себе и в это общее радостное устремление навстречу жизни влетают первые, ещё не ясные, робкие мотивы любви.

Фадеев отлично даёт нам почувствовать аромат этой молодости, чарующую тайну созревания юношей и девушек, их свободное и счастливое развитие в маленьком шахтёрском городке Краснодаре Трапическим в их судьбе было то, что не успели они ещё расстаться с детством, как жизнь поставила их сразу перед попытками, которые с трудом могли преодолеть и люди зрелые, закалённые опытом. Было нечто особо общее в том, что безмятежность и

надежды юности так резко оказались обрванными чужой, грубой силой.

Ещё немцы не вошли в Краснодар, а тревога и чувство новой, страшной ответственности упали на души молодых людей. Это превосходно передано в сцене прощания Ули Громовой со своей лучшей школьной подругой Валей, которая из-за большой матери не могла эвакуироваться: «Ули плакала потому, что это был конец её детства, она становилась взрослой, она выходила в мир — и выходила одна».

Этот выход в мир в таких драматических обстоятельствах, экзамен на зрелость молодёжь выдержала с беспрецедентной доблестью. Здесь обнаружился самым наглядным образом характер советского молодого человека, тот новый характер, который сформировался за четверть века советской истории.

В организации «Молодая гвардия» было около ста человек, в романе подробно говорится о десятках из них. Фадееву в большой мере удалось показать живое разнообразие этих ребят, выросших в одних условиях, объединённых общей ненавистью и общей любовью, но таких разных в своём темпераменте, внешних проявлениях, тех глубоких, внутренних чертах характера, которые составляют неповторимый, индивидуальный облик человека.

В Уле Громовой, внешне сдержанной, даже чуть суровой и строгой, чувствуется с самого начала огромная внутренняя сила, сосредоточенная мысль, дремлющий вулкан страстей. Олег Кашевый — «ощущение свежести, силы, доброты, душевной ясности» и кроме того жгучность и чистота строгого ума. Валя Борц — девушка с сильным характером, в котором самолюбие и ум являются, пожалуй, преобладающими чертами. Люба Шевцова — артистка, не только «артистка» в дружески-фамильярных кавычках, которыми снабдили её краснодонские ребята, но артистка душой, с любовью к своей способности перевоплощения, с умением угадывать человеческие характеры, стройная, лёгкая, «как огонь», с дерзкой отвагой, с такой жизнерадостностью, которую не смогла сломить даже фашистская тюремная камера.

По лучше всех удался Фадееву образ Сергея Тюленина. С первого взгляда нет ничего особенного в этом босоногом парнишке несколько озорвого склада. Да в нём и действительно нет ничего особенного в том смысле, что таких, как он, тысячи ребят можно встретить на улицах, в школьных классах и в мастерских наших городов. Но в этом как раз и заключается достоинство образа, который с такой полнотой и любовью раскрыл Фадеев.

В Серёжке Тюленине бьёт через край буйная мальчишеская энергия, с трудом удерживаемая удачей, которая в детские го-

ды принимает часто формы озорства. Но душа Серёжки — чистая, честная и благородная. В ней живёт жажда действия, необыкновенного, смелого, дерзкого. И Фадеев убедительно показывает, как под воспитующим влиянием всей советской среды эта жажда действия выросла в беспокойной душе Серёжки в жажду подвига, разумного подвига во имя высоких целей, во имя народа.

Первые детские мечтания Тюленина овеяны славой праждавской войны. Над его постелью висят портреты Фрунзе и Ворошилова. Потом его грёзы наполняли Чкалов и Папанинцы на льдине. Дома и на улице он слышал на каждом шагу о необыкновенных достижениях Стаханова и Никиты Изотова, которые хотя и не воевали, но стали героями. В своих мечтах Серёжка уже не раз скакал с Будённым по Сальским степям, и летал с Чкаловым вокруг земного шара, и дрейфовал с Папаниным на льдине. А когда немцы оказались в Донбассе, он сделал всё, что мог, чтобы примкнуть к случайно оказавшейся рядом красноармейской части, и воюет, и в страшные короткие сроки превращается из мечтающего мальчугана в воина, который стреляет, и бьёт, и видит кровь и муки близких.

Очтившись снова в родном Краснодаре, Сергей ни на один день не остаётся в бездействии. По своей инициативе, на свой страх и риск он организует спасение раненых красноармейцев, которых не успели эвакуировать. Потом, на свой же страх и риск, один, начинает вести войну с оккупантами — собирает оружие, ведёт наблюдение за немцами, ворывает их здания.

Серёжка счастлив. Он стремительно растёт в духовном отношении, и пусть по внешности это ещё мальчуган и видны кое-где следы ребячества — Фадеев с улыбкой говорит о серёжкиной «позе члена Конвента времён французской революции», — но в этом босоногом «члене Конвента» не по дням, а по часам уже вызревает человек могучей духовной силы, сознания и долга, большого душевного обаяния.

Политики и генералы, экономисты и стратеги немало, вероятно, напишут о том, в чём состоял просчёт немцев во второй мировой войне. Они просчитались во многом, но уже сегодня бесспорно, что основной их просчёт касался характера и общей оценки советского человека.

Немцы-фашисты-не составители планов нападения на Советский Союз, конечно, знали о существовании Магнитогорска и Кузнецка, но эти претенденты на мировое господство, ослеплённые своей жалостью и злобой, не могли понять того нового чувства достоинства, ощущения свободных хозяев на свободной земле, которое вырос-

лю у советских людей за последнюю четверть века.

Новое, социалистическое сознание настолько прочно вошло в самое существо советского человека, что его не могли поколебать и самые мрачные испытания фашистского нашествия.

Бабушка Вера Васильевна — простая женщина из маленького городка Краснодона. Но она гордо несёт свою седую голову, она вела общественную работу на селе, воспитала сына, который стал геологом, заслужила персональную пенсию. Её дочь Елена Николаевна — вдова уважаемого советского работника, заведывавшего земельным отделом в Каневе, — мать Олега. Бабушку Веру немцы не избивали и не мучили в концентрационном лагере. Ей относительно повезло. Для немецкого генерала, поместившегося в квартире Кошевых, и для его адъютанта бабушка Вера и Елена Николаевна просто не существовали не только как люди, а даже как предметы. Немцы заняли лучшие комнаты в их квартире, они пользовались их услугами, но для того, чтобы заставить этих русских женщин работать, офицеры наделили властью своего денщика с палевыми веснушками.

«И, осваиваясь с этим новым и ужасным положением, — говорит Фадеев, — бабушка Вера с первых же дней обнаружила, что она не согласна мириться с этим положением». Замечательно это «обнаружила». Не имея возможности заранее достаточно ясно продумать всю унижительность и невозможность нового положения, бабушка именно обнаруживает, что всё её существо, все её чувства, самые глубокие и интимные, не могут мириться с положением рабыни этих надменных и жестоких захватчиков.

У сына бабушки Веры, геолога Николая Николаевича, гораздо сильнее развито отчётливое сознание долга, логическая оценка всей обстановки и значения немецкого господства, но и для него характерно это инстинктивное отталкивание от врага, внутреннее неугасимое чувство протеста: «...служить у немцев ему было так же неестественно и отвратительно, как ходить на четвереньках».

Ещё острее это чувство было у молодёжи. Бабушка Вера узнаёт в «новом порядке» черты давно ушедшего старого порядка, крепостного права, при котором были немцы-помещики «таки ж надменны и таки ж каты». Для юношей и девушек, знающих только советское общество, выросших в атмосфере свободы, этот немецкий «новый порядок» был вызовом на каждом шагу. Всё то, к чему они привыкли и что они считали естественным, как сама жизнь, — неограниченный простор возможностей учиться и работать, открытая перспектива, радость крениущей юности, ощущение сво-

ей свободы и сознание, что всё в этой стране принадлежит им, — всё это было нарушено, отменено, исковеркано, и они оказались во власти какого-нибудь немецкого ефрейтора, покрывающего на непонятном языке. «Та жизнь, на которую девушки были теперь обречены, вступила в непримиримое противоречие со всем прекрасным созданным в мире, независимо от характера и времени создания». В противоречии с немецким господством оказались песни и стихи Лермонтова, которые с особым проникновением читает подругам Уля Громова, вся родная природа, сама жизнь.

И Фадеев хорошо показывает, как мысль о партизанской борьбе, о подполье возникает одновременно в разных головах, у разных ребят — у Олега Кошевого и Вани Земнухова, Сергея Тюленина и Ули Громовой — как выражение их естества советских людей, комсомольцев. Потом они находят друг друга естественно и неизбежно, как ручьи находят русло реки, совместно с которой они составляют её могучее течение.

В Краснодоне случилось так, что представители старшего поколения, заранее оставленные для подпольной работы и организации партизанской борьбы, были почти все в самом начале деятельности схвачены немцами и замучены. Тяжесть борьбы легла в основном на плечи «Молодой гвардии».

### III

Нельзя не видеть, как тема «Молодой гвардии» перекликается с темой «Разгрома», написанного Фадеевым двадцать лет тому назад. Даже в узких сюжетных пределах много общего — и тут и там борьба в тылу врага, и тут и там шпатель больше всего интересуется характер советского человека. Может быть, именно тема партизан в некотором отношении предоставляет наибольшие возможности для выявления этого характера. Условия партизанской жизни таковы, что каждый человек в наибольшей степени поставлен лицом к лицу со своей ответственностью, своей совестью и пониманием своего места в жизни и революции. В условиях нормального государственного строя жизни, пусть даже потрясённого революционным взрывом, для многих людей, ещё не достаточно определившихся, остаётся немало возможностей инерции, жизни в общем потоке, без внутреннего решающего и ответственного самоопределения.

В тылу врага, в партизанском строе, то есть на островах, окружённых вражеской стихией, такая неопределённость почти невозможна. Каждый человек, плывущий в партизаны, уже тем самым принял самое ответственное решение, и каждый день ставит перед ним необходимость решать, продержит самого себя, продумывать и снова решать.

Фадееву тема партизан близка и мила. В «Молодой гвардии» он приступил, вооружённый большим личным и литературно уже освоенным опытом. Но можно было опасаться, что этот отличный опыт скажется также и отрицательно, что в новом романе проявится давление воспоминаний и материала прежних лет, мешая тому новому, что характерно для советских людей, живущих и действующих через четверть века в совершенно новых условиях. Эти опасения, к счастью, не оправдались. Изображая преемственность традиций и характеров людей гражданской войны и наших дней, Фадеев сумел увидеть и показать нам новые черты советского человека, выросшего в социалистическом обществе.

Может быть, наиболее значительной из этих черт является черта, воспитанная великой школой общечеловечности и государственности, которую прошли наши люди за годы советского строя и которая наложила глубочайший отпечаток на весь характер советского человека.

Почти четверть века тому назад Фадеев, говоря о народноармейцах Дальнего Востока, бояцах гражданской войны, писал в повести «Против течения»: «Настоящее название полка было 22-й Амгуньский стрелковый, а его рядовые бойцы во всех официальных приказах именовались народноармейцами. Но человек, около года не вылезавший из сопки, вскормивший несчётное количество вшей, исходивший все табачные тропы от Зейских истоков до устья Амура, привык к безвластью и безнаказанности и боялся порядка и дисциплины. А в новых наименованиях и, главное, в цифрах ему чудилось недопустимое посягательство на его свободу, завоеванную путём многих лишений в упрямых обомшавших станциях. И бойцы 22-го Амгуньского полка продолжали называть себя партизанами, а полк свой по имени старого командира — просто Семенчуковским отрядом.

Это была упорная и жестокая борьба между старым названием и новым, между выросшей в чернозёмных парях партизанской стихией и выплавленной в жарких вагранках окрепшей на железнодорожных путях разумной классовой волей. За старое боролся весь полк во главе с командиром Семенчуком, за новое — комиссар полка Челюков».

Превосходная деталь о ненависти партизан к официальному названию полка и в особенности к цифре говорит о многом. Она говорит о том, что эти партизаны, отрицая, как революционеры, старую дисциплину, порядок, организованность, не понимали, не чувствовали, не хотели новой организованности.

Это была одна из важнейших проблем, издавна стоявших перед революционным

движением, перед всем трудовым народом. Тот, кто не поймёт, что сделала партия большевиков для воспитания в русском и других народах бывшей царской империи чувства организации, целеустремлённости и дисциплины, для воспитания убеждения, что без организованности и дисциплины невозможно ни свергнуть старое, ни построить новое, — тот ничего не поймёт в великих переломах, прошедших в нашей стране в двадцатом веке.

С первых шагов своей революционной деятельности Ленин и Сталин не уставали говорить о первостепенном значении организации, организованности, и «организационный вопрос» всегда был важнейшим вопросом всей партийной работы большевиков. Ленин издевался над людьми, которые «становятся на колени и молятся на стихийность» («Что делать?» — 1902 год), и, неустанно воспитывая в партии начала строгого порядка, организованности и дисциплины, писал: «Чтобы центр мог не только советовать, убеждать, спорить (как делалось до сих пор), а, действительно, дирижировать оркестром, для этого необходимо, чтобы было в точности известно, кто, где и какую скрипку ведёт, где и как какому инструменту обучался и обучается кто, и где и почему фальшивит (когда музыка начинается ухо дрожать), и того, как и куда надо для исправления диссонанса перевести и т. п.» («Письмо к тов. о наших орг. задачах». 1902, т. V, стр. 190).

Плоды полувековой политико-воспитательной и организационной работы большевиков сказались в годы Отечественной войны не только в блестящей организации наших многомиллионных армий, но и в душе, в психологии, в характере каждого советского юноши и каждой девушки в далёком городе Краснодон. Какая разница в психологии этих краснодонских партизан и партизан гражданской войны! Те «боялись порядка и дисциплины», краснодонцы не только признают значение дисциплины, она им присуща как бы органически, чувство организации и порядка вошло в плоть и в кровь детей Советской страны. И молодые ребята, которые вчера ещё были действительно детьми, повав в исключительно тяжёлые условия немецкой оккупации, начинают действовать со строгой и разумной организованностью.

Эта организованность не удивляет нас, советских читателей, мы её воспринимаем как естественную и закономерную черту наших ребят, и в то же время эта организованность, идейная целеустремлённость и действительность так удивительны, что немецко-фашистским профессионалам сыска и шпионажа долго и в голову не приходило, что грозные партизаны, которые вели с оккупантами беспощадную и ловкую борьбу

бу, — это и есть юноши и девушки, которых они видят на улице каждый день.

Патриотизм этих юношей и девушек тоже много сорта и другой глубины, чем патриотизм людей дореволюционных и людей гражданской войны. «Люблю отчизну я, но странною любовью...» — говорил Лермонтов. К любви примешивалось чувство горечи за то тяжёлое, жалкое состояние, в которое поставили Родину и народ господствующие классы. Александр Блок, столько вдохновенных строк посвятивший родной стране, записывал, возвращаясь из-за границы домой, за несколько лет до революции: «Утром проснулся и смотрю из окна вагона. Дождик идёт, на пашнях слякоть, чахлые кусты, и по полю трусит на кляче, с ружьём за плечами, одинокий стражник. Я ослепительно почувствовал, где я: это она, несчастная моя Россия, заплёванная чиновниками, грязная, забитая, слюнявая, всемирно помешанная. Здравствуй, матушка!»

Сколько нежной любви, сколько пронзительной боли в этих словах!

И Василий Рублёв, рабочий-большевик, когда в 1917 году инженер Телегин начинает ему говорить о России, разделяя Россию и революцию, отвечает: «Россия, — он покачал головой усмехаясь, — это штука с подковыркой... Бывает, — до того остервенёшь на эту твою Россию... Кровью глаза зальёт... А между прочим, за неё погрём все...» («Хождение по мукам» Ал. Толстого). «Остервенёшь» — это относится к старому, к тому, во что превратили Родину дореволюционные господа. А «за неё погрём все» Рублёв относит к Родине освобождённой, к Родине, ставшей для народа матерью, а не мачехой.

Но юноши Краснодона уже давно были освобождены от этой двойственности чувства. Их любовь к Родине ничем не была омрачена. Россия стражников и помещиков, Россия грязная, забитая, неграмотная и униженная, кончилась в октябре 1917 года. Юноши Краснодона выросли в сознании непрерывного и быстрого роста культурного и хозяйственного могущества родной страны, с ощущением её несравненного морального авторитета во всём мире трудового человечества и, главное, с сознанием, что они, также как и все сыны народа, являются неограниченными хозяевами в этой стране и подлинными кузнецами своего собственного счастья.

Эти юноши, зная о гражданской войне только по книгам и рассказам старших, выросшие в условиях советского строя, привыкшие к воздуху свободы с первого дня своего рождения, считали эту свободу Родины таким естественным состоянием, что многие из них и не задумывались серьёзно над тем, что означает для них слово «Родина» во всей его интимной глубине

и сущности. Ведь о том, что без кислорода невозможно жить, начинаешь понимать как следует только тогда, когда его нехватает.

Когда настали дни испытаний, на юные головы и сердца молодогвардейцев легла и эта задача: прояснить до конца, прочувствовать со всей глубиной ответственности, прежде всего для самих себя, что такое Родина и чем каждый в эти страшные дни обязан для России. Превосходно сказано об этом в романе применительно к одному из молодогвардейцев, Анатолию Попову:

«За время войны он столько прочёл докладов на комсомольских собраниях о защите социалистического отечества, но ни в одном из докладов он не мог выразить ещё и того ощущения отечества, как чего-то большого и невучего, какой была его, Анатолия, мама Таисия Прокофьевна, с её рослым полным телом, лицом румяным, добрым и с чудными казачьими песнями, которые она пела ему с колыбели. Это ощущение отечества всегда жило в его сердце и исторгало слёзы из глаз его при звуках родной песни или при виде истоптанного хлеба и сожжённой избы. И вот отечество его находилось в беде, такой беде, что ни видеть это, ни думать об этом нельзя было без острой боли сердечной. Надо было действовать, действовать немедленно...»

В этой обстановке испытаний и борьбы юноши и девушки Краснодона выросли с каждым часом, стремительно мужали и умнели. Всё то, что было заложено в их характеры природой советского общества, все зёрна, посеянные великой школой нашей общественности и социалистического воспитания, проросли, и советский молодой человек предстал во всей своей силе.

Этот молодой человек был воспитан в духе широкого и деятельного гуманизма, уважения и любви ко всему трудовому человечеству. Любовь к своему и гордостью за своё несколько не ослабляет этого чувства всечеловечности. Уля Громова говорит: «Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали!»

Глубокое, чистейшее и самое непосредственное чувство гуманизма пронитывает всю эту книгу страданий и борьбы. Фадееву удалось с большой убедительностью воссоздать в романе атмосферу моральной чистоты, в которой живут рядовые советские люди. Она проявляется и в отношениях молодогвардейцев друг к другу, и в трогательной и поэтической юношеской и девичьей дружбе, и в целомудренно сдержанном чувстве любви, и в плафосе материнской и сыновней любви, и в той светлой идейности, глубоко вкоренившемся чувстве долга в отношении народа, Родины, который заставляет каждого из этих людей идти на подвиг.

Иностранным наблюдателям нашей жизни, наблюдателям издалека, высказывающим иногда беспокойство о крепости и святости семьи в СССР, можно было бы порекомендовать, между прочим, проследить хотя бы за теми величественными образами матери, которые с бесконечной любовью и уважением созданы в советской литературе. Один из этих образов — Елена Кошова в «Молодой гвардии». Отношения Елены Николаевны и её сына Олега — это поэма материнской и сыновней любви, любви такой драматической и полной высшего счастья.

В том-то и отличие нашего социалистического гуманизма, что он ведёт не к пассивной созерцательности или сентиментальному состраданию, а к укреплению воли в борьбе, к активному соучастию. Любовь к человеку должна вооружать на беспощадную борьбу с человеконенавистничеством и его носителями. Так было воспитано наше молодое поколение.

Великий и трагический опыт показал, что это за чудесное поколение! Какой замечательный сплав отлила наша эпоха! Лучшие исконные, старые черты русского народа сочтались в характере нового, советского человека с опытом вековых революционных движений, четверти века невиданной борьбы, дерзания, воли, строительства нового общества. Мечтательность и добродушие славянина, чувство свободы и военная удача запорожцев, революционная выдержка и закалка пролетариев Донбасса, свет гуманизма русской литературы, великий взлёт и размах Октябрьской революции, героика и опыт социалистического строительства — и вот рождается юный герой, новый человек нового общества, целое поколение, которое Фадеев характеризует следующими прекрасными и точными словами: «Самые, казалось бы, несоединимые черты — мечтательность и действительность, полёт фантазии и практицизм, любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчёт, страстная любовь к радостям земным и самоограничение, — эти, казалось бы, несоединимые черты вместе создавали неповторимый облик этого поколения».

Немало превосходных страниц посвящено в романе и представителям старшего поколения. Самые яркие из них — Матвей Шульга, Костянич, как его звали друзья, старый украинский рабочий-большевик, чуть лукавый, медлительный, спокойный, оставленный партией для подпольной работы, и хозяйственник из рабочих, директор шахты Валько, человек резких внешних черт и могучего темперамента. Эти образы, интересные сами по себе, выполняют в романе ещё одну чрезвычайно существенную функцию: они являются наглядной и прямой связью двух поколений

советских людей — тех, которые совершили революцию и заложили основы нового общества, и тех, кто уже вырос и полностью сформировался в условиях этого общества. Так осуществляются живая связь и преемственность традиций.

Знакомство с представителями старой гвардии обнаруживает всю естественность и последовательность развития характера представителей гвардии молодой. И тех и других объединяют прежде всего замечательная цельность характера, гармоническое единство их мысли и дела, их душевных побуждений и готовности следовать им. Одна из лучших сцен в книге — та, где Матвей Шульга и Иван Проценко готовятся остаться для подпольной работы в городе, который наши вынуждены оставить. Но внутренней своей силой, говорит Фадеев, это была сцена, затмевающая великие трагедии древних. Но внешне всё обстояло чрезвычайно просто, и писатель отмечает, что эти двое остающихся были в эти трагические минуты спокойны так, как никто в Краснодоне. «Они были спокойны потому, что в их душах было полное согласие между тем, как они поступали, и их совестью».

Эта внутренняя убеждённость, уверенность в своей правде составляли величайшую силу советских людей в самые мрачные дни войны. Повидимому, это хотел сказать и Петро Вершигора, когда он назвал свою книгу о партизанах «Люди с чистой совестью». Чистая совесть обладает удивительной способностью придавать необыкновенную силу воле, остроту — уму, даже необыкновенную физическую выносливость всему организму.

Во всём поведении Матвея Шульги особенно значительна роковая ошибка, которую он допустил в первый же день своего подпольного существования. Он, пожилой, умный, опытный человек, ошибся в людях. Он не доверился Лизе Рыбаловой, потому что, будучи раздражена тяжёлой жизнью, она наговорила ему резких и несправедливых слов. Он не доверился старику Кондратовичу, потому что у него был сын, сбившийся с честного пути. А доверился Шульга списку, по которому Игнат Фомин числился честным рабочим, стахановцем.

Сложность жизни бесконечна. Бесконечное количество причин в бесконечно многообразном количестве комбинаций воздействует на характер человека и его поведение, и как часто внешний облик человека противоречит его характеру, хотя этот характер не может не проявиться в поведении.

Надо много опыта, знания, ума и чуткости, чтобы без больших ошибок ориентироваться в людях. Ошибка Шульги стоила ему жизни. Но это трагическая ошибка большого, умного и сильного человека. И

поистине величием веет от сцены, в которой Матвей Костневич, находясь в тюремной камере, рассказывает Валько о том, что с ним случилось:

«И, не щадя себя, он рассказал Валько и о том, что говорила ему Лиза Рыбалова и что он, Шульга, отвечал ей в своей самонадеянности, и как ей не хотелось, чтобы он уходил, и она смотрела на него, как мать, а он ушёл.

По мере того, как он говорил, лицо Валько делалось всё сумрачней.

— Бумага! — воскликнул Валько. — Поверил бумаге больше, чем человеку, — сказал он с мужественной печалью в голосе. — Да, так бывает у нас частенько... Мы же сами её пишем, а потом не бачим, как вона берёт верх над нами...»

Бумага, формальное мышление, представление о человеке по стандарту — вот корень трагической ошибки. Совершенно правильно говорит об этом Валько: «...каждого человека любили видеть по форме — чистеньким да гладеньким. Кондрагович, божья душа, из формы выпал и показался тебе чёрненьким».

И эти два больших мужественных человека, казнь самих себя, в последние часы своей жизни говорят о свете, бумаге, форме, обо всём том, что мешало их великой честной работе на благо народа. Эта самокритика перед лицом смерти производит огромное впечатление.

Война научила многому, в том числе видеть, как эффектная форма бывает иногда обманчивой, а великие человеческие ценности скрываются иногда под внешне непримечательной формой. Эта наука обобщалась недёшево. Погиб Матвей Шульга, погиб Валько, погибло большинство героев «Молодой гвардии». Но опыт их светлой жизни вошёл в то вечное и бесценное, что называется сознанием, мудростью и совестью народа.

Как завет всем нам звучат просветлённые слова Костневича: «А самое дорогое на свете, ради чего стоит жить, трудиться, умирать, — то наши люди! Человек! Да есть ли на свете что-нибудь красивше нашего человека?»

Старый горьковский девиз о красоте человека и гордости им звучит здесь с необычайной силой. О человеческой красоте говорит старый большевик накануне своего смертного часа, и говорит он о советских людях после ни с чем в истории несравнимого опыта последних тридцати лет.

Разговаривая о советских людях, об их делах и возможностях, два узника, Шульга и Валько, почувствовали настоящее счастье. Мы совершенно верим писателю, который пишет, что Шульга заговорил напоследок «с весёлым счастливым лицом». Заключительная сцена тридцатой главы, в которой Андрей Валько и Матвей Шульга

накануне казни исповедуются друг перед другом и перед своей совестью и, просветлённые сознанием своей правильной жизни, счастливы быть в этот час вместе, сделана с огромной силой убедительности. Эти страницы, — несомненно, одни из лучших во всей советской литературе.

#### IV

«Молодая гвардия» вскоре же после своего выхода в свет стала одной из самых популярных и любимых книг советского читателя. Её талантливость, художественная привлекательность бесспорны. Но успех книги вызван не только этим. Иногда забывают, что существовал не только талант сам по себе, но чрезвычайно важно и направление таланта.

Роман Фадеева сразу занял такое существенное место в нашей литературе потому, что при своих художественных достоинствах он отличается ещё и тем, что его основные герои — это основные герои эпохи.

Когда Льва Толстого упрекнули за то, что в «Войне и мире» он изображает преимущественно дворян, людей господствующего класса, он раздражённо ответил, что только людей образованного класса знает и только они его интересуют. Это было, пожалуй, и не совсем верно. Ведь знал же Толстой и этих лет настолько хорошо крестьян, что создал образ Платона Каратаева, образ, который дал начало понятию «каратаевщина» и послужил Ленину для характеристики целой эпохи русского крестьянства.

За полемическими словами толстовского ответа угадывается ещё один мотив, может быть, гораздо более справедливый и существенный. В «Войне и мире» Толстой задумал дать картину огромных исторических событий, в которых решалась в значительной степени судьба самого русского государства и народа. Но внутри страны эти судьбы были прежде всего в руках дворянства. Оно было правящим классом и формально и фактически, оно было самым образованным классом. Его умение или неумение, ошибки и преступления в огромной мере определяли весь ход событий. И дать близкую исторической действительности картину этих событий Толстой мог, изобразив только людей этого класса.

Теперь основной герой нашего времени — сам народ, его лучшие представители, те, кого называют авангардом, те, кто являются носителями и выразителями его идей, его воли, его борьбы.

Правильное понимание проблемы героя является совершенно необходимой предпосылкой для наиболее целесообразного использования литературных сил. Не каждое

художественное произведение одинаково значимо, но каждый герой, не каждый литературный персонаж одинаково важен для общества. Борьба именно за такое понимание искусства является одной из традиций лучших умов русской литературы. Добролюбов писал: «...сила таланта может быть одинакова у двух художников, и только сфера их деятельности различна. ...Нам кажется, что для критики, для литературы, для самого общества, гораздо важнее вопрос о том, на что употребляется, в чём выражается талант художника, нежели то, какие размеры и свойства имеет он в самом себе, в отвлечении, в возможности».

Об одинаковости таланта у двух художников, применённой к материалу разного общественного значения, можно говорить, разумеется, условно и только в известных пределах. Современная наука знает, что форма не остаётся без воздействия со стороны содержания. Шекспир говорит, что любовь, если не проявляют её ничем, не существует. Талант, если не проявлять его ни в чём или проявлять в области малосущественной, неизбежно чахнет, и то, что было, как говорит Добролюбов, в отвлечении, в возможности, рискует измельчиться и даже пропасть вовсе.

Нет почти ни одного мало-мальски значительного произведения советской литературы, в котором не было бы образа большевика. Оно и естественно. Но в одних произведениях этот образ служит как обязательное свидетельство эпохи, в других он выполняет второстепенную функцию контраста в отношении героя, который больше всего занимает автора, в третьих он действует преимущественно за кулисами и существует, как рок в греческих трагедиях, чтобы изречь приговор судьбы. И в большинстве из них этот образ большевика не занимает центрального положения и потому не разработан так глубоко и содержательно, как другие образы. Так обстоит дело и в «Тихом Доне» М. Шолохова, и в «Хождении по мукам» Ал. Толстого, и в произведениях Л. Леонова, В. Иванова и других.

Ал. Фадеев отличается в этом смысле тем, что он прежде всего писатель партийной темы, писатель, для которого образ большевика является основным. Так было в «Разгрома», так и в «Молодой гвардии». При всех прочих достоинствах книги Фадеева именно этим определяется их значительность как крупнейших литературно-художественных документов эпохи. Они бьют «в точку», они дают образ подлинного героя нашего времени. Ал. Фадеев — писатель большевистской темы и большевистской трактовки этой темы. Вряд ли есть в нашей литературе более сильные образы большевиков, чем образ

Матвея Шульги и Валько, их духовных сыновей и дочерей, молодого гвардейцев Краснодона. Это направление таланта писателя А. Фадеева делает его особенно близким миллионам читателей и в то же время особо значительным как писателя нашего, социалистического общества.

Фадеев умеет в изображении большевика вскрыть его основное, сокровенную суть его партийности, ту его живую мысль и постоянное высокое чувство общественного партийного долга, которые лежат в основе его идейности. Поэтому характер большевика получается у Фадеева таким «тёплым», жизненно убедительным. Здесь Ал. Фадеев выступает подлинным новатором в нашей литературе

## У

Интересно отметить, что новаторство, умение проникнуть в глубину большого социального явления Фадеев проявил и в изображении врага, притавившегося внутри нас, предателя. В «Нашествии» Л. Леонова с приходом немцев появляется Фаюнин, бывший купец и домовладелец, 25 лет скитавшийся по разным местам, копивший свою ядовитую злобу и теперь готовый служить немцам, самому дьяволу, чтобы насытить своё чувство мести и вернуть себе хоть часть власти и богатства. В «Молодой гвардии» этот тип предателя представляет Игнат Фомин, бывший кулак, богатей, скрывшийся в Донбассе под маской стахановца и поджидавший немцев, чтоб занять место «полицая».

Фаюнин и Фомин — типы реальные, что и говорить. Но зло, представляемое старым миром, его остатками, его зловонным дыханием, гораздо шире и больше, чем ничтожное количество самих этих господ, неисправимых старых купцов и домовладельцев, вымирающих в непосредственном смысле слова. Здесь мы встречаемся с явлением, которое называется в общей форме пережитками капитализма в сознании людей. И, с этой точки зрения, гораздо значительнее и интереснее тот тип предателя, которого Фадеев раскрыл в фигуре бывшего начальника планового отдела треста Стеценко.

Стеценко не потерял с революцией ни мельниц, ни домов. Он сын мелкого чиновника, но по всем своим вкусам, характеру, стремлениям, по всей своей психологии он принадлежит к старому миру, к той категории людей, которых Горький с такой ненавистью называл «мещанами». В атмосфере дореволюционного общества с резко противопоставленными классами, с роскошью немногих и нищетой миллионов, с расточительностью одних и борьбой за кусок хлеба других выросло такое гнилое растение, как мещанство. Здесь не бы-

ло сильных страстей, если не считать за большую страсть жадность. Трусость, мелкость души, вялость желаний, тусклость взгляда — вот характерные черты такого мещанина. Только бы урвать кусок со стола и утащить к себе в пору. Не работать, но урвать, не бороться, но достигать, не рисковать, но благоденствовать — такой «идеал» легко вырабатывался в обществе, где существовал целый слой рантье, десятки лет получающих доходы только отстрижки купонов.

Горький исследовал это гнилое порождение старого общества с тщательностью учёного и заклеил его со всей страстью великого художника и вонтеля. Мещанство для него — не сословие, а «строй души», олицетворение застоя, пассивности, трусости, страха перед новым, преклонения перед силой, всей лжи, грязи и подлости старого мира. Это гнилая плесень болота. Мещанин предстаёт иногда в облике внешне культурного человека, но, если разобратся в нём поглубже, то он, по убеждению Горького, совершенно похож на дикаря, который на вопрос миссионера: «Что ты хочешь?» — ответил: «Очень мало работать, очень мало думать, очень много кушать».

Но было бы ошибкой думать, что это ничтожное существо заслуживает только презрения. Трусливый и ограниченный, мещанин становится иногда активной силой, и тогда его опасность увеличивается во много раз. Это особенно обнаруживается в критические эпохи. В 1905 году Горький писал: «Мещане, напуганные взрывами революционной борьбы, изнывали в жажде покоя и порядка, готовые потчиниться победителю, предать побеждённого и получить за предательство хоть маленький, но всегда лакомый для них кусок власти...» Годы реакции были годами буйного расцвета мещанства, его психологии, его предательства, его литературы.

Привзрела величайшая из революций, десятки миллионов людей были подняты ею к борьбе и творчеству, воодушевлены благородными идеями, размахом и перспективами новой жизни. Но где-то в порах нового общества ещё жили остатки мещанства. Горький обнаружил их в лице «механических граждан». Один из этих «механических» писал Алексею Максимовичу: «Наплевать мне на всякую общественность, на все призывы к труду, творчеству, я не честолюбив, я хочу жить просто для самого себя, для семьи...»

Ну, чем же автор этого письма отличается от дикаря, о котором вспоминал Горький? Разве только своей воинственной пиничностью. Дикарь был просто примитивен и не подозревал ни о возможности умственной жизни, ни о своей связи и обязанностях в отношении других лю-

дей. «Механический гражданин» знает обо всём этом, но демонстративно противопоставляет себя, своё «хочу очень много кушать» всему обществу, всем его святыням, всем его надеждам.

Стененко из романа Фадеева — прямой потомок дореволюционного мещанства, пережиток этого социально-психологического типа, «механический гражданин» в военных условиях, в том его худшем выражении, которое уже прямым путём приводит к предательству. Стененко был достаточно немолод для того, чтобы помнить о тихой, беззаветной и обеспеченной жизни господ рантье в капиталистических условиях. В советском обществе ему было беспокойно. Его тормозили, надо было работать, надо было думать. А самая характерная черта Стененко — это паразитизм. В одном из рассказов Ал. Толстого есть такая характеристика персонажа: «По профессии он был негодяй». Про Стененко можно бы сказать: по профессии он был паразит, хотя во всех штатных и платёжных ведомостях он числился инженером-экономистом.

С приходом немцев Стененко решил, что для него настала пора «спокойного благополучия», благополучия, понимаемого как безмятежное безделье, сочетаемое с возможностью сытно есть, сладко спать, покупать яркие галстуки и не менее ярких женщин, которых он раньше с тоскливым интересом разглядывал в случайно попадавших в Краснодар зарубежных журналах.

Психологию Стененко, предателя, гораздо более опасного, чем Фаюшны и Фомины, А. А. Фадеев раскрыл с большим искусством. Чрезвычайно интересны и поучительны страницы, в которых автор говорит о том, как честные советские люди не замечали прежде бывавшего среди них Стененко и как изумлены они были его предательством. Ведь раньше он как будто ничем не отличался — ни недостатками своими, ни достоинствами...

Способность Стененко к мимикрии была одной из сторон другой его наиболее характерной черты — трусости. Фадеев говорит о нем: «Будучи недовольным общественным устройством и своей судьбой, Стененко никогда ничего не предпринимал для изменения общества и своей судьбы, потому что он всего боялся. Он боялся даже крупно сплетничать и был самым обыкновенным, рядовым сплетником...» Эта внешняя обыкновенность и ввела в заблуждение сослуживцев Стененко. Ведь многие из этих сослуживцев, обыкновенных советских людей, тоже могли иногда и сплетничать, и пошлеться, и позавидовать галстуку зарубежных цветов.

Человек нового общества не родится, как известно, готовеньким, он несёт на себе и

в себе немало следов старого — старых чувств, привязанностей, вкусов. Но для обыкновенного советского человека эти «пошлетничать», «позорчать», «полашиться» являются именно остатками, шелухой, которые немедленно отлетают, как только дело доходит до больших вопросов жизни, до коренного, до святого. У Стеценко ничего святого не было. Он весь состоял из шелухи, из гнилой трухи. Приход немцев показался ему приходом незыблемого мира ярких галстуков, покупных красавиц, спокойного безделья, о которых он всю жизнь втихомолку вздыхал. И он стал немецким бургомистром.

Его «отличие» вылилось наглядно, когда настали критические дни проверки всех и всего. В эти дни выяснилось, что Стеценко — зубр, чудовищный пережиток старого, настолько чуждый массе советских людей, что кажется существом другой планеты.

Новое показал Фадеев и в другом типе предателя, Стаховиче, хотя этот образ разработан в романе не с такой глубиной, и мотивировка его поступков кажется не всегда достаточно убедительной. Стахович — молодой человек, который «не был карьеристом или человеком, ищущим личной выгоды»; он принимал участие в организации «Молодая гвардия», но, попав в застенки гестапо, проявил предательскую слабость и выдал организацию.

В попытке проследить истоки этой слабости и предательства А. А. Фадеев делает несколько интересных замечаний. И Стахович в мирное время как будто ничем не отличался от других молодых людей своего поколения. Но в действительности его характер образовался под влиянием некоторых особых обстоятельств.

У Стаховича выработались надменно покровительственный тон, тщеславная манера подчёркивать свою мнимую или, во всяком случае, преувеличенную образованность, некоторая самовлюблённость. Казалось бы, это не такие недостатки, которые могут отбросить человека в лагерь врагов и предателей. Да, возможно, но только в благоприятных обстоятельствах. Сущность характера Стаховича заключается в том, что внешнее, показное было, видимо, для этого человека существеннее в жизни, чем её содержание и подлинная суть. И поэтому если он хотел и мог быть героем, то только «на людях», а «при встрече с опасностью, один на один, он был трус».

От трусости до предательства остаётся уже только один шаг. Стахович во многом близок Мечнику из «Разгрома».

В этой связи следует сказать и о том, как изображены в «Молодой гвардии» гитлеровцы. Фадеев нашёл тот тон реалистического письма, который не нуждается в

гиперболе для того, чтобы показать главные черты ненавистного врага. Эти черты — расчётливая жестокость, надменность и людоедская жадность — выявлены достаточно выпукло. Писатель, который с такой любовью занимается внутренним миром своих героев, в данном случае, где речь идёт о немецких персонажах, не стал углубляться в психологию фашистских палачей (некоторые исключения составляет образ унтера Фенбонта). Палачи его интересуют только в той степени, в какой они сталкиваются со своими жертвами, и немцы даны в общем так, как они видны бабушке Вере, Олегу Кошевому, Вальке и другим советским людям. Поэтому ничего удивительного в том, что отдельные шепцы в романе сливаются в основном в одно безличное и отвратительное «они». Их индивидуальные признаки поглощаются их основным качеством захватчиков, угнетателей, палачей.

Приём этот не только литературно закономерен. Он говорит о художественном такте писателя, потому что в данный момент наилучшим образом отвечает эмоциональной потребности читателя. В войне мы имели дело со злобой рожей врага, переживания этой войны ещё слишком свежи, и единственно существенным в образе этого врага для нас является его основное качество насильника, разорителя, душегуба, ещё никогда прежде не виданного.

«Молодая гвардия» была написана в 1944—1945 году, когда самое тяжёлое в войне было уже позади и дыхание приближающейся победы было совершенно опустимо. Свет победы лежит на этой книге, и с высоты опыта пережитого автор говорит о событиях и людях. Но в то же время эти события и люди так близки и так волнуют, что невозможно занять позицию объективно спокойного рассказчика. И автор в процессе повествования не может удержаться от восклицания по адресу героя: «Ах, напрасно, напрасно ушёл ты, товарищ Шульга! Напрасно ты покинул Елизавету Алексеену — эту девушку, которая так походила на прежнюю Лизу Рыбалову...»

Предваряя рассказ о последующих событиях, автор не может удержаться, чтобы не сказать читателю о Шульге: «...в этот момент он делал первый шаг по тому пути, который привёл его к гибели». Может быть, это нарушает манеру традиционно-реалистического изображения, когда автора не видно, а события развёртываются сами собой, «как в жизни». Может быть. Но события так близки автору и читателю, такое волнение и нетерпение охватывают их обоих, что это вмешательство автора отвечает самой интимной потребности читателя. «Ах, напрасно, напрасно ушёл ты, товарищ Шульга!» Точно это восклицание должно немедленно послужить предупреждением

читателю, тысячам читателей, продолжающих дело Шулги.

И романтический приём автора воспринимается как самое естественное отражение реальной действительности. Ибо и автор не только «описывает» и читатель не только «почитывает» — оба прямые участники событий. Новый характер восприятия, иной тип переживаний.

Не следует забывать, что искусство — это явление, которое не ограничивается только процессом творчества художника и непосредственным результатом этого творчества, то есть произведением. Искусство в широком смысле слова и во всём его значении обязательно включает и процесс воздействия на читателя, зрителя, слушателя, процесс их сотворчества.

Проведение искусства вне восприятия его людьми не существует. Новые условия нашей общественной жизни, новый читатель социалистического общества, его характер, темперамент, вкусы и влечения определяют характер нашего реализма, социалистического реализма, в который революционный романтизм входит самым естественным образом. И благо тому писателю, который в наибольшей мере чувствует содержание и ритм эпохи. Только такой писатель может быть подлинно большим писателем.

Романтическая струя очень ошутима в «Молодой гвардии». Это не тот романтизм, который уходит от реальной действительности в заоблачные высоты, это не романтическая идеализация. Правда жизни в романе непогрешима. Но сама эта жизнь находится на таком высоком взлёте героического, что начинает звучать романтически величественно. Разве не полон глубокого романтического пафоса образ большевиков, которые, находясь в яме-могиле, полусасыпанные землёй, поют «Интернационал»? Звук гимна несётся уже как будто из-под земли, и сама земля поёт, грозя своре псов и палачей. Но ведь эта романтическая сцена самым логическим и натуральным образом продолжает эпизод в тюрьме, где в ночь перед казнью разговаривают Шулга и Валько, эпизод, написанный с огромной реалистической силой.

Герои романа так близки автору духовно, что повествование о событиях и людях Краснодона переходит иногда в монологи почти автобиографического характера, или, вернее, в лирико-публицистические отступления вообще о советском молодом человеке. Эти отступления как будто прерывают сюжетное развитие романа, но в действительности теснейшим образом связаны с ним своей идейно-эмоциональной сутью. Читатель тем охотнее принимает эти отступления, что близость автора к герою является в то же время и близостью его, читателя.

Идеи, высказанные в этих публицистических отступлениях от имени автора или основных героев книги, сами по себе превосходны. Но особую силу и убедительность в романе придаёт им то, что они непосредственно связаны с жизнью героев книги и из этой жизни и характера героев вытекают.

Эта черта романа Фадеева, его высокая публицистичность, традиции которой восходят к лучшим образцам русской классики, должна, как нам кажется, оказать большое влияние на выработку того нового типа советского романа, появление которого подготовлено уже предшествующим опытом советской литературы.

Так содержание «Молодой гвардии», её идеи, её пафос определили форму романа. А. Фадеев является одним из лучших представителей тех советских писателей, для которых форма произведения безусловно подчинена содержанию. У нас сейчас нет воинствующих, так сказать, сознательно намеренных формалистов, но у некоторых писателей, больше от недостатка мастерства, чем от предвзятости, больше от недостаточной прочувствованности идеи, чем в результате отказа от неё, форма начинает давить на содержание. Тогда получается, что форма — от конструкции всей вещи до конструкции отдельной фразы — и самый язык ощущаются как нечто намеренно пышное, тяжёлое, пусть даже украшенное иногда драгоценными камнями — такая шапка Мономаха, за которой часто не видать головы.

Недавно тов. Фадеев сам сказал о том, как он подходит к вопросам формы: «Изображение нового в литературе очень тесно связано с проблемами формы. Между тем форма — это один из жупелов, которым формалистическая эстетическая школа пытается залугать деятелей нашей советской литературы. Не нужно забывать, что в области формы мы, советские писатели, подлинны новаторы, а эстетические взгляды формалистов — взгляды отсталые. Если честно разобраться в том, что собой представляют упадочные русские и западноевропейские школки, то прежде всего можно увидеть две, на первый взгляд, противоположные, но одинаково вредные для нашей литературы тенденции. Первая: невероятно холодная скованность формы, скованный тяжеловесный стих, железная проза. А истинный реализм свободно и просто откликается на явления действительности, и он всегда был новаторским в области формы. Пример этому — «Война и мир». Где было что-нибудь похожее? А Чехов? А Тургенев?

Что собой представляют «Залпски охотника» по форме? Это исключительные по свободе, изяществу, свежести, выпуклости характеров новеллы. Они — совершенные

по форме, но они дают свободу мыслям и чувствам.

Слованная, тяжеловесная, ложно значительная форма — это тяжёлый и бесполезный груз, он мешает писателю».

Легко проследить, как А. Фадеев в своей литературной практике от первых очерков 1922 года до «Молодой гвардии» постепенно освобождается от бесполезного груза и достигает той высоты искусства, где простота значительно сложнее внешней и, по существу, ложной сложности. Помогли Фадееву достигнуть этой высоты прежде всего глубокая идейность его творчества, большевистская содержательность, которой он подчиняет всё остальное.

Он поставил себе задачу — рассказать в «Молодой гвардии» о героях Краснодона, показать духовную красоту советского человека, — и его не смутила работа, хроникальная по форме. А в действительности он оказался новатором и в области формы, дав интересное сочетание хроникки и романа. Во второй части книги иногда начинает преобладать хроника, и тогда кажется, что несколько торопливый рассказ о событиях мешает углублённому раскрытию душевного мира героев. Но вот роман кончен, последние его строки — это строки имён молодоговардейцев, начертанных на скромном намогильном памятнике. 15 строк имён. Святые имена. Читатель склоняет свою голову в невыразимой скорби и чувствует гордость, заливающую его сердце, гордость быть советским человеком.

Счастье подвига! С превосходной выразительностью описал Фадеев это высокое и сложное состояние души, порыв самоотверженности, тот необыкновенный взлёт всех духовных сил, который в какой-то решающий миг устраивает в человеке робость, страх за себя — всё мелкое и недостойное — и подымает его на высоты героического.

В этой книге, в которой речь идёт о судьбе хороших людей, поставленных в ужасные условия фашистской неволи, о беспримерных немецких издевательствах и пытках, странно, казалось бы, говорить о счастье. А между тем это именно так. Тема счастья звучит в романе сильно, много и убедительно. Счастлив Серёжка Тюленин, когда он, размахнувшись, удачно бросает бутылку с зажигательной смесью в окно немецкого штаба. Счастлив юноша Олег, когда он находит в любимой матери понимание, поддержку и благословение на его

опасном пути. Счастливы Матвей Шульга и Андрей Валько, два старых рабочих-большевика, осознающих в последний час перед казнью, что они опирались на великому и справедливому делу и что не могут в конце концов не победить замечательные советские люди. И всё это объединяется одним чувством, одним понятием — счастье подвига.

И благодаря этому высокому и благородному счастью от всего романа, в котором столько муки и крови, веет бодростью, тем очищающим утверждением жизни, которое укрепляет душу в её самых лучших побуждениях.

\* \* \*

Невозможно закончить очерк об А. А. Фадееве, не сказав хотя бы нескольких слов о его деятельности, выходящей за пределы чисто литературной работы. Став со времени «Разгрома» профессиональным писателем, Фадеев по всему своему существу не мог перестать быть партийным работником. Литература является для него одним из высших видов партийной деятельности. Не только потому, что он, естественно, считает литературу выражением общественного сознания и борьбы, а потому, что он изо дня в день работает в литературе, не только в своём личном плане, а трудится над задачами всего литературного развития в Советском Союзе.

Мы уже давно привыкли к тому, что по всем важнейшим вопросам этого литературного развития всегда услышим слово А. А. Фадеева. Фадеев — художник, автор таких лирических и романтических образов, как Левинсон и Олег Кошевой, Ульяна Громова и Сергей Тюленин, является в то же время интересным и содержательным теоретиком. Его выступления, речи и статьи о проблемах социалистического реализма всегда привлекают большое внимание.

Художественные восприятия действительности сочетаются в нём с умом аналитика, пафос художника — с темпераментом общественного и государственного деятеля. А. А. Фадеев — член Центрального Комитета ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР, руководитель Союза советских писателей.

Без всякого преувеличения можно сказать, что А. А. Фадеев является одним из лучших образцов того нового типа писателя, который создаётся в нашем социалистическом обществе.

## В борьбе за партийность литературы

«Правда» 1912 — 1914 г.г.

### I

Центральный Комитет ВКП(б) в своих постановлениях по вопросам литературы и искусства придаёт исключительное значение роли советской литературы в коммунистическом воспитании народных масс. «Задача советской литературы, — говорится в решении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», — состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодёжь, ответить на её запросы, воспитать новое поколение бойрым, верящим в своё дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия».

В нашей стране писатель не может быть аполитичным и оторванным от народа, сидящего самый совершенный в мире общественный строй, он обязан активно вмешиваться своими произведениями в жизнь, освещать путь массам к коммунизму, духом большевистской партийности должно быть проникнуто всё его творчество.

Проблема партийности литературы всегда стояла в центре внимания партии и её вождей — Ленина и Сталина. Партия рассматривала искусство как форму идеологии, активно воздействующую на жизнь, как оружие, которое может способствовать воспитанию и сплочению революционных сил, борющихся за прогрессивное преобразование общества, но может также служить и реакционным классам, задерживающим и тормозящим ход исторического развития. Поэтому и в дореволюционной России вопрос об идейном содержании литературы привлекал пристальное внимание партии и рассматривался как один из ответственных участков классовой борьбы на идеологическом фронте.

Уже более сорока лет назад Ленин обосновал принцип большевистской партийности литературы в программной статье «Партийная организация и партийная литера-

тура», явившейся важнейшей исторической вехой в развитии и утверждении марксистских взглядов на искусство. Ленин разоблачил в ней лживость декадентских деклараций о независимости искусства от общества и показал, что разговоры об автономности и абсолютной свободе искусства насквозь лицемерны и предназначены лишь к тому, чтобы скрыть фактическое его служение буржуазии. Вопрос о свободе искусства Ленин поставил совсем по-новому. Он смотрел на свободу писателя как на его осознанное желание тесно связаться с пролетариатом, открыто служить интересам миллионов трудящихся, вдохновляя их своим творчеством на революционную борьбу. Товарищ Жданов в докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» подчеркнул, что «В этой статье Ленина заложены все основы, на которых базируется развитие нашей советской литературы», и характеризовал принцип партийности литературы как «важнейший вклад В. И. Ленина в науку о литературе».

Этот принцип лёг в основу политики партии в области литературы. Он неуклонно отстаивался всей большевистской печатью. Начало, положенное Лениным статьёй «Партийная организация и партийная литература» в первой легальной большевистской газете «Новая жизнь» в 1905 году, было продолжено большевистскими органами печати в период реакции и «Правдой» в годы революционного подъёма.

После поражения революции 1905 года ренегатство широко распространилось в литературной среде. Многие писатели были захлестнуты декадентской стихией, удалились в дебри мистики и символизма, отреклись от лучших традиций русской классической литературы. Основными темами их произведений, пронизанных разочарованием,

унынием и безнадежностью, стали проблемы пола, суетность и тщета общественной деятельности, бессилие человека, воспевание смерти, тайны потустороннего мира и т. д.

Появились многочисленные поставщики модных литературных течений, отличавшихся исключительной бедностью интеллектуального содержания и позёрностью и вычурностью формы. Ленин писал об этой особенности декадентской литературы в связи с разоблачением скудости мысли меньшевиков Мартынова и Старовера, прикрывавших своё идейное убожество широковещательной политической декламацией. «Пишут они красиво, — иронизировал Ленин, — слов нет, совсем даже по новому красиво, в декадентском стиле. Но вот, что к чему, это у них не всегда выходит»<sup>1</sup>.

Буржуазные издатели и редакторы, способствуя искоренению революционных настроений, подносили читателю в качестве духовной пищи произведения, отравленные ядом мистики и порнографии. С помощью рекламы и литературной шумихи становились известными и популярными авторы низкопробных романов и повестей, в которых порнография переплеталась с клеветой на революцию. В нескольких статьях Ленин отмечал неразрывную связь между отречением от революции и мотой на декадентскую литературу. Он подчёркивал, что увлечению «лёгкой беллетристикой» — явление закономерное, обусловленное ростом реакции, вызвавшей разброд и шатания среди интеллигенции. «Образованное общество, — писал он в 1907 году в легальном сборнике «Голос жизни», — отрекаясь от революции, хватается за порнографию»<sup>2</sup>.

Уместно привести характеристику этого периода, данную в сталинском «Кратком курсе истории ВКП(б)»: «Наступление контрреволюции шло и на идеологическом фронте. Появилась целая орава модных писателей, которые «критиковали» и «разносили» марксизм, ослёпывали революцию, издевались над ней, воспевали предательство, воспевали половой разврат под видом «культы личности»<sup>3</sup>. Эти писатели при всей их разношерстности ставили своей задачей отвлечь массы от революции.

Упадочная литература, прежде ютившаяся на страницах тощих декадентских журналов, заполонила издательства и все журналы, вплоть до «Современного мира», где она размещалась в соседстве со статьями лидеров меньшевизма<sup>4</sup>.

Писательские организации совершенно

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Ленинский сборник. Т. V, стр. 76.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Соч. Т. XII, стр. 49.

<sup>3</sup> «Краткий курс истории ВКП(б)», стр. 96.

<sup>4</sup> В «Современном мире» №№ 1—9 за 1907 г. печатались «Санин» Арцыбашева.

отшли от общественно-политической борьбы. В 1910 году организаторы 2-го съезда писателей, среди которых был и известный меньшевик Н. Иорданский, заранее сняли с повестки дня, в угоду правительству, вопрос о правовом положении печати. Это не помешало, однако, Н. Иорданскому именовать его съездом «литературной демократии».

Ленин характеризовал этот съезд как «съезд прихлебателей от литературы»<sup>5</sup>, заклеивав тем самым позорную общественную позицию писательских организаций и оппортунистическую, соглашательскую линию меньшевиков.

В связи с таким положением в литературе особенно возросло политическое и организующее значение большевистской литературной критики. Ленин уделял исключительное внимание литературно-критическим отделам большевистских органов печати. В 1908 году в письме к Горькому о газете «Пролетарий» он писал: «Почему бы не включить в него литературную критику?.. почему бы не продолжать, не ввести в обиход тот жанр, который Вы начали «замечками о мешаестве» в «Новой жизни» и начали, по-моему, хорошо?.. Во сколько раз выиграла бы и партийная работа через газету, не столь отностороннюю, как прежде, — и литературская работа, теснее связанная с партийной, с систематическим, непрерывным воздействием на партию! Чтобы не «набег» были, а сплошной натиск по всей линии, без остановки, без провалов, чтобы с.д. большевики не только нападали по частям на всяких оболтусов, а завоевывали всё и вся...»<sup>6</sup>. Из этого видно, что Ленин рассматривал литературную критику как составную часть партийной работы. Он возлагал на неё ответственные задачи — пропагандировать партийность литературы и решительно бороться с ренегатством.

Лишь на основе применения в анализе литературных произведений великого принципа большевистской партийности, можно было дать читателю правильное представление о книге — с точки зрения самого передового, революционного, верного и потому всеильного мировоззрения.

Можно с убежденностью сказать, что на идейное содержание литературно-критических статей большевистских газет и, в частности, «Правды» оказали огромное влияние ленинские статьи о Толстом — эти непревзойдённые образцы партийности в анализе литературных явлений.

В необычайно трудных условиях, когда

<sup>5</sup> «Дискуссионный листок», приложение к газете «Социал-демократ». № 2, стр. 10. Париж. 1910.

<sup>6</sup> В. И. Ленин. Ленинский сборник № 26, стр. 44.

большевистская пресса преследовалась и почти не было возможности выступать перед массами с печатным словом, партийная печать уделяла литературе много внимания. В тех немногочисленных органах печати, которые удавалось время от времени издавать, литераторы-большевики беспощадно критиковали ренегатские произведения. Уже в 1908 году в легальном большевистском сборнике «О веяниях времени» В. Воровский отмечал, что Сологуб и ему подобные писатели «залезают мародёрскими дланями в политику, в жизнь и дела революционеров, героев вчерашней битвы»<sup>1</sup>. На анализе реакционного романа Ф. Сологуба «Навы чары», который рассматривался его автором и декадентской критикой как воплощение в художественной литературе эстетического кодекса символизма, В. Воровский продемонстрировал живость тезиса символистов о свободе искусства и непричастности его к политике и показал, как нарочито искажены и оплошны в романе образы социал-демократов. Так же решительно со строго партийных, принципиальных позиций показала большевистская печать идейное убожество, художественную никчёмность, явную реакционность и других ущербных произведений, типа «Сангина» Арцыбашева, «Леды» А. Каменского и др.

В свете последних постановлений ЦК ВКП(б) приобретает особый интерес опыт борьбы большевистской прессы с предтечами Зощенки и Ахматовой. Приёмы Зощенко, разоблачённые в постановлении ЦК ВКП(б), не новы. Стремление оплошнить советскую действительность, попытки очернить перед читателем советского человека, вывести его глупым, мелким и ничтожным, — это своеобразное преломление в новых исторических условиях тех приёмов, которые применялись реакционными писателями при изображении революционной среды. Большевики-литераторы выступали тогда в легальной и нелегальной печати. Они разоблачали писателей-мародёров не только в Петербурге и Москве, но и в провинциальной прессе. Так, В. Воровский развернул большую деятельность в Одессе, С. Киров — во Владикавказе, М. Ольминский — в Сибири, С. Спандарян — в Баку и т. д.

## II

Литературно-критические отделы большевистских газет осуществляли указания Ленина о сплошном натиске на все проявления реакции. В данной статье мы остановимся на том, как осуществляла эти ленинские указания в своих статьях о литературе газета «Правда».

Тридцать пять лет назад «Правда» возникла в период нового революционного

подъёма и стала организующим центром и идейным вдохновителем пролетариата. Она собирала и сплачивала вокруг партии передовые элементы рабочего класса, поднимала их революционную активность, вдохновляла на боевые выступления, идейно вооружала и политически воспитывала массы в духе большевизма. За короткий срок (немногим более двух лет), действуя в чрезвычайно трудных условиях дореволюционной России, она воспитала целое поколение правдивостов — боевых революционеров, сыгравших решающую роль в подготовке и проведении Октябрьской революции. Как велико было значение «Правды», можно судить по отзывам Ленина и Сталина. «Поставив ежедневную рабочую газету, — писал Ленин, — петербургские рабочие совершили крупное, — без преувеличения можно сказать, историческое дело»<sup>2</sup>.

Так же высоко оценивает товарищ Сталин роль «Правды» в развитии революционного движения: «Правда» 1912 года — это закладка фундамента для победы большевизма в 1917 году»<sup>3</sup>.

Ведя сложную политическую борьбу за победу большевизма, «Правда» уделяла много внимания и вопросам искусства. Литературная борьба рассматривалась в ней как часть общепролетарского дела. Защита принципа партийности в политике, философии и искусстве попрежнему лежала в основе деятельности всей большевистской прессы, руководствовавшейся указаниями Ленина и Сталина и их выступлениями в печати.

Незадолго до выхода в свет четвёртого номера «Правды» товарищ Сталин напечатал в газете «Звезда» статью «Беспартийные чудачки», в которой были вскрыты причины зловонных нападок буржуазных органов печати и, в частности, журнала «Здоровье жизни» на большевистский принцип партийности. «Замазывание классовых противоречий, — писал товарищ Сталин, — замалчивание борьбы классов, отсутствие физиономии, борьба с программностью, стремление к хаосу и смешению интересов — такова беспартийность»<sup>4</sup>.

Показав социальное значение пропаганды беспартийности, товарищ Сталин установил её непосредственную связь с декадентством: «Такова уж природа русского интеллигента — ей нужна мода. Увлекались санинством, занимались декадентством. — теперь очередь за беспартийностью»<sup>5</sup>. Увлечение санинством, декадентством и мода на беспартийность рассматривались товарищем

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Соч. Т. XVI, стр. 45.

<sup>3</sup> «Кваткий курс истории ВКП(б)», стр. 143.

<sup>4</sup> Сталин. Соч. Т. II, стр. 230.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>1</sup> Сборник «О веяниях времени», 1908 г., стр. 4 СПб. Изд-во «Теорчество».

Сталиным как разные стороны единого процесса, выражавшегося в борьбе идеологов буржуазии против пролетарской революционности и партийности.

Оснессплагающие выступления Ленина и Сталина развивались «Правдой», которая стояла в центре борьбы за большевистскую партийность и блестяще продолжала дело, начатое прежде другими большевистскими печатными органами.

Бурный подъём рабочего движения внёс оживление в общественную жизнь; кончилось затишье безвременья, демократические слои народа включились в активную борьбу. Всё это сказалось и на литературных вкусах: пошло на убыль засилье декадентской литературы, в массах возрос интерес к литературе прогрессивной, реалистической, символисты выходили из моды, жаловались на невнимание общества к их «творческим исканиям» и уличали реалистов в связях с марксизмом. В новой обстановке протекала деятельность литературно-критического отдела «Правды».

«Поблекла звезда Арцыбашевых и Винниченок. И только, как бледные отзвуки недавнего разгула, появляются произведения вроде «Хаоса» Минского<sup>1</sup>, — так оценивал положение в литературе один из активных деятелей «Правды» — М. Ольминский. Но вместе с тем ренегатство ещё давало себя знать, декадентская литература ещё владела вниманием читателя, и борьба с тем и с другим была попрежнему актуальной. Достаточно напомнить, что эсеровский журнал «Заветы» печатал на своих страницах с апреля 1912 года по апрель 1913 года насквозь пронизанный вехистской идеологией роман Ропшина «То, чего не было», о котором известный ренегат — кадет Изгоев — с восторгом отзывался в «Русской мысли», как о замечательной иллюстрации к сборнику «Вехи».

Литературная критика, включая и её меньшевистское крыло, оказалась совершенно несостоятельной: в многочисленных статьях о романе критиковались недостатки частного характера. Основной вопрос — его реакционное идейное содержание — либо вовсе не затрагивался либо истолковывался неверно. Только большевистские органы печати, и в частности «Правда», дали достойный отпор Ропшину.

Ленин выступил в «Правде» (22/1 1913 года) со статьёй о разложении народничества, в которой романы Ропшина «Конь Бледный» и «То, чего не было» были названы «позорными произведениями» и охарактеризованы как яркий пример ренегатства.

<sup>1</sup> «Правда труда» № 6 от 17/IX 1913 г., стр. 1.

Буржуазные литераторы и их подголоски из лагеря меньшевиков и эсеров восхваляли в ту пору акменстов, как новаторов, которые «приняли жизнь» и воспевают «многокрасочное бытие». Акменсты Н. Гумилёв, А. Ахматова, М. Кузьмин и др. — носители реакционного, аристократически-салонного духа в поэзии — слыли в литературных кругах как превозвестники возрождения искусства.

Литературный критик меньшевик М. П. Неведомский писал в газете «День» хвалебные статьи об акменстах, а в публичной лекции на тему «Вчера и сегодня в нашей литературе» называл их «знаменательнейшим явлением литературного возрождения».

Редакция уже упоминавшегося эсеровского журнала «Заветы», широко печатая стихи акменстов, сопроводила статью о них весьма знаменательным выводом: «Акменсты исходят из тех же принципов, что «Заветы» («Принятие мира», «принятие жизни», полнота бытия, вера в жизнь, вера в человека и признание его самоцелью — вот основные камни нашего мирозерцания... Акмензм кладёт те же самые положения во главу угла своей теории)...»<sup>2</sup>.

Так меньшевики и эсеры помогали акменстам маскировать контрреволюционность их девиза «Не вносить поправок в бытие и в критику последнего не впасть» — девиза, означавшего утверждение неизменности существующего буржуазно-помещичьего правопорядка. Истинный смысл идейных позиций акмензма распознала и разъяснила «Правда», заклеившая позором эту разновидность ущербной буржуазной литературы.

«Принятие жизни» акменстами ничем существенным не отличалось от отрицания грубой действительности символистами. И те и другие начертали на своём знамени лозунг «Искусство для искусства», служивший интересам реакционных классов. Для преодоления растлевающего влияния декадентской литературы необходимо было подвергнуть уничтожающей критике теорию «чистого искусства» и постоянно разъяснять читателю её политический смысл. Это и выполнила «Правда».

Она беспощадно разоблачала попытки декадентов замаскировать теорией «искусство для искусства» классовый характер и буржуазную партийность их литературы. Она доказывала, что подборники «чистого искусства» вовсе не нейтральны, что они используют мотную теорию лишь для маскировки борьбы с революционной идеологией. В одной из статей Ольминский писал: «Теперь это факт всем известный, что буржуазные «интеллигенты» ушли от рабочего движения; а в 1905 году они кишмя-кишели в нём. Каким образом, в каких литера-

<sup>2</sup> «Заветы» № 5 за 1913 г., стр. 152—153.

турных формах произошёл этот отлив? Отдельный человек может совершить измену и предательство, ничем не прикрасивая своего поступка. Но для целого общественного слоя, — да ещё для умственно-развитого, — необходимы мостики и прикрасы, чтобы и самое предательство было как бы не предательством, а служением чему-то высокому. Таким мостиком или прикрасой издавна являлась в истории теории чистого искусства, искусства для искусства»<sup>1</sup>.

Вскрывая связь теории «чистого искусства» с ренегатством, Ольминский доказывал, что произведение оцениваются буржуазными критиками не по их истинным достоинствам: «...талантливыми считались как раз те произведения, которые помогали совершить предательство без излишних укоров совести»<sup>2</sup>. Свою мысль он подкреплял ссылкой на определённые литературные явления: «Арцыбашев в «Санине» оплевывает всякое общественное дело... Над свежей могилкой социал-демократа Арцыбашев говорит: «Одним дураком меньше стало!» И интеллигенция захлёбывалась от восторга, читая «Санина», до небес превознося «талант» Арцыбашева. За Арцыбашевым Сологуб в «Навях чарах» старается изобразить собрания и митинги освободительной эпохи на манер так называемой «собачьей свадьбы». Винниченко приравнивал революционеров к ворам и проституткам (рассказ «Купля»)»<sup>3</sup>.

В подобных статьях большевик-литераторы вскрывали буржуазную природу так называемого «чистого искусства».

Литературно-критические статьи, в которых массовый читатель находил исчерпывающий ответ на вопрос о тенденции декадентской литературы, особо выделялись «Правдой» и печатались обычно под крупными заголовками на первой полосе. Знакомая в рабочей газете с проявлением классовой борьбы на литературном фронте, читатель учился распознавать в произведениях чуждое, политически враждебное содержание, даже если оно было скрыто внешне безобидной, увлекательной формой.

К вопросу о политической направленности декадентской литературы «Правда» возвращалась неоднократно. Правист К. Еремеев, печатавшийся под псевдонимом М. Калинин, в нескольких статьях доказывал, что декаденты являются апологетами буржуазного общества: «Писатели-декаденты стремились создать на «бушующей жизни» «сладостные легенды» об «очаровательном и прекрасном» (Сологуб — «Творимая легенда»). Правда, этот «очаровательный» мир при ближайшем наблюде-

нии оказывался весьма скучным буржуазным уголком, где люди творили, мелкие подлости и мелкий разврат»<sup>4</sup>.

В другой статье, останавливаясь на связи искусства с жизнью, К. Еремеев настаивал, что «Даже те из поэтов, которые создают фантастические грёзы или рисуют сказочные дали незнакомых стран, не могут оторваться от действительности... в грёзах своих эти художники рисуют контуры лишь более прикрашенного идеализированного буржуазного мира»<sup>5</sup>.

Так «Правда» разоблачала миф о безразличном отношении сторонников «чистого искусства» к политической жизни, об их якобы отрешённости от действительности. Она вооружала политическую тенденцию декадентской литературы и показала её читателю как оружие из идеологического арсенала контрреволюционной буржуазии. Но газета не ограничивала своих задач борьбой с декадентством. Она поставила ряд новых проблем, двигавших вперёд науку о литературе.

### III

В разгар острой полемики между реалистами и символистами «Правда» подняла исключительно интересный вопрос о связи символизма с реакционным мировоззрением и его борьбе против реализма как прогрессивного метода в искусстве. В столкновении двух эстетических направлений — символизма и реализма — отразилась в своеобразной форме напряжённая борьба между идеализмом и материализмом в философии, революционными и реакционными силами в политике. Кризис символизма и упрочение позиций реализма рассматривались газетой как следствие изменившейся общественной обстановки, вызванной новым подъёмом рабочего движения. Одна из статей К. Еремеева носила название «Возрождение реализма». В ней говорилось:

«Излишне доказывать, что общественный сдвиг является в большей мере результатом подъёма рабочего движения. Пролетариат — единственный класс в русском обществе, который вновь выдвинул жизненные задачи и цели...

И вот, именно теперь художники-реалисты приобрели и приобретают большое общественное значение.

Несомненно, многие из этих писателей чужды рабочему движению и идеологии пролетариата. Однако, несмотря на это, — своим творчеством, своими исканиями и сомнениями они выражают творческий сдвиг общественных сил, возврат демократических кругов общества к жизни...

<sup>1</sup> «Правда труда» № 6 от 17/IX 1913 г., стр. 1.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> «Путь правды» № 5 от 26/1 1914 г., стр. 4.

<sup>5</sup> «Рабочий» № 8 от 23/VI 1914 г., стр. 2.

Вот почему русские декаденты склонны рассматривать реализм в связи с марксизмом. Вот почему они страстно, порой даже злобно критикуют реалистов, ибо в них они видят отголосок нового движения»<sup>1</sup>.

Газета сообщала читателю о смятении среди символистов, вызванном наступательной политикой рабочего класса, о непримиримых спорах, разгорающихся на каждом литературном собрании, когда речь заходит о возрождении реализма. Знакома с одним из таких собраний, К. Еремесв рассказывал, каким бешеным озлоблением были проникнуты выступления символистов: «Г.г. Сологубы, Аничковы, Вяч. Ивановы кричали здесь о «победе» символизма и с истеричными выкриками громили реалистов и людей, «говорящих о рабочем движении» (слова Аничкова).

Г. Аничков проговорился. Г.г. декаденты именно потому и борются против оживающего реализма, что чувствуют в нём отражение силы рабочего движения. Они чувствуют, что их пошлая «творимая легенда» меркнет и исчезает перед творимой пролетариатом жизнью»<sup>2</sup>.

Читатель «Правды» приходил к глубокому убеждению, что возрождение искусства возможно лишь на основе приобщения писателя к революционной деятельности рабочего класса, что все иные пути, вроде «новшества» символистов, акмеистов, футуристов и пр., ведут, в конечном счёте, к распаду и увяданию самого искусства.

«Правда» отметила столь интересное явление, как уход от декадентов некоторых талантливых писателей, начавших подобно Сергееву-Ценскому писать реалистические произведения, проникнутые жизнеутверждающим мироощущением. Вместе с этим она обращала внимание на то, что передовые художники уже сейчас «...смотрят с верой и радостью на успех рабочего движения, видя в нём бесконечные, благодатные творческие пути»<sup>3</sup>.

\* \* \*

Эпоха первой революции подняла к активной деятельности огромные пласты прежде политически пассивных людей. Историческими деятелями становились новые люди. Это накладывало печать на всю жизнь и, естественно, должно было отразиться в литературе. Воровский писал: «Фактическим героем нашего времени стал собирательный деятель, и никакие «поэти-

ческие соображения» не могут оправдать игнорирование его»<sup>4</sup>.

Из этого исходила и «Правда». В рецензии на первый сборник пролетарских писателей говорилось, что «не единичные личности, а именно — масса, народ...» должны быть в центре внимания писателя при изображении жизни. «Правда» указывала писателю, что для нового читателя — рабочего и крестьянина, массой потянувшегося к культуре, — нужна литература, проникнутая высокими идеями, насыщенная революционным пафосом, способная вдохновлять на борьбу за преобразование мира. Как мы видим, уже тогда ставился вопрос об обогащении реализма новым идейным содержанием — так закладывались основы, на которых выросло после победы пролетариата наше советское искусство — искусство социалистического реализма.

Большевистская печать отмечала каждое произведение, проникнутое духом партийности. И здесь печать шла за Лениным. Горький рассказывает в своих воспоминаниях о положительном отзыве, данном Лениным повести «Мать» за то, что в ней с партийных позиций были воспроизведены величайшие исторические события. Ленин подчёркивал, что многие рабочие, стихийно участвовавшие в движении, смогут, читая повесть, глубже осознать значительность событий и своей роли в них.

Мысли Ленина о функции художественного произведения — воспитывать революционную активность читателя — отставала вся большевистская пресса. Ярким примером этого может служить оценка «Правдой» горьковских «Сказок». В переписке с Горьким Ленин часто касался вопросов литературы. Он побуждал Горького писать произведения, проникнутые духом партийности, и в качестве примера ссылался на его «Сказки» и статью «Заметки о мещанстве». Внимательно следя за литературной деятельностью Горького, Ленин радовался всякой его удаче. Он писал Горькому: «Великолепными «Сказками» Вы очень и очень помогли «Звезде» и это меня радовало чрезвычайно...»<sup>5</sup>. Ленин ценил в «Сказках» жизнеутверждающую силу их и «духотворность» и считал столь значительным их политическое воздействие на массы, что приравнивал «Сказки» к прокламам. «Хорошо бы, — обращался Ленин к Горькому в начале 1912 года, — иметь революционную прокламацию в типе Сказок «Звезды»<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> «Путь правды» № 5 от 26/1 1914 г., стр. 4.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> «Правда» № 2 от 24/V 1912 г., стр. 2.

<sup>4</sup> «Из истории новейшей русской литературы», стр. 33, изд. «Звено», 1910 г.

<sup>5</sup> В. И. Ленин. Соч. Т. XXIX, стр. 20.

<sup>6</sup> Там же, стр. 19.

Оценка «Сказок» Горького в «Правде» целиком совпадает с отзывом Ленина. К. Еремеев в рецензии на вышедший сборник подробно останавливался на их достоинствах. Он отмечал в «Сказках» Горького умелое воплощение нового, пока ещё мало заметного, но уже реально существующего в действительности; подчёркивал их насыщенность революционным пафосом, искреннюю симпатию к рядовому труженику, подлинному вершителю исторических судеб человечества. В рецензии характеризовались также особенности горьковской эстетики, которая противопоставлялась эстетике декадентов: «Если для декадента-поэта подлинная жизнь всегда груба, груба даже, когда «бушует в яростном пожаре», — то для Горького именно эта «грубая» жизнь обязательна и полна своеобразной поэзии. Как ваятель жизни, он ищет прекрасное в самой же жизни. И вот в «Сказках» начерчены контуры этого «сказочного», существующего в «грубой» действительности, творимого жизнью»<sup>1</sup>.

«Правда» показывала, как тонко раскрыл Горький духовное богатство рядовых людей. Герои его «Сказок» поражают читателей глубиной своих эмоций, жизнерадостным мироощущением, величием своих стремлений. В связи с этим ставился вопрос об отношении писателя к действительности, о том, что подобные произведения могут быть созданы писателем — активным борцом, а не сторонним наблюдателем жизни. Указывалось, что Горький находит «сказочное» в самой жизни, потому что даёт не «бесстрастные художественные воплощения», а «является проповедником новой правды» и выводит в своих произведениях «новых людей», борющихся в современном обществе за новую правду». Роль такого художника, деятельно помогающего своим творчеством революционной борьбе, определялась газетой формулой «ваятель жизни».

На примере Горького «Правда» учила писателей искать прекрасное в самой жизни, уметь находить его в новом герое, деятельно бодром и борющемся.

#### IV

Во многих статьях «Правда» призывала писателей стать ближе к жизни масс, ибо, черпая вдохновение в их созидательной работе, можно создать подлинно большие художественные полотна: «Снова закипает жизнь в народных низах, и слышнее раздаётся голос недовольства и протеста против славившего всех уклада жизни. Проясняется сознание народных масс, рабочий класс — в первых рядах демократии, в её

борьбе за человеческие права. В головокружительной смене фактов, событий и типов в современной жизни так много захватывающего интереса. Ярко проявляется действие и характер масс... Здесь широкое поле для деятельности вдумчивого, любящего жизнь и преданного искусству художника»<sup>2</sup>.

Советуя писателю ближе подойти к жизни, глубже её воспринять, большевистская печать привлекала его внимание к вопросу о роли мировоззрения в творчестве. Даже талантливый писатель-реалист может оказаться беспомощным перед грандиозным размахом исторических событий, если он придерживается отсталых политических воззрений. Истинность этого подтверждалась конкретными фактами. В. Воровский в интересной статье о творческом пути Куприна показывал, как мешает этому крупному писателю его политическая отсталость. Он писал: «Воспроизводить картины новой социальной борьбы, совершающейся на глазах у Куприна, мешает ему не то, что он художник, а то, что его аполитическая психология чужда жизни тех слоёв народа, которые выносят на своих плечах эту грандиозную борьбу... творческая психика не имеет органов для восприятия своеобразной эстетики, воскресающих к новой жизни масс»<sup>3</sup>. Литератор-большевик подчёркивал, что аполитизм и безыдейность суживают кругозор писателя, обедняют его талант, закрывают возможность художественно воплотить в своих произведениях величие совершающегося в жизни. «Куприн ходит по периферии жизни, он обводит только её контуры», — заключал Воровский.

Ещё резче критиковала Куприна «Правда». М. Ольминский в рецензии на рассказ «Королевский парк» отмечал, что Куприя, печатавшийся прежде в марксистских журналах, не устоял против массового ренегатства, опустился до реакционной клеветы на грядущее социалистическое общество и нарисовал в своём рассказе карикатуру на него. В подтверждение Ольминский приводил выдержку из этого рассказа: «... всё человечество в каком-то радостно-пьяном безумии бросилось на путь войны, крови, заговоров, разврата и жестокого, неслыханного деспотизма и... обратило в прах и пепел все великие завоевания мировой культуры»<sup>4</sup>.

К вопросу об огромном значении мировоззрения писателя «Правда» возвращалась неоднократно. На другом примере — примере Бунина — было показано, насколько снижается эстетическая ценность даже талантливого произведения из-за отсталого

<sup>2</sup> «Правда» № 5 от 6/1 1913 г., стр. 2.

<sup>3</sup> В. Воровский «Из истории новейшей русской литературы», стр. 33, изд. «Звено». 1910.

<sup>4</sup> «Правда» № 106 от 1/IX 1912 г., стр. 1.

<sup>1</sup> «Путь правды» № 20 от 23/II 1914 г., стр. 6.

мировоззрения автора. Оценивая повесть Бунина «Деревня» как талантливую книгу, Воровский показал, что Бунин сумел отразить лишь одну сторону деревенской жизни, «власть земли», ставшую «властью тьмы». Большой художник не смог увидеть все стороны действительности и особенно то новое, что народилось в деревне в связи с ростом революционного движения. Поэтому в повести, несмотря на талантливость изображения, тонкую наблюдательность автора, дана неполная, односторонняя картина жизни. «...он смог воспринять и художественно переработать лишь часть процесса, лишь его первую половину — именно разложение старого, в то время, как зарождение нового, т. е. неразрывно связанная вторая половина процесса ускользала из поля его художественного зренья»<sup>1</sup>.

«Правда», останавливаясь на рассказе И. Бунина «Ночной разговор», также отмечала неспособность и нежелание автора увидеть ростки нового в деревне. «И. Бунин подходил к деревне с самыми лучшими намерениями. Однако он увидел там одно зверство, о чём и рассказал в своём «Ночном разговоре». Ничего, кроме зверства, темноты и ужаса, не замечают наши писатели в деревне; происходящая в ней творческая, созидательная работа от них ускользает, недоступная их взору. И перед этим столь крупным социальным явлением наша литература стоит бессильно, опустив руки»<sup>2</sup>.

Уже тогда большевистская газета, отстаивая реализм как прогрессивный метод в искусстве, не удовлетворялась любым реалистическим произведением. Она требовала широкого охвата многогранной, сложной действительности и показа борьбы нарождающегося нового с отживающим старым.

Бунину, одному из виднейших писателей-реалистов, большевистская печать указывала, что изображённая им действительность односторонне искажена. Насколько верна эта критика, видно хотя бы из того, что через много лет, в период коллективизации нашего сельского хозяйства, повесть И. Бунина «Деревня» послужила материалом для злобной клеветы на советское крестьянство. Небезызвестный белоэмигрант Амфи-театров в злопыхательской брошюрке, изданной в Белграде в 1929 году, ссылается на эту повесть, говорил о Буinine: «Семнадцать лет тому назад он был почти проклят русской интеллигенцией за пессимистическое суждение о русском крестьянине в мрачной книге «Деревня». Однако большевизмкая революция оправдала угрюмые пророчества Бунина».

Это выступление ярого врага советского

государства лишний раз подтверждает дальновидность и политическую прозорливость большевистской литературной критики.

Пути развития реалистического искусства интересовали всю большевистскую прессу. В новую эпоху, эпоху революционных взрывов, уже нельзя было ограничиваться в художественном воплощении действительности одним методом критического реализма. Появилась насущная необходимость обогатить его романтически приподнятым изображением нового пробуждающегося к жизни и борьбе. В творчестве пролетарского писателя Горького, родоначальника социалистического реализма, это прекрасно осуществилось. «Правда» окружала Горького почётом и любовью. Анонсы в газете извещали читателя о предстоящей публикации в журнале «Просвещение» и в «Правде» его произведений. В статьях о его сказках, рассказах, повестях газета привлекала внимание как раз к этой особенности горьковского творчества. В многочисленных приветствиях, систематически печатавшихся в газете, о Горьком говорилось, как о «буревестнике» революции, певце надежд и стремлений пролетариата.

Историческую миссию пролетариата газета «Правда», как и вся большевистская печать, видела не только в обновлении политического строя, но и в формировании нового искусства. «Рабочий класс, веря в торжество своих идеалов, должен создать нечто своё и в искусстве»<sup>3</sup>.

## В

Ленин, разоблачая в статье «Партийная организация и партийная литература» лицемерные речи о свободе искусства в буржуазном обществе, имел в виду и театр. Он указывал на зависимость сценического искусства и актёра от запросов буржуазного общества, от вкусов буржуазной публики. «Правда» в статьях, посвящённых театру, продолжала и развивала мысли Ленина. Анализируя вопрос о влиянии зрителя на театр, газета показала, что приспособление к вкусам буржуазной публики приводит к вырождению театрального искусства, превращает театр в зрелищное предприятие и толкает театральных деятелей «...на шаткий путь открытия сценических америк; в этих вынужденных поисках нового родится много пророков на час, гибнет самая возможность укрепления того или иного действительного художественного завоевания»<sup>4</sup>.

Критикуя «пророков на час» и открывая сценических «америк», «Правда» под-

<sup>1</sup> «Мысль» № 4, 1911 г., стр. 69.

<sup>2</sup> «За правду» № 2 от 3/X 1913 г., стр. 1.

<sup>3</sup> «Путь правды», № 66 от 20 апреля 1914 г., стр. 4.

<sup>4</sup> «За правду» № 38 от 17/XI 1913 г., стр. 4.

держивала линию газеты «Звезда», выступившей против лженоваторства Мейерхольда, подвизавшегося тогда в Александринском театре. В. Мейерхольд превращал пьесы, имевшие острое социальное звучание, в забавные безделушки, пригодные для развлечения скучающей, пресыщенной буржуазной публики. Касаясь «опытов» Мейерхольда, «Звезда» указывала, что весь Петербург «устремился в Александринский театр, чтобы посмотреть, как был уничтожен «Дон-Жуан» Мольера и превращён в забавное маскарадное зрелище, ничего общего не имеющее с задачами литературы и театра... Пьеса была до такой степени принижена и опошлена новыми приёмами и «исканиями» Г. Мейерхольда, а публика до такой степени загипнотизирована мыслью, что перед нею разыгрывается забавный маскарад и ничего более, что даже великолепный монолог о линемерах, предающих анафеме праведников, полный силы и злободневности, яркий и сильный, не вызвал никакого сочувственного отклика среди развлекающейся публики, собравшейся на первое представление «Дон-Жуана»<sup>1</sup>.

Уменьше рассмотреть за треском громких фраз о новаторстве полнинно реакционную сущность мейерхольдовщины уже тогда отличало большевистскую прессу.

Разоблачая лженоваторов, «Правда» в то же время подмечала прогрессивные искания ряда театральных деятелей. На страницах газеты очень часто освещалась работа «Общественного театра», которым руководил П. П. Гайдебуров, ныне награждённый правительством за 50-летнюю плодотворную деятельность на театральном поприще орденом Трудового красного знамени. Она внимательно следила за работой театра, приветствовала его стремление приблизить сцену к рабочему зрителю и подчёркивала, что «...в среде пролетариата он нашёл чуткую и вдумчивую аудиторию, которая сумела понять и оценить стремления труппы и её вдохновителя»<sup>2</sup>.

«Правда» держала в поле зрения и московские театры. Она сообщала, что «Станиславский всё время носится с мыслью создания театра для огромных, народных масс; он внимательно слезит за работой одного из режиссёров Художественного театра Суллейкинского, который ведёт сценические занятия с группой рабочих. Чуткий художник ищет новых соучастников»<sup>3</sup>.

«Правда», однако, не замалчивала и ошибок Художественного театра. Она резко критиковала театральный коллектив за отход от традиций революционного периода,

<sup>1</sup> «Звезда» от 23/XII, 1910 г., стр. 3.

<sup>2</sup> «За правду» № 45 от 27/XI, 1913 г., стр. 4.

<sup>3</sup> «За правду» № 38 от 17/XI, 1913 г., стр. 4.

периода, когда связь с демократическим зрителем была самой тесной, когда ставились пьесы Горького, созвучные революционному движению. Осенью 1913 года, во время полемики по поводу постановки на сцене Художественного театра «Бесов» Достоевского, «Правда» деятельно поддерживала Горького, решительно протестовавшего против этой постановки. Она выступила с рядом статей и писем зрителю-рабочих. В одной из статей Ольминский писал: «До 1905 года, вместе с интеллигенцией, и этот театр выражал прогрессивные настроения. Теперь, когда интеллигенция почти поголовно прелатствует и ренегатствует, Художественный театр не может не потворствовать ренегатским настроениям; и он решил поставить «Бесов» в переделке для сцены»<sup>4</sup>.

С особой беспощадностью разоблачалась буржуазная пресса, которая обрушилась на Горького за критику Художественного театра. Цитируя выступления Арцыбашева и Сологуба против Горького, Ольминский подчёркивал, что в этой полемике «...столкнулись два мира: пролетарский мир, в лице М. Горького, выступил против соглашения с реакцией... И против него другой мир, готовый сбиваться с реакцией...»<sup>5</sup>.

Статьи о театре имели огромное политическое значение. В них вскрывались серьёзные причины тяжёлого кризиса театрального искусства и указывались пути выхода из него. Театральных деятелей предупреждали, что дальнейший отрыв от народа приведёт, в конечном счёте, к распаду самого театра, что оздоровление возможно лишь при условии решительной перестройки, лишь при ориентировке в выборе репертуара на демократического зрителя, ибо демократический зритель не ищет в театре занимательного зрелища, а идёт туда приобщаться к великим идеям, способным вдохновить на героическую борьбу.

Летом 1914 года, в момент высокого напряжения революционного движения, когда петербургский пролетариат вёл решительные классовые битвы, «Правда» подчёркивала, что «...рабочий класс уже теперь в силах противопоставить буржуазному театру с его мешающей моралью и слащавой проповедью свои пролетарские идеалы»<sup>6</sup>.

## VI

Проблема литературного наследия всегда привлекала внимание Ленина и большевистской печати. Ещё в книге «Что делать?», развивая идеологические основы нашей партии, Ленин писал о «всемирном

<sup>4</sup> «За правду» № 3 от 4/X 1913 г., стр. 2.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> «Рабочий» № 8 от 23/VI 1914 г., стр. 12.

значении, которое приобретает теперь русская литература...», и характеризовал Белинского, Герцена и Чернышевского как предшественников русской социал-демократии, показав тем самым, что законным наследником великих революционных демократов является пролетариат.

После поражения революции 1905 года борьба за литературное наследство обострилась и приняла очень резкие формы. Большевицкая пресса и лично Ленин уделяли особое внимание этому вопросу. Ленин выступил с рядом замечательных статей в газетах «Пролетарий», «Социал-демократ», «Звезда», «Новый день», «Наш путь» и в журнале «Мысль», в которых глубочайший и исключительно интересный анализ идейного содержания произведений Герцена, Чернышевского и других совмещался с беспощадно резкой принципиальной критикой фальсификации либеральными писателями литературного наследия.

Большевицкая печать разоблачала реакционную публицистику и восстанавливала истинный смысл и значение деятельности великих революционных демократов, выясняла, в противовес буржуазной публицистике, объективно с партийных позиций, историческое место каждого из них в освободительном движении.

Говоря о значении Чернышевского, «Правда» напоминала, что, уже будучи в далёком изгнании, Чернышевский внушал страх правящим классам, а угнетённым — веру в лучшее будущее: «... когда он изнывал в Якутских дебрях, когда на самое имя его был наложен запрет, когда не могло появиться на свет ни одно сочинение его, — о нём знали, его помнили и читали. Молва о нём проникла во все уголки России. Вопреки запрету, всё больше западали мысли Чернышевского в сердца юной России, всё ярче становился его образ — образ мученика. Имя его стало символом тогдашнего освободительного движения»<sup>1</sup>. «Правда» считала, что правильно оценить роль Чернышевского способен только пролетариат, который является продолжателем его дела. «Рабочая демократия, — призывала «Правда», — должна вновь поставить Чернышевского на принадлежащее ему по праву место. Нужно сделать изучение произведений его доступным для широких масс, нужно, чтобы каждый знал о его светлых мыслях, горячем сердце и тяжкой доле. Нужно, чтобы молодая российская демократия знала и навсегда запомнила — за что погиб Чернышевский в холодных тундрах далёкой Сибири»<sup>2</sup>. Правильно освещая революционную деятельность борцов прошлого, газета

вдохновляла своих читателей на активное участие в освободительном движении.

Роль литературы в прогрессивном развитии общества в те времена привлекала внимание «Правды». Поэтому при оценке классической художественной литературы на первое место выдвигалось её идейное содержание. «Правда» находила, что русская классическая литература шла впереди западноевропейской и выгодно отличалась тем, что была насыщена большими общественными идеями. «Одной из характернейших черт русской литературы, — писала «Правда», — отличающих её от литератур западноевропейских, является постоянное тяготение её к вопросам общественности»<sup>3</sup>.

Характеризуя литературу конца XVIII и первой половины XIX века, «Правда» отмечала её прогрессивную роль в борьбе за уничтожение крепостного права: «Конечно, падение крепостного права было predeterminedо самим ходом экономического развития России, но в ускорении этого падения самоотверженная работа русской литературы не могла не сыграть своей роли»<sup>4</sup>.

«Правда» систематически печатала статьи о писателях, служивших своим талантом целям освободительного движения. Это подтверждается перечнем имён писателей, о которых печатались статьи: Горький, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Огарёв, Щедрин, Некрасов, Шевченко, Леся Украинка и многие другие. Из писателей XIX века её особым вниманием пользовались Щедрин и Некрасов. К ним газета относилась не только как к великим писателям прошлого, но и как к соратникам в современной борьбе. Это явление было отмечено Лениным в письме в «Правду» по поводу статьи М. Ольминского «Культурные люди и нечистая совесть». «Хорошо бы, — высказывал пожелание Ленин, — вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии. Для читателя «Правды» — для 25.000 — это было бы уместно, интересно, да и получалось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом»<sup>5</sup>.

«Правда» умело осуществляла это пожелание Ленина. Приведём некоторые примеры. Щедринская сказка «Либерал» была прекрасно использована для посрамления позиции кадетов при выборах в Государственную думу. Удачно вмонтированная в фельетон, она бичевала кадетов за поведение «применительно к подлости». Рассказ

<sup>1</sup> «Рабочая правда» № 17 от I/VIII 1913 г., стр. 1.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> «Путь правды» № 90 от 18/V 1914 г., стр. 3.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> В. И. Ленин. Соч. Т. XXIX, стр. 75.

Щедрина «Торжествующая свинья или разговор свиньи с правдою» был целиком напечатан и сопровождается следующим вступлением: «28 апреля исполнится 25 лет со дня смерти Щедрина. Чтобы познакомить читателя с произведениями этого писателя, мы печатаем его рассказ; этот рассказ, конечно, не имеет в виду газеты «Правда», так как он написан в 1883 году, а «Правда» закрыта в 1913 году. За этим вступлением следовал рассказ, сатирическая сила которого, преодолев время, прозвучала как острое политическое обличение правительства и цензуры, постоянно преследовавших «Правду».

Высокую идейность Щедрина, его бичующую сатиру «Правда» противопоставляла убожеству многих современных ей писателей, стоявших на антиобщественных позициях. «Щедрин был великим художником... он писал не ради писания, а боролся за будущее, отдавал свой талант на служение идеалу... он беспощадно отрицал старый мир гнёта и эксплуатации и презирал всякую попытку уступок, протестовал против урезывания задач и против окольных путей»<sup>1</sup>, — писал о нём Ольминский.

В большевистских органах печати исключительным вниманием и любовью было окружено имя Некрасова. Ему отводилось почётное место, в нём ценили писателя глубоко народного, принесёго в поэзию по-новому звучащие темы труда, борьбы и страдания народа. Бурное кипение человеческих страстей, возрастающая сила протеста, насыщавшие творения Некрасова, служили источником воодушевления масс. Поэтому вся большевистская пресса отстаивала Некрасова, боролась за него против реакционных публицистов, не допускала искажения его поэтического облика. Когда Андрей Белый в «Русской мысли» объявил идеи Некрасова идеями «вполне неоригинального человека своего времени», правдист Д. Бедный выступил в газете «Звезда» с резкой отповедью и доказал, что нападки на Некрасова продиктованы желанием нейтрализовать общественное воздействие его стихов.

Место Некрасова в русской поэзии определяется следующим образом: «... он велик потому, что поэтическая дума его была неразлучна с народной думой, что скорбь его неотделима от великой народной скорби, переполнившей русскую землю, что он верил в великие силы, бродившие в тёмной массе народной, и только от пробуждения народного ждал поворота к новой, лучшей доле»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Путь правды» № 72 от 27/IV 1914 г., стр. 2.

<sup>2</sup> Там же, стр. 1.

<sup>3</sup> «Правда» № 203 от 29/XII 1912 г., стр. 2.

«Правда» показывала поэзию Некрасова в действии. Были опубликованы письма деревенских корреспондентов о роли творчества Некрасова в революционном воспитании крестьянства»<sup>4</sup>.

В юбилейные дни 35-летия со дня смерти Некрасова была проведена большая политическая работа в массах. «Правда» опубликовала 29 ноября и 13 декабря 1912 года специальные письма-обращения к культурно-просветительным обществам с подробным планом проведения вечеров, посвящённых памяти Некрасова; указывались темы докладов и стихи, рекомендуемые для исполнения. В числе тем были: «Народ в поэзии Некрасова», «Некрасов как сатирик», «Отношение Некрасова к освобождению крестьян», «Некрасов и русская женщина», «Некрасов—поэт—гражданин и его взгляд на своё творчество». Произведения писателя использовались как действенное оружие в воспитании революционной активности.

В литературном наследстве XIX века «Правда» умело выделяла то, что способствовало не только революционизированию масс, но и освобождению современных писателей из-под влияния узких, антиобщественных идей ренегатского искусства и уходу их из затхлого мира декадентства.

## VII

«Правда» не замыкалась в кругу вопросов, исключительно связанных с русской литературой. Она откликалась на значительные явления в национальных литературах народов, угнетённых царизмом, поддерживала и защищала их писателей.

В связи со столетием со дня рождения Т. Шевченко «Правда» выступила с несколькими статьями об этом замечательном поэте, бывшем крепостном, чьи бичующие стихи устрасали самодержавие. С глубоким уважением говорилось о великом национальном поэте украинского народа, подлинном борце против национального и социального угнетения.

Когда стало известно, что правительство запретило украинскому народу отметить юбилейную дату и почтить память поэта, «Правда» выступила с гневным протестом. «За что же продолжают гонения против Шевченко теперь? — спрашивала газета. — Да за то же самое. Потомки крепостников относятся к народному поэту, вышедшему из крестьян, с тою же злобною ненавистью, что и их приснопамятные отцы»<sup>5</sup>.

С глубокой убеждённостью газета заявляла, что Т. Шевченко и после смерти про-

<sup>4</sup> См. «Правду» № 40, «Северную правду» № 1, «За правду» № 1 за 1913 год.

<sup>5</sup> «Путь правды» № 15 от 18/II 1914 г., стр. 1.

должает устрашать самодержавие огромной действенной силой своих стихов, волнующих массы и зовущих их к борьбе.

В 1913 году умерла Леся Украинка (Л. П. Косачёва-Квитка), известная украинская поэтесса. «Правда» посвятила ей проникновенный некролог, в котором характеризовала поэтессу как человека, стоявшего «...близко к освободительному общественному движению вообще и пролетарскому в частности... Леся Украинка умерла, но её бодрые произведения долго будут будить нас к работе — борьбе»<sup>1</sup>.

Когда в Армении возникло рабочее издательство, в котором вышли «Сказки» Горького, поэтический сборник «Красные гвоздики» и др., «Правда» сообщила об этом как о значительном явлении и призвала армянских рабочих «способствовать созданию пролетарского широкого издательства».

В отзыве о сборнике «Красные гвоздики» наиболее выдающимися были признаны стихи армянского поэта А. Акопяна. Интересно отметить совпадение оценки идейной содержания творчества поэта «Правдой» и Суреном Спандаряном, выступившим ранее в бакинской печати с рецензией на поэму Акопяна «Новое утро».

С. Спандарян характеризовал этого поэта как человека, который отказался от «баранно-патриотических тем», стремится приблизиться к пролетариату и вносит в поэзию новые мотивы. Он «впервые в армянской литературе заговорил о страданиях, муках и стремлениях трудящегося люда» и показал «фабрики, заводы, шахты, работу рабочих, их страдания, их силу, их надежды»<sup>2</sup>.

В «Правде» отмечались те же особенности поэтического дарования армянского поэта:

«А. Акопян во внешне-бесстрастных, но объемных глубоком чувством стихах рисует мощную фабрику: гул машин, пламя горна, силуэты рабочих и тот немолчный гул, который навевает бодрые порывы и стремления»<sup>3</sup>. Среди других участников сборника отмечались поэты, которые рисовали в своих стихах «портреты сильных и протестующих».

Так «Правда» ещё в первые годы своего существования поднимала вопрос исключительного значения — роста и развития национальных литератур и их сближения с передовой русской литературой.

<sup>1</sup> «Рабочая правда» № 15 от 30/VII 1913 г., стр. 1.

<sup>2</sup> С. Спандарян. Статьи, письма, документы, стр. 246. Ереван. Госполитиздат. 1940.

<sup>3</sup> «Путь правды» № 50 от 30/III 1914 г., стр. 5.

«Правда» внимательно следила за ростом творческих сил в рабочем классе, она чутко и бережно относилась к молодым литераторам, поддерживала их начинания и оберегала от вредных влияний. Привлекая рабочих к участию в газете в качестве корреспондентов, «Правда» выявляла наиболее талантливых, печатала их стихи, рассказы, группировала вокруг редакции и вырастила целую плеяду рабочих-литераторов, которые в 1914 году выступили в печати с книгой своих произведений. Издательством «Прибой» был выпущен в свет «Первый сборник пролетарских писателей», сопровождаемый предисловием Горького.

«Правда» широко рекламировала сборник, но не переоценивала первых шагов этих писателей. Она видела в сборнике лишь начало расцвета творческих индивидуальностей, идущих из народных глубин, и ставила перед молодыми сложные эстетические задачи. К. Еремеев писал: «Содержание же пролетарского творчества неизмеримо сложнее и богаче буржуазного. Оно может и должно захватить всю подлинную, реальную жизнь современного общества. Вся жизнь человека и общества, психология различных групп, индивидуальность и общественные переживания человека, все характерные явления современности — вот тот богатый материал, который может составить содержание пролетарского творчества»<sup>4</sup>.

Как мы видим, «Правде» был чужд узко цеховой подход к пролетарскому искусству, выродившийся позднее в уродливые формы пролеткультовщины. «Правда» звала к широкому охвату действительности.

Всемерно поощряя начинающих литераторов, «Правда» не становилась на путь апологетики их творчества. Когда был опубликован роман рядового рабочего А. Библика «К широкой дороге», газета выступила с обстоятельной рецензией. Отметив хорошее знакомство автора с жизнью рабочих, рецензент не заглушёвывал слабых его сторон, обусловленных неопытностью и идейной неустойчивостью писателя: «...неуверенная рука писателя-самоучки видна и даёт себя знать очень часто. Весьма наивно, например, жё построение романа, мало соблюдена логическая связь между отдельными картинками, много излишних подробностей и в особенности лирических восклицаний»<sup>5</sup>. Ещё более серьёзные изъяны были вскрыты в идейном содержании: «...грубо-тенденциозно очерче-

<sup>4</sup> «Рабочий» № 8 от 23/VI 1914 г., стр. 2.

<sup>5</sup> «Путь правды» № 32 от 9/III 1914 г., стр. 3.

ны разногласия между различными течениями в рабочем движении», нарочито подчеркнуты «какие-то особенные недостатки «подполья», отношение к событиям «поразительно напоминает некоторые рассуждения некоторых ликвидаторов...»<sup>1</sup>.

Вывод из рецензии напрашивался сам собой: литературное произведение пострадало от того, что его автор, попав в плен ликвидаторской идеологии, неверно истолковал сложнейшие явления действительности.

С исключительным вниманием относилась «Правда» и к начинаниям рабочих в живописи. В ряде корреспонденций освещался опыт художественного класса Пречистенских курсов, оцепивались картины отдельных художников-рабочих. И здесь выдвигались на первый план вопросы идейного содержания картин, приводились слова художников, обещавших стать «выра-

<sup>1</sup> «Путь правды» № 32 от 9/III 1914 г., стр. 3.

зителями души пролетария», его настроений.

В своей большой и многогранной работе большевистский коллектив «Правды» находил время не только для выявления и привлечения из недр народа корреспондентов и талантливых самородков, но и заботился об их идейном воспитании и художественном росте.

\* \* \*

\*

Значение большевистской «Правды» в дореволюционное время поистине огромно. Её литературная политика, как в критических статьях, так и в печатавшихся на её страницах литературных произведениях, базировалась на ленинско-сталинском понимании мобилизующей и преобразующей роли искусства. В сложной обстановке решительных классовых битв, острой борьбы мировоззрений газета была верным помощником партии в осуществлении принципа партийности литературы.

## Русская Америка

«Палисады редута трещали от мороза. В ночной тишине раздавались звуки выстрелов: это лопались листовенничные брёвна. И хотя большая русская печь топила круглые сутки, тепло не могло долго удер­живаться в жильё».

Егорыч, начальник Михайловского редута в устье великого Юкона на Аляске, встретил приезжего и, поскрипывая гусиным пером, записал в книге:

«1842 год... Прибыл в редут не имеющий чина Лаврентий Алексеев Загоскин с особой бумагой от господина Главного правителя российских колоний на островах и твёрдой земле Северо-Западной Америки для испытанья сих мест...»

Лейтенант флота Лаврентий Загоскин, разжалованный Николаем I в матросы 2-й статьи, был близок и декабристам-морякам. В 1839 году он появился в Охотске, принял командование бригам «Охотск» и отвёл корабль в порт Ново-Архангельск на Аляске, затем плавал в Калифорнию, где в то время существовало русское поселение — форт Росс, — расположенное у впадения залива, на берегу которого стоит современный гигант-город Сан-Франциско.

«Пять лет провёл Лаврентий Загоскин в Новом Свете — Русской Америке. Как и многие славные русские путешественники, Лаврентий Загоскин не замыкался в рамки одной узкой специальности. Он был моряком-гидрографом, зоологом, этнографом, геологом. В Новом Свете он открыл мир краснокожих племён Севера, изучал язык индейцев, отыскивал золото, янтарь, оули. За время своего пребывания в Русской Америке этот пионер Аляски первым исследовал течение Юкона на протяжении 600 морских миль, определил астрономически до 40 пунктов, положил на карту огромные пространства».

Жизнь, деятельность и судьба этого замечательного русского землепроходца привлекли внимание писателя Сергея Николаевича Маркова. Писатель на протяжении десяти лет скрупулёзно собирал в архивах многих городов материалы о своём изуми-

тельном герое «Юконского Ворона» — Лаврентии Загоскине<sup>1</sup>.

В свою необыкновенную экспедицию Лаврентий Загоскин, по роману Сергея Маркова, вышел с двумя новокрещёными — индейцами Кузьмой и Демьяном — и оказался в невероятно трудных условиях.

Автор скупо говорит о прошлом Лаврентия Загоскина. Через «голубую завесу», через «лазурь» воспоминаний самого Лаврентия Загоскина проходит его прошлое — ясное, чистое, ничем не запятнанное. Здесь, в Русской Америке, среди невзгод и лишений он встречает людей простых и верных, сумевших в нём разглядеть то хорошее, доброе, истинно человеческое, что не увидели в нём косные чиновники царской России. Индейцы помогают в его исканиях, в его самозабвенном стремлении к науке и служению родине. Мужество и отвага Загоскина покорают этих простых и честных людей.

Среди сурового климата, в окружении враждебных индейских племён, Демьян бросает Загоскина, унося с собой огонь и продовольствие. Но другой индеец, Кузьма, остаётся верным и преданным Белому Горностаю, как он называл Загоскина до конца.

«— Я — Кузьма, но меня зовут ещё Чёрной Стрелой. Стрела летит прямо. Я — из племени «Ворона».

Не один раз Кузьма, этот дикарь с благородной душой, спасает от смерти Загоскина.

Гордая, властная и решительная индианка, предводительница племени, принявшая Загоскина сначала за священника, крестившего индейца, метнула в него копьё, которое Загоскин успел схватить на лету.

«— Слава Ворону! Я думала, что ты из тех русских, которые купают индейцев в воде и дают им новые имена. Раскрой грудь! Слава Ворону — нет. У таких людей — цепь на груди», — говорила потом Ке-ли-лыи.

<sup>1</sup> Сергей Марков. «Юконский Ворон». Изд-во Главсевморпути. 1946. 336 стр.  
С. Марков «Русские на Аляске». Военное изд-во Министерства вооружённых сил Союза ССР. 1946. 152 стр.

И с этого времени индианка становится защитницей Загоскина. Отвага, храбрость, человечность Загоскина покорили индианку, и она горячо полюбила его.

Бе-ли-лын прислала гонца за ним, звала его к себе в Бобровый Дом.

— Мы не пойдём в Бобровый Дом, — сказал Загоскин своему другу индейцу Кузьме.

Индеец Кузьма, человек с природным тактом, сочувствуя своему другу Белому Горностаю, проникновенно говорит:

— Ты устал, Белый Горностаю. Ты мнешься в лице, и это заметно мне. Алеуты часто попадают по ошибке в лисьи капканы, им приходится отрезать ногу, но эти люди улыбаются под пожом. Ты попал в капкан не погой, а сердцем. Мне понятно всё. Ты боишься власти её сердца. И ты отрезаешь ногу. Научись не меняться в лице».

Пробираясь по Юкону в пургу, Загоскин теряет и Кузьму. Но он не оставляет своей работы, один делая промеры, измеряя температуру воды и нанося на карту местность.

Всю свою работу Загоскин проводит в таких невероятно трудных условиях, что даже местные жители, креслы, поражаются его отвагой и выносливостью.

Сергей Марков любовно рисует образ Загоскина и его проводника — честнейшей души индейца Кузьму.

Загоскин собирает богатейший научный материал, находит золото, собирает кости вымерших животных, делает этнографические записи. Но вдруг его работа прерывается: в одном из редутов его ждал «экстренный пакет».

«Не имеющему чина служащему Российской Американской компании Загоскину, где бы он ни находился, вручить немедленно».

Загоскину предлагается прекратить научные изыскания внутри материка и немедленно прибыть в Ново-Архангельск. «Неисполнение сего приказа главного правителя и задержка в пути повлекут за собой отдачу под суд».

Прибыв в резиденцию правителя, Загоскин поселяется у стряпни Таисии Ивановны, замечательной русской поселенки, знавшей лично Павла Степановича Нахимова, Баранова, Шелехова, Завалишина и многих других российских мореплавателей-кругосветчиков.

Собираясь доложить правителю о выявленных богатствах страны и своих исследованиях, Загоскин долго ждал приёма.

Наконец долгожданный день настает.

И здесь Сергей Марков даёт превосходный диалог, свидетельствующий о поразительном чиновничьем бездушии, тупости администрации в Русской Америке того времени:

«— Людвиг Карлович, здравствуйте! Вы хотите знать об экспедиции на Квихпак? Всё, всё нарядность удачно, без преувеличения... Начну с того, что на Квихпаке есть золото...»

Правитель, наконец, повернул лицо, и Загоскин увидел холодные, безразличные глаза.

— Бывший лейтенант, ныне матрос второй статьи Загоскин, потрудись именовать меня или титулом или присвоенным мне званием, — сказал правитель.

— Ваше высокоблагородие, господин капитан-лейтенант. Я прекрасно помню о том, что я — матрос второй статьи. Но, кроме того, я ещё и человек, рисковавший не раз жизнью для пользы Русской Америки и компании. Мне хотелось, чтобы мои скромные труды не пропали даром.

— Компания позаботится об этом. Если труды имеют практическую ценность. Какое золото может быть на Квихпаке? Кроме того компания не занимается добычей рудных богатств, и в «Положении» о ней насчёт золота ничего не сказано».

Правитель заставил служителя растопить камин и при Загоскине бросил зёрна золота — образцы, собранные им, — взял карту с указанием месторождений, методично разорвал и тоже бросил в камин.

После этой аудиенции Загоскин пришёл к Таисии Ивановне. И этот мужественный человек, встречавшийся не раз лицом к лицу со смертью, не выдержав бездушного отношения... заплакал и долго и тяжело болел.

Бескорыстный служитель славы своей отчины, Загоскин вместо благодарности попадает в опалу. Косные, тупые администраторы отвергают его открытия, не воспользовавшись щедрыми дарами богатой страны.

Загоскина опутывают мерзкой интригой, и он вынужден покинуть Русскую Америку.

Загоскин тщетно ищет правды в Санкт-Петербурге. Начальник канцелярии Российско-Американской компании в доме у Синего моста ответил ему:

«Прощения частных лиц правление компании рассматривает в течение трёх месяцев со дня подачи...».

Так энтузиаст Российской Америки оказался на маленькой должности в корабельных лесах Рязанской губернии. Здесь в газете «Ведомости» он с грустью, не веря своим глазам, прочитал заметку: «В Калифорнии открыто золото! Долина Сокраменто сделалась приютом бродяг всего мира. Вот уже полгода, как длится золотая лихорадка».

В рязанских лесах Загоскин писал повесть, не увидевшую свет. В ней он писал:

«Не вечны ни снега, ни вьюги, бес- смертно горение русской души».

Приехав на свою родину, в Пензу, Заго- скин отдал свою рукопись для переписки одному семинаристу. Здесь к нему в гости- ницу пришёл дядя семинариста — прозе- щённый опальный священник. Он с востор- гом отозвался о повести. Философствуя, он сказал:

«— Мы, дойдя в лаптях до солнечных пределов Калифорнийских, не удосужились, ни одного пера не потушили, чтобы расска- зать Европе о подвигах наших. Кто знает, что россияне дале всех проникли к Южно- му полюсу? Да никто. Вот почему вам, первому рассказавшему о приключениях своих, я и говорю: позвольте вам пожать руку, поблагодарить от русского сердца... Жаль, что ваш дядюшка Михаил Никола- евич Загоскин скончался. Он бы вам помог в этом деле. Полевой вот тоже умер — потеря большая. К Булгарину только не ходите».

Цензура сделала своё чёрное дело: по- весть Лаврентия Загоскина не увидела света.

И, словно восполняя этот вековой пробел, Сергей Марков в виде перечня россий- ских колумбов даёт документальную «Летопись Аляски». Это целая книга, до- полняющая повествование о Загоскине. В «Летописи Аляски» рассказано о русских людях большой судьбы, «обуреваемых страстной жаждой познать мир».

«Летопись Аляски», подобранная по архивным источникам Сергеем Марковым, читается, как увлекательный роман.

Из этой «Летописи» широкий читатель узнает, что ещё в 1697 году Лейбниц со- ветовал Петру I «исследовать берега северо-восточной Азии, чтобы узнать, соеди- няется ли Азия с Америкой или же они разделены проливом». В это время устуж- ский пахарь Владимир Атласов служил на Анадырь-реке. Собирая ясак, он уже держал в руках аляскинских соболей. В 1715 году на Камчатке был отыскан пленник — выходец с материка Аляски. В июне 1741 года искусный офицер рус- ского флота Алексей Чириков на корабле «Св. Павел» достиг берегов Аляски. С борта корабля колумбы российские увидели лодку с индейцами. В 1763 году чукча Николай Дауркин принёс первое известие о Юконе, которое Пётр Симон Паллас напе- чатал на немецком языке:

«Прозвучали слова Ломоносова:

«... Колумбы Россские презрев угрюмый  
рок,  
Меж льдами новый путь отворят на  
восток,

И наша досягнет в Америку держава».

В 1784 году исповин Тихого океана Григорий Шелехов на трёх кораблях достиг

острова Кадьяка и обосновался в гавани Трёх святителей.

В 1786 году к северу от Кадьяка zalo- жены крепости, где поселились люди ком- пании Лебедева — Ласточкина и стали обживать Новый Свет. По приказу Шеле- хова в землю Аляски было зарыто 15 тя- жёлых досок из железа с медными русски- ми гербами и надписью: «Земля россий- ского владения».

15 августа 1790 года в Охотске Шеле- хов подписал договор с Александром Барановым об управлении Северо-Восто- чной компании в американских заселениях. «Великий Пушкин под конец своей удивительной жизни обратил свой взор туда, на Восточный океан. У него на столе уже были книги Григория Шелехова, Степана Крашенинникова. А занятия Пуш- кина историей Камчатки? Свяжите эти звенья, как говорит один из персонажей «Юконского Ворона». — Случайностей не бывает».

В 1793 году на Аляске выросла пер- вая кораблестроительная верфь.

Первый правитель в Русской Америке. Александр Андреевич Баранов был образо- ванный человек. Он был строг и требова- телен, но справедлив и бескорыстен. Он сочинил песню «Ум Российский промыслы затеял», ставшую гимном русских откры- вателей Аляски. В первые годы он носил панцирь, подобно Ермаку.

А Шелехов писал, приказывая пове- лителю Аляски основать на американ- ском материке город Славо-Россию... с широкими улицами, просторными площа- дями, украшенными обелисками «в честь русских патриотов».

«А для входа и въезда сделать боль- шие и крепкие ворота, кои наименовать по приличеству «Русские ворота».

В 1794 году Шелехов учреждает в Иркутске контору Северо-Американской компании.

В 1795 году на Кадьяке уже гудел пятипудовый колокол, отлитый из аля- скинской меди, были замечены признаки золота близ релута св. Николая. Баранов лично въезжал в Чильхатский за- лив. Правда, тогда это название ничего не говорило, но через сто лет, в дни золотой горячки, о Чильхате знал весь мир, ибо там начинался путь к Клондай- ку. В этом же году Баранов торжественно занял берега Якутского залива. «Пизарро российский» сам поднял здесь древко с флагом, увенчанное крылатым гербом. Отныне вся эта область принад- лежала России. Вскоре в разных мес- тах Русской Америки вырастают 12 крепостей-редутов. У ворот современ- ного Сан-Франциско основывается форт Росс под начальством Кускова. На

Ферлонских камнях выросли русские избы. Русская предприимчивость толкала людей форта Росс на постройку верфи, где были спущены на воду первые корабли. Начальник форта Куков посадил здесь черенки винограда; картофель собирался дважды в год; в течение круглого года скот разгуливал на подножном корму; редька вырастала весом в пуд. И росли «фермы» Росса на земле Калифорнии.

Слава Баранова — бесчиновного гражданина отечества, как писал он о себе, ныне «Главного правителя Русской Америки», — гремит по Тихому океану. Томеомео Великий, король Гавайский, преобразователь Сандвичевых островов, направляет к Баранову посла, чтобы завязать торговые связи с гаванями Океании.

В артели Тихона Сапожникова занимались сельским хозяйством: садили картофель, сеяли ячмень, разводили рогатый скот. В 1805 году аляскинские поселенцы ходатайствовали, чтобы их навсегда оставили в Новом Свете.

В 1807 году байдарщик Швецов достигает устья Колумбии. От Колумбии русские звероловы спустились на юг и здесь обрели залив Бодего — под 38° северной широты. Горы, дубовые и хвойные леса, тучные пастбища, удобные бухты — всё это привлекало внимание русских к новым местам. Швецов прошёл и вдоль побережья до самого Сан-Диего.

Неутомимый Сысой Слободчиков, оборотясь лицом к Каскадным горам, где властвует двуглавая вершина Шаста (Счастье), ставит на землю железную доску с изображением русского герба. Так границы Русской Америки подошли к солнечному рубежу Калифорнии.

Правитель Баранов посылает в глубь страны экспедиции исследователей, которые, не считаясь с лишениями, идут к поставленной цели.

Конгресс Соединённых Штатов так отзывался о людях Русской Аляски:

«Народ, который в состоянии предпринимать такие путешествия, часто по едва проходным горам и по ледовитым морям, во время таких бурь и снежных вихрей... конечно, знает всю важность и цену торговли, для которой он пускается в отдалённые странствования».

Почти 18 лет управлял Баранов Русской Америкой. Высокая честность старика поражала даже его врагов, которые утверждали, что Баранов наживался на аляскинских бобрах. При слухе дел выяснилось, что оборот колоний достигал не 4800 рублей, как предполагалось, а 7 миллионов. На себя Баранов не истратил ни медной полушки. Уйдя с поста главного правителя, он стал нищим. Он не

знал даже, куда он пойдёт жить из дома главного правителя. Но в пути, близ Зондского пролива, он умер, и море поглотило тело Александра Баранова. Таков был этот «российский Пизарро».

Русскую Америку навещали Михаил Бюхельбекер, Павел Нахимов, Михаил Лазарев, Дмитрий Завалишин — имена, по-разному памятные в русской истории. В записной книжке Завалишина появляются такие строки:

«Укрепить северный берег пролива в порте Сан-Франциско... Должно обнести стеною со скрытыми батареями, отыскать камень в проливе, иметь на обоих берегах маяки, построить гавань для гребных судов: учредить телеграфы, почты, водою запрудить каналы и построить мельницы и испытать, годна ли земля морского дна для обработки, обнести низменные места стенами, прорыть каналы и сделать шлюзы для загрузки судов. В Бодего построить крепость и основать верфь. Осмотреть порт Тринидад и утвердиться в нём...»

Дмитрий Завалишин называл Калифорнию солнечною Землёю Свободы.

В 1825 году Рылеев подписал распоряжение Российско-Американской компании о постройке в Русской Америке новых крепостей вдоль всего течения реки Медной — от моря до хребта Скалистых гор.

«Взаимные пользы, справедливость и самая природа того требует», — писал Рылеев. Но царь приказал «не выходить из границ купеческого сословия».

Рылеев, Николай Бестужев, Орест Сомов, Дмитрий Завалишин — служащие Российско-Американской компании — ревностно продолжают отстаивать идею расширения границ Русской Америки до Скалистых гор.

Пылкий Завалишин готов был ехать на Гапти — продавать русские товары, исследовать Карибское море, проложить путь русским кораблям к портам Вест-Индии.

«...остров Гапти может служить выгоднейшим местом складки товаров между северными и южными странами Америки и для доставления оных оттуда в Российско-американские колонии и к восточным берегам Сибири...»

Полковник Павел Пестель в то время думал об «устроении флота на Восточном океане», как сказано в «Русской Правде».

Вскрсе над домом у Синего моста повисло мрачное облако: Орест Сомов на допросе у Николая I.

«Николай I: Где вы служите?»

О. Сомов: «В Российско-Американской компании».

Николай I (в бешенстве): «То-то хороша у вас собралась там компания».

И на смену просвещённым руководителям Российско-Американской компании при-

ходит реакция тупых солдафонов, душивших инициативу благородных русских патриотов. Завалишин попадает в Спбурь, в ссылку, и начинает добывать руду своими руками.

Лишь старые сподвижники Баранова, Шелехова, Завалишина в Русской Америке всё ещё поддерживают престиж своей родины. В 1828 году был снят первый урожай с плодовых деревьев. Алые розы цвели на кустах, золотились персики, шелестели широкие листья гавайской клещевины. За фортом Росс начинались величавые горы, окружённые поясом дубовых и лавровых лесов. Индейцы научились у русских прясть шерсть, железный нож сибирской работы стал заменять им клинки из вулканического камня. В январе 1837 года в Русской Америке было уже 11 053 русских, креолов, алеутов, эскимосов, курильцев и 50 тысяч индейцев.

В форт Росс прибыл Лаплас. Его встретил начальник Ротчев — переводчик мольеровского «Мнимого больного», в совершенстве знавший несколько языков. Лаплас был крайне поражён, что этот русский сочетает поэзию с постройкой скотных дворов, разведением свиней и овец. Чувствительный Лаплас рассказывал в Европе о необычайной жизни горстки русских смельчаков под сенью горных дубов.

В это время появляется злой гений Калифорнии — Иоган-Август Зутер.

Александр Ротчев — начальник форта Росс — вскоре ознакомился с документом, который потряс его до глубины души.

Главный правитель Российских колоний в Америке капитан 1-го ранга Этолин доводит до сведения Главного правления Российско-Американской компании, что на основании высочайшего повеления от 15 апреля 1839 года селение Росс и компанейская контора окончательно упразднены в январе 1842 года, имущество продано по контракту, засвидетельствованному мексиканским правительством, поселившемуся там гражданину Соединённых Штатов Сучеру (Зутеру)...

24 января 1848 года плотник Зутера Маршалл показывал Зутеру зёрна жёлтого песка, найденного в канаве, которую готовили для спуска воды в районе бывшего форта Росс. Этот мормон из Нью-Джерси был первый человек, которого затрясла золотая лихорадка, охватившая потом всех бродяг мира.

В 1849 году Николай I приказал объявить Российско-Американской компании, что «... полезно было бы оной заняться по примеру других частных лиц добыванием золота в Калифорнии».

В 1857 году мормоны восстали против

вашигтонского правительства и были намерены в случае необходимости уйти на земли Российско-Американской компании или компании Гудзонова залива. Никому не могло быть приятным такое соседство: «ангелы разрушения» славилась как союз тайных убийц и грабителей. Аляска была слабо защищена, а между тем золотая лихорадка всё более охватывала бродяг всего мира. Они шли, как саранча, невзирая ни на что. Русские горняки уже добывали уголь, на воду в Ново-Архангельске корабельные мастера спустили первый паровой корабль. А в кабинетах дипломатов шли споры и толки вокруг продажи Аляски.

И вот этот роковой момент настал. 18 марта 1867 года был подписан трактат на продажу русских владений в Америке. Американцы подсчитали, что вся поверхность этих русских владений составляла 580 107 квадратных географических миль. Все эти земли были оценены в 7 миллионов 200 тысяч долларов. Такова цена более чем векового подвига «российских Колумбов». В 1898 году только один Клондайк дал золота на 10 миллионов долларов.

Вот краткий перечень деяний русских людей из большой и основательной «Летописи Аляски» Сергея Николаевича Маркова. Книга «Юконский Ворон» и дополняющая её «Летопись Аляски» — ценный вклад в русскую историческую литературу.

Описание природы суровой Аляски Сергей Марков даёт с пленительной красотой, богатым, точным и выразительным языком. Порою органически ощущаешь всю эту суровость далёкого края.

Автор тепло показывает индейцев и простых русских людей — прямодушных, честных, бескорыстных. Так же замечательно обрисована плеяда блестящих образованных, просвещённых русских мореплавателей, стремившихся всем своим существом к возвеличению своей отчизны.

И, наряду с этими, скупо, сжато, но в достаточной степени сильно, автор бичует бездушие, карьеризм, тупость и трусость чиновников, противящихся всему светлому, новому, прогрессу.

Книга Сергея Маркова возбуждает в читателе доброе чувство и глубокое уважение к своим благородным, мужественным русским предкам большой судьбы. Эта книга патриотична в лучшем значении этого слова. Книга любовно, богато и со вкусом оформлена художником В. С. Житеневым. Для иллюстраций использованы старинные гравюры и обилие зарисовок различных экспедиций. Издательство Главсевморпути сделало хороший подарок советскому читателю.

## Саломея Нерис

Саломея Нерис — первый поэт литовского народа, с наибольшей лирической силой и идейной глубиной сумевший выразить (наряду с Людасом Гирой) в своих поэтических образах жизнь, борьбу и чаяния трудящихся, осуществлённые с приобретением Литвы к Советскому Союзу. С истинно большевистской решимостью и идейной последовательностью Саломея Нерис, как поэт, вступила в ряды вдохновенных борцов за осуществление великих идеалов советского народа, идеалов социализма. Поэт мягкий и нежный по тону своего поэтического голоса, она в годы Отечественной войны с гневной страстью обрушила своё слово на гитлеровцев, временно поработивших Литву, и пламенно призывает свой родной народ к беспощадному отпору врагу. Переся из литовских поэтов Саломея Нерис в своей ставшей знаменитой «Поэме о Сталине» сумела с подкупающим лиризмом и искренностью выразить любовь литовского народа к отцу и учителю советских людей — к товарищу Сталину.

Рано оборвалась жизнь любимцы литовского народа и всех советских людей; Саломея Нерис умерла на 41-м году своей жизни, в начале июля 1945 года, вскоре после того, как она вернулась в свою родную Литву, только что освобождённую от немецкой оккупации, истерзанную, измученную неволей Литву, где ещё дымились зола пожарниц и матери искали своих потерянных детей. Смертельная болезнь подкралась к Нерис в расцвете её творческих сил. Она безусловно ещё не развернула в кругу новых советских тем всех возможностей своего выдающегося лирического дарования. Но поэтическое наследство писательницы, вся её творческая жизнь, её идейный путь являются замечательным примером, показывающим оплодотворяющую силу передовых идей нашей эпохи, идей социализма, воплощённых ныне в жизни всего советского народа.

Биография Саломеи Нерис в известной мере типична для многих представителей демократической литовской интеллигенции, выходцев из народной среды. Саломея Бачинскайте (избравшая впослед-

ствии себе литературный псевдоним — Нерис, по имени реки, омывающей древнюю литовскую столицу) родилась в 1904 году в семье крестьянина, в южной Литве. Детство её прошло на хуторе, в деревне. После окончания средней школы Саломея Нерис поступает в Каунасский университет, который и оканчивает со званием учительницы средней школы. В период до 1940 года Нерис работает в гимназии в качестве преподавательницы литературы в Лаздияй, Паневежисе и Каунасе. Только после присоединения Литвы к Советскому Союзу Саломея Нерис смогла оставить преподавание и всецело отдаться любимому литературному труду.

Стихи Саломеи Нерис начала писать ещё в юношеском возрасте и первые свои произведения опубликовала в 1924 году. Через три года вышел её первый сборник стихов — «Ранним утром». Эта книга Нерис вся пронизана светом, чувством радостной встречи с жизнью. Это лирика природы, любви, красоты. Она вся пока в кругу личных тем. И жизнь рисуется Нерис ясной, безбурной, исполненной сладкой грусти и надежд. Социальные мотивы, борьба народа за своё освобождение находятся ещё за границами поэтического мира молодой поэтессы.

Но это было время, когда в буржуазной Литве началось обострение классовой борьбы и обозначился резкий сдвиг правящих кругов в сторону фашизма. В конце 1926 года в Литве происходит фашистский путч, приведший к власти сметоновскую клику. В литературе двадцатых годов преобладают буржуазные школы и направления. Увлечение символизмом, декадентством сочетается с поэтизацией былого величия средневековой Литвы. Католический мистицизм, поэзия одиночества, индивидуалистические настроения, облечённые в туманные образы, эстетство, теория «искусства для искусства» — всё это культивируется в литературе буржуазной Литвы националистической реакцией.

Первая книга стихов Саломеи Нерис с интересом была принята читателем и сочувственно встречена в критике. То, что

Нерис не касалась никаких специальных проблем, вполне устраивало буржуазную критику, но поэтаessa вскоре раскрывает своё сердце и для других песен и мотивов, почерпнутых ею в самой гуще народной жизни. Да иначе и быть не могло! Поэт тонкий, впечатлительный, отзывчивый, Саломея Нерис не могла пройти мимо страданий и борьбы народа. В её душе назревает глубокий перелом, растёт протест против эстетского, пустого, безидейного искусства. Выросшая в клерикальном окружении, среди людей, близких католической церкви, Саломея Нерис остро переживает кризис своего мировоззрения. Второй сборник стихов Нерис — «Следы на песке» (1931) уже отражает совершившийся глубокий перелом в её взглядах на жизнь.

Наконец, в эти же годы в литовской литературе начинает выступать новая, большая группа демократически, а порой и революционно настроенных писателей, в 1930 году объединившихся вокруг журнала «Третий фронт» (редактор — А. Веншлова), альманаха «Проблески», позже — вокруг журнала «Культура» (редактор — Б. Корсакас) и др. Саломея Нерис отныне чувствует себя не одинокой и примыкает к этому демократическому движению. В 1931 году в 5-й книжке журнала «Третий фронт» Саломея Нерис публикует своё, имевшее большое значение и сделавшее большой шум заявление о разрыве своем с буржуазной литературой и решительном переходе на позиции народа. Вот это заявление:

«Все разговоры о том, что искусство — только красота, что оно независимо, никому не служит и что его задача — только облагораживать человеческие чувства, — пустые слова, а зачастую и сознательная ложь.

Должна ли поэзия, вообще искусство, служить узкому слою буржуазии, выражать только её интересы и усыплять сознание тех, кого буржуазия и капитализм угнетают и эксплуатируют на протяжении веков?

Я думаю, что жизнь должны устраивать те, кто всё производит, но львиную долю своего мизерного заработка должны отдавать своим угнетателям и эксплуататорам.

Отныне я сознательно выступаю против эксплуататоров рабочего класса и постараюсь свой труд сочетать с действиями обездоленных масс так, чтобы моя поэзия в будущем выражала их чаяния и идеалы народной борьбы и была бы в этой борьбе их оружием!»

Естественно, что такое открытое и смелое заявление Саломеи Нерис, которую по первому сборнику буржуазно-декадентская

литература в известной мере могла считать «своей» или, во всяком случае, не чужой, теперь вызвало форменный вой и негодование всей реакции Литвы. На писательницу посыпались всякие обвинения, клевета и насмешки в печати и даже в анонимных письмах. Другие изображали перелом, совершившийся в мировоззрении Саломеи Нерис, как какое-то «недоразумение» и пытались воздействовать на неё не угрозами, а уговорами и посулами.

Но всё было напрасно. Саломея Нерис твёрдо и решительно встала на путь служения своим творчеством народу. В 1932 году она печатает своё стихотворение в журнале «Призкалас» («Накопальня») в Москве. В последующих её поэтических сборниках — «По ломающемуся льду» (1935) и особенно в книге «Я буду светком» (1938) — отчётливо выражен не только идейный рост поэта, расширение её горизонтов, но и рост Саломеи Нерис как художника. Уже в этих книгах Нерис выплывает в одного из замечательнейших и талантливейших поэтов литовского народа, достигая классической чистоты и совершенства формы стиха. Это поэзия, исполненная глубокой любви к родине, к нивам и лесам Литвы, к её сказкам и преданиям, поэзия, исполненная сочувствия и любви к народу, к труждающемуся человеку.

Вместо с Люкасом Гитрой и Витаутасом Монтилой Саломея Нерис возглавляет революционно крыло литовской литературы. И естественно, что когда в 1940 году в Литве, наконец, происходит крушение господства буржуазии, и Литва присоединяется к Советскому Союзу, Нерис становится одной из первых запевал советской литовской литературы. Народ избирает Саломею Нерис в делегацию литовского сейма, которая отправляется в Москву, на сессию Верховного Совета СССР с просьбой о принятии Литвы в семью советских республик. В Москву писательница везёт свою новую поэму — «Поэму о Сталине», в которой вдохновенно выражены переполняющие народ чувства любви и благодарности к освободителю Литвы и всех трудящихся. Эту поэму, встреченную с горячим энтузиазмом, Саломея Нерис читает с трибуны Верховного Совета СССР.

Так в поэтическом развитии Саломеи Нерис открывается новый, советский период.

Вскоре после возвращения из Москвы, в 1940 году, Саломея Нерис пишет новую поэму о четырёх расстрелянных героях-коммунарах — «Путь большевика» — и ряд других революционных стихотворений, в которых уже свободно выражает то, что раньше она принуждена была таить и скрывать в буржуазной Литве. Она обращается к истокам народного творчества, пишет сказку «Ель — королева ушей», поэму

«Сиротка», одну из лучших детских книг на литовском языке.

Однако недолго смог литовский народ отдаться мирному свободному труду. 22 июня 1941 года гитлеровские самолёты обрушили свои первые бомбы на жителей Каунаса, Вильнюса и других городов Литвы, а немецкие танки ринулись на территорию Советского Союза. Саломея Нерис уходит от надвигающейся фашистской лавины в глубь СССР. Во время отступления по дорогам Литвы и Латвии она видит вочию то, что несут немцы: расстрелянных на дорогах женщин и детей, пылающие дома, взорванные пути и станции. Июль 1941 года Нерис проводит в Москве, которую каждую ночь бомбит враг. Здесь она пишет стихи, призывы, с которыми выступает по радио. И каждое слово её жжёт, как огонь, зовя родной народ в отпору вековечному врагу литовцев. Потом Саломея Нерис работает в Пензе и Уфе, затем — снова в Москве, где начинают выходить литовские газеты «Тисса» («Правда»), «Тарибу Лиетува» («Советская Литва»). Саломея Нерис активно сотрудничает в этих газетах, как и в газете литовской дивизии «Тевинне шаукна» («Родина зорёт»). Нерис пишет и для литовской печати в США, для радио. Для многих литовцев, слушавших своего любимого поэта в порабождённой Литве, слова писательницы были словами самой жизни, вдохновлявшими на борьбу. Не раз, стоя у московского микрофона, обращалась Саломея Нерис и к бойцам литовской дивизии. Кажется воин-литовец ждал её приезда в дивизию как праздника.

В Москве во время войны вышли два сборника её стихов: «Пой, сердце, о жизни» на литовском языке и в русском переводе «Сквозь повсмет путь» (1943). В освобождённую Литву Нерис вернулась преисполненная творческих надежд и планов. Но им не суждено было осуществиться. Ещё вертелись типографские машины, печатавшие её последнюю книгу — «Солвей не может не петь»; — но автор этой прекрасной лирической книги был уже тяжело болен и не знал, что эта его книга — последняя книга. 7 июля 1945 года Саломея Нерис не стало.

Да, Саломея Нерис была и остаётся в сознании её многочисленных читателей и почитателей во всём Советском Союзе истинным поэтом, поэтом с большой буквы, таким поэтом, который не может не петь, когда поёт, борется, смело идёт вперёд его родной народ. Саломея Нерис не побоялась того, что её поэтический жанр поглотит якобы только для так называемой «чистой лирики», для лирики «вечных тем». Она сумела свой лирический жанр сделать голосом народной души, народной жизни. В чём же заключаются особенности её музыки и в чём

содержание её творчества, как оно сложилось в её последних поэмах и книге «Мой край»?

Стих Саломеи Нерис восходит по своей структуре к народным литовским дайнам. Но в поэтике Нерис почти лет (если не считать её сказки и отдельных стихотворений) непосредственных фольклорных оборотов или наглядных влияний народного стиха (как у некоторых других литовских поэтов, например Гира). Однако самый лиризм Нерис, мелодичность её стиха, да, наконец, самый круг её тем, — всё это несомненно сложилось на почве народной литовской поэзии. Главным лирическим героем Саломеи Нерис является трудящийся человек, чаще всего крестьянин. Безымянные творцы дайн воспевали свою родину, её озёра, реки, леса, зверей и птиц, выражали своё горе из-за угнетения народа немцами, помещиками, плакали о сиротах, восторгались своими богатырями, радовались ярким краскам драгоценных камней, платьев, цветов. Этим же чувством красоты родной природы, народными печальми и радостями живёт и поэзия Саломеи Нерис. В ней больше всего подкупает удивительная искренность её голоса, душевность её лирической беседы с читателем. Это «поэзия сердца», сердца, которое бьётся в унисон со всей народной жизнью.

Такова её «Поэма о Сталине». Это — не эпическое повествование, но именно лирическая поэма, состоящая из нескольких отрывков, связанных между собой не столько сюжетно, сколько общностью настроения, развитием одной идеи. Это идея народного освобождения, воплощённая в великом вожде советских людей — товарище Сталине. В первой части поэмы Нерис обращается к своей родине с вопросом: «Чья ты, земля, чья ты?» «Ты горевала, трудовая, окровавленная Литва!» В те времена «в сердце древнего Кавказа, у хребтов, повитых снегом, в добрый час родился мальчик, чья судьба — судьба вселенной». Вторая глава поэмы посвящена детству и юношеским годам того, кто «богатырскими плечами проломит в солнцу двери». В третьей главе на фоне сибирской ссылки Сталина («там одиночеством и стужей своё ты мужество ковал»), рисуется нарастающее социалистической революции в России. Следующая глава говорит о том, как жил народ Литвы под пятой буржуазного правительства, в соседстве с вольной Советской страной:

«И солнце Ленина и Сталина  
Над человечеством возшло,  
Литва ждала, глядела валь она.  
Но тьма давила тяжело.  
Пам были все пути заказаны,  
И Родина была тюрьмой,  
И были руки крепко связаны,

И вся страна была немой.  
Казалось, воля так близка,  
Там, за кордоном, рядом с нами!..  
Мы на неё издаലെка  
Смотрели жадными глазами.  
Лучились там такие дали!  
Но даже имя той страны  
Произносить нам запрещали  
Тупые, злобные паны».

Заключительная часть «Поэмы о Сталине» посвящена освобождению литовского народа, приходу советских войск — «навсегда близкими, родными красноармейцы стали нам»:

«Нас греет сталинское пламя,  
Открыл ворота к солнцу он!  
Земля с цветущими полями.  
Кладёт ему земной поклон.  
О нём везде легенды снова  
Творит народная молва,  
И славит Сталина родного  
Освобождённая Литва!»

«Поэма о Сталине», написанная искренне, с волнением и с любовью, получила всенародную популярность в Литве. Эта поэма явилась первым подлинно советским произведением не только литовской, но и литературы других прибалтийских республик. Она сыграла большую роль в политической, идейной перестройке литературно-художественной интеллигенции Литвы.

Лирические стихи Саломеи Нерис, собранные в книге «Мой край», делятся на несколько разделов: «Пути-дороги отрезаны», «Не гасни, огонёк», «Сестра голубая — Виляя», наконец «Разные стихи». В первом разделе сгруппированы стихи Нерис, написанные во время Отечественной войны. Сюда включены стихи о Родине, с которой поэт находится в разлуке. Это песенная дума о родимом народе, об озёрах, реках, красоте литовской природы, которая сливается с представлением о долях этого края — мужественных, трудолюбивых, непокоряющихся врагу. С большой силой Нерис выражает своё чувство любви к родине».

«Страдая, плача, негодуя,  
Живёшь врагов работою.  
О, сотни миль пешком пройду я.  
Чтоб свидеться с тобою».

Ряд стихотворений посвящён борьбе литовских партизан против своих вековечных врагов — немецких захватчиков. Таково, например, написанное в духе народных песен, стихотворение «Соколята-братья»:

«Соколята-братья, где вы?  
Эй, дубки лесные, где вы?  
Сосны машут мне ветвями,  
Братья, я иду за вами».

Одно из стихотворений этого цикла по-

священо Марии Мельникайте — героической дочери литовского народа, бесстрашной партизанке, которой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Одним из лучших стихотворений этого цикла является небольшая поэма «Партизанка». В этом стихотворении повествуется о том, как женщина-учительница, у которой немцы убивают ребёнка, становится беспощадной мстительницей, наводящей ужас на палачей литовского народа.

В стихах Саломеи Нерис, посвящённых разлуке с Родиной и борьбе литовского народа с немцами, сильно и уверенно звучат мотивы гнева, мужества, но в них в то же время громко говорит о себе и горе. Это горе матери перед телом убитого немцами сына, горе людей, потерявших кров, это горький дым пожарнич, разорение, мука. Это, наконец, тоска человека, разлучённого со своей Родиной и своими близкими:

«Как часто, как часто Литва  
На белые вёсны глядела,  
А нынче твоя голова  
Поникла от дум, поседела.  
На ясной заре соловьи  
Звенели над кущами сада,  
А нынче дороги твои  
Затопчут чужие отряды» (1943).

Хорошо сумела передать писательница отношение литовского народа к Советской Армии, к советским людям, принесшим освобождение Литве:

«Русские! Липь вас не утравил он,  
Дымом дышавший дракон войны.  
Только вам его сразить по силам,  
Только вы чудовищу страшны!»

Во втором разделе — «Не гасни, огонёк» — стихи по существу продолжают патристическо мотивы первого раздела. Тут обращают на себя внимание стихи «Ленин не умрёт», «Сталину», «Ты сын войны», «Мой рядовой», «Под Сталинградом» и т. п. Ненависть к врагу, сознание силы и правды народной, гордость своей слитностью с великим советским народом — всё это придаёт лирике Нерис подлинную политическую силу. Вслед за Маяковским и Багрицким, которые своё поэтическое слово, свою песню поднимали как своё оружие, Нерис восклицает: «Пусть голос песенных колонн покроет голос пулемёта!»

«И пусть возмездия напел  
Свистит отравленной стрелою,  
И расчёт врага твой гнев,  
Смертельной захлестнёт петлёю.  
Припомни все свои мечты.  
Пой в несмолкаемой тревоге.  
А смолкнешь — станешь камнем ты,  
Тебя затопчут на дороге!» (1942).

В цикле «Сестра голубая — Вилия» собраны стихи, написанные уже после освобождения Литвы от немецких захватчиков, стихи, исполненные радости, счастливого волнения от встречи с Родиной: «Янтарное шумит и плещет море, навстречу, волнуясь, катит воды. О, ветры, ветры на родном просторе, вы братья завоёванной свободы!» В стихотворении «Когда буду далеко» поэт с глубокой любовью вспоминает своё пребывание в России, в Советской стране, в годы Отечественной войны. И Москва — столица советских народов — зовущим маяком загорается в её сердце:

«Москва, от тебя уже буду далёко,  
У тихого очага,  
А ты засияешь, как солнце с востока,  
Как солнце ты мне дорога!»

В последнем разделе собраны стихи разных лет; в том числе и стихи 30-х годов. Среди них прелестны лирические стихи, рисующие литовскую природу. Нерис, присуще очень тонкое восприятие жизни, природы: весеннего расцвета, осенней печали и увядания, поэзия леса, полей, деревенского труда. В этих стихах ранних лет преобладающим мотивом является чувство нежной, хрупкой красоты, присущей цветам, детям, закатным краскам и т. п. Такие её стихи «Моё дитя» и «Одуванчик»,

но невольно напоминающие «Колокольчики мои, цветники степные» А. К. Толстого:

«Одуванчик мой, сиротка...  
Жалко мне головки детской,  
Жаль своей весны короткой,  
Что развеял ветер дерзкий».

Сравнивая эти стихи со стихами последних лет, видишь, какой большой путь прошла Саломея Нерис, став советским поэтом. Обратившись к социальной теме, Нерис выросла в идейном отношении, и горизонты её поэзии широко раздвинулись. Саломея Нерис из лирика так называемых «вечных тем», из лирика народных печалей сумела стать певцом народной борьбы, советским патриотом, певцом беспощадной расправы с немецкими захватчиками, певцом любви к нашей советской Родине и её великому вождю товарищу Сталину. Такие стихи, как «Поэма о Сталине», поэма «Мария Мельниклите», стихи «Партизанка», «Мой край», «Сталину», «Ленин не умрёт», «Соколята-братья», «Мать красноармейца» и другие, останутся жить в советской поэзии, как живут они сейчас в литовском народе. Саломея Нерис сделала большое дело для литовской и всей советской литературы. Пример её славной жизни, её самоотверженного литературного труда останется в памяти советских людей и ещё долгие годы будет вдохновлять молодёжь.

## «Времена года» Донелайтиса\*

Кристионас Донелайтис (1714—1780) был сыном литовского крестьянина, бедного и гонимого. Он окончил Кенигсбергский университет, был учителем и пастором, но навсегда остался верным своему народу и своей социальной среде.

Он жил в «Малой Литве», захваченной пруссаками, в трудные времена для литовского народа. Литовцы были низведены до положения крепостных, пруссаки интенсивно онемечивали литовские земли, литовские крестьяне изнывали под двойным гнетом — и национальным и социальным; они вымирали от голода, от повальных моров. И вот в этих-то исторических условиях, в затерянном Толминкьемисском приходе, вдали от литературных и культурных центров, никому не известный Кристионас Донелайтис создаёт замечательную поэму «Времена года». Эта поэма, принесшая её автору славу величайшего поэта литовского народа, вышла в свет лишь в 1818 году, через тридцать восемь лет после смерти поэта и через полвека со времени написания поэмы.

«Времена года» К. Донелайтиса — в высшей степени оригинальное и самобытное явление. Автор её был человеком образованным, и поэма носит на себе следы воздействия классицизма XVIII века, но особые и национальные и социальные условия придали ей неповторившиеся нигде особенности. Самобытность и поэтическая сила «Времени года» заставляют уделить этой литовской поэме особую и отдельную страницу в истории литературы, и мы вправе сказать, что без учёта этого художественного памятника наше представление о литературном движении XVIII века останется неполным, но всесторонним, хотя европейский и русский классицизм представлен многочисленной плеядой славных и разнообразных дарований, а Донелайтис был затерянным в глуши безвестным литовцем.

«Времена года» — это произведение классицизма XVIII века. Эта поэма рационалистична, назидательна, методы типиза-

ции, применённые в ней, заимствованы из литературных канонов столетия, в котором она появилась. Герои Донелайтиса — не схемы — о нет! — но в то же время каждый из них является носителем одной какой-либо господствующей черты, как это обычно бывало почти у всех европейских классицистов: Блаучюнас — пьяница, Слункюс — лентяй, Дочис — забияка, Причкус — благоразумен и умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Сельмас, набожен, Эскис — весельчак, Кризас — бережлив и хозяйственен.

Однако вслед за этим в произведении Донелайтиса выступают такие качества, каких не знает ни одна поэма XVIII века. Не знаем точно, была ли известна Донелайтису написанная в том же XVIII веке и носящая то же название, что и его книга поэма Джеймса Томсона. Вероятно, была известна, потому что «Времена года» Томсона были написаны на несколько десятилетий раньше, они широко были распространены и оказали большое влияние на другие европейские литературы, в том числе и на немецкую. Ряд аналогий можно провести между обоими одноимёнными произведениями. Глубокое чувство природы, сочувствие к страданиям бедняков, осуждение равнодушия богатых протягивают нити из одной книги в другую.

Героями поэмы Донелайтиса являются крепостные крестьяне — факт небывалый, почти невозможный в поэме XVIII века, где действующими лицами выступали почти исключительно представители знатных, господствующих, владетельных общественных слоёв. Герой поэмы, согласно правилам классицизма, — человек, накладывающий свою печать на судьбы государства, управляющий историческими событиями, а чем же управлял, что определял крепостной мужик, который и за человека-то не считался. А Донелайтис считает своих персонажей людьми, притом он не пригибается к ним, как старший к младшим, а просто органически, по своему жизненному опыту, знает, что они люди, человеки, и иначе он о них и помыслить не может, он равен с ними, это не только его паства, они его друзья, его товарищи: его объединяет

\* Кристионас Донелайтис, «Времена года», Поэма, М., ОГИЗ, 1946.



.. Эта тирада вложена автором в уста старого Бужаса. Если это похоже на правдоверие, то на «правдоверие» тех размахивавших библией протестантов, которые спрашивали: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, то кто был баринном, а кто крепостным?» Донелайтис сам не делает никаких мятежных выводов из своей поэмы, но **возможность** таких выводов в ней заключена.

Вся жизнь крестьянина проходит в труде. Львиная доля плодов труда крепостного крестьянина достается не ему, а помещику, но без труда самое существование крестьянина было бы невозможно. Смена времён года обозначает смену фаз крестьянского труда — поэма Донелайтиса и рисует последовательное чередование крестьянских работ в зависимости от чередования весны, лета, осени и зимы. Поэтому автор и назвал свою поэму «Времена года». Она исполнена пафоса труда, она рисует труд как основное проявление человеческой жизнедеятельности, она учит любви к труду, она полна негодования по адресу бар, презирающих труд, она показывает, что труд, презираемый господствующими, кормит и одевает самих же бар-гуняядцев:

«Барин иной захудалый хохочет, на бурасов глядя,  
Брезгует к ним прикасаться и хлопоты их презирает.  
Разве мозгляк этот мог бы без бурасов так надуваться?  
Разве без наших трудов обжирался бы он широгам?»

Поэма Донелайтиса полна правды, жизни, простоты и естественности. Она реалистична по самому своему содержанию. Её содержание не уместается в условных формах поэзии XVIII века. Классовая природа её действующих лиц и точка зрения на них самого автора делают Донелайтиса стихийным реалистом.

Кристионас Донелайтис идеализирует патриархальную литовскую старину, он скорбит о чистоте стародавних литовских нравов, утраченных его современниками. Однако обращение Донелайтиса к прошлому, к патриархальной отсталости не носит принципиального характера. Она вынуждена историческими обстоятельствами. Дело в том, что новизна, с которой он сталкивался, была «новизной» насильственной германизации. Крушение патриархальной чистоты в тех условиях было следствием вытеснения литовской нацио-

нальности, и подражание «новому» было подражанием разнузданным правам немцев-колонизаторов. Донелайтис с горечью отмечал:

«Много холуев таких частенько встречается нынче,  
Что, от литовцев родясь, говоря на литовском наречьи,  
Нам, на великий позор, в пример себе немцев избрали.  
Много меж нами таких, что, нарезавшись водки чрез меру,  
Песни немецкие петь приучаются и сквернословить  
И, словно немцы, торчат в кабаках с утра до полночи...»

Донелайтису трудно было довериться будущему. На что он в середине XVIII века мог рассчитывать? Откуда он мог ожидать освобождения своих земляков? Что могло обеспечить опору их национального и социального существования? Будущее грозило бедами и утратами, и он обращался с мольбой к богу и с надеждой в прошлое, в котором литовцы ещё не были вытеснены с тех земель, которые были их стародавним достоянием. Долгая и трудная история последующих времён показала, что свободу и благоденствие литовскому крестьянству и литовскому народу вообще мог обеспечить только исторический прогресс, приведший к выработке научно обоснованного социалистического идеала и программе ленинско-сталинского равноправия и братства народов.

Перевод и простосердечной и величавой поэмы Донелайтиса на русский язык весьма своевременен. Перевод (сделанный Д. Бродским) знакомит русского читателя, а вместе с тем и читателей всех других советских народов с замечательной страницей из истории литовской литературы и определённым моментом истории литовского народа. Книга эта развивает любовь и сочувствие к литовскому народу, история которого столь давно и столь тесно переплетена с историей русского народа. Книга эта показывает, что литовская литература нашла **свой голос** в самый момент своего зарождения. Это был голос трудового и обездоленного человека, искавшего лучшей доли.

Книга сопровождается статьёй проф. Ю. Жюгжды «Судьба западных литовцев и Кристионас Донелайтис» и статьёй проф. В. Миколайтиса-Путинаса «Поэма Кристионаса Донелайтиса «Времена года».

## СМЫСЛ ДВУХ ОШИБОК

Критические заметки

## I

Раскрыв журнал «Знамя» № 11—12 за 1946 г., мы неожиданно узнали, что наша сегодняшняя советская поэзия не является политической. В статье «Разговор с продолжением» критик Д. Данин написал буквально следующее:

«...Политическая поэзия, традиции которой всегда были так сильны в советской литературе, после войны почти бесследно исчезла со страниц толстых журналов и стихотворных сборников. И даже больше того—она почти исчезла со страниц наших центральных газет». Тов. Данин всерьёз утверждает, что всё сколько-нибудь яркое, что было в области политической поэзии, в последнее время «исчерпывается сатирическими подписями С. Маршак под карикатурами Кукрыниксов».

Как выясняется дальше, под политической поэзией Д. Данин подразумевает лишь «поэзию непосредственного отклика на события, происходящие в мире и живо волнующие каждого современника, открывающего утром газетные страницы».

Должны признаться, событием, живо нас взволновавшим, оказались эти строки Д. Данина. Может быть, мы ошиблись, и к нам в руки попал номер журнала за 1936 год, за 1926 год? Может быть, вместо подписи «Д. Данин» там стоит подпись «Д. Тальников»? Кажется невероятным, чтобы современный критик так решительно сбросил со счетов всё развитие советской поэзии как поэзии политической и вернул нас к стародавним ученическим спорам, давно решённым в теории и на практике!

Д. Данин сводит политическую поэзию к отклику на события, к подписи под плакатом. Он пользуется определениями, которые в наше время, применительно к советской действительности и советской литературе, не только абсурдны, но и реакционны.

Хочет того или не хочет товарищ Данин, но фактически он разделяет нашу поэзию

на политическую и неполитическую, отводя последней неограниченное место в литературе.

Конечно, Д. Данин ратует за «политическую поэзию», но то, как он её понимает, то, к чему он её сводит, совершенно игнорирует твёрдо установившееся у нас понимание политики как жизненной основы советского общества. Вот почему из политической поэзии Д. Данин делает придаток к поэзии, малозаселённую окраину литературы.

Между тем, политика нашего государства и коммунистической партии составляет подлинно жизненную основу всего советского строя, всего идейного и нравственного склада советского народа, всей деятельности советских людей. Она формирует их общественные отношения, их взгляды в любой области, их моральное поведение; их эстетические вкусы. Д. Данин закрывает глаза на то, что и любовь, и пейзаж, и всё то, что отбрасывается им из круга политической поэзии, давно стало в советской поэзии выражением общественного, идейного, политического сознания советского человека. Для нас не существует советской поэзии без социалистического знака, без коммунистических признаков.

«Итти вперёд, в России XX века, завоевавшей республику и демократизм революционным путём, нельзя не идя к социализму, не делая шагов к нему...», — писал В. И. Ленин в сентябре 1917 года<sup>1</sup>. С тех пор прошло тридцать лет. Бессмертные идеи ленинизма овладели сознанием миллионов, стали материальной силой, вдохновили советских людей на борьбу за построение социализма. Сталинская Конституция — конституция победившего социализма — стала основным законом нашей жизни. Советским людям враждебно всё антикоммунистическое, будь то в практических делах или в научно-творческой области. В коммунистическом идеале черпает наш народ новые и новые силы.

В отделе «Трибуна писателя» все статьи печатаются в порядке обсуждения.

<sup>1</sup> Том XXI, стр. 187.

Политика советского государства—понятие не частное для советского человека, не узкое, а всеобщее, всеопределяющее. Вот почему партия требует от писателей нетерпимого отношения к любому проявлению аполитичности в литературе. Вот почему каждый советский писатель обязан относиться к любой теме, которую он трактует (будь то тема любви или пятилетки), как к политической, то есть в интересах советского государства, с позиций коммунизма.

Писатели—инженеры человеческих душ, воспитатели общественного сознания. Они должны быть такими во всех жанрах и во всех темах.

Вскрывая ошибки и недостатки, имевшиеся в журналах «Звезда» и «Ленинград», товарищ Жданов говорил:

«Корень этих ошибок и недостатков заключается в том, что редакторы названных журналов, деятели нашей советской литературы, а также руководители нашего идеологического фронта в Ленинграде забыли некоторые основные положения ленинизма о литературе. Многие из писателей и из тех, которые работают в качестве ответственных редакторов или занимают важные посты в Союзе писателей, думают, что политика — это дело правительства, дело ЦК. Что касается литераторов, то не их дело заниматься политикой. Написал человек хорошо, художественно, красиво — надо пустить в ход, несмотря на то, что там имеются гнилые места, которые дезориентируют нашу молодёжь, отравляют её. Мы требуем, чтобы наши товарищи, как руководители литературы, так и пишущие, руководствовались тем, без чего советский строй не может жить, т. е. политикой, чтобы нам воспитывать молодёжь не в духе наплевизма и бездейности, а в духе бодрости и революционности».

Как же можно сводить политическую поэзию только к сатирическим подписям С. Маршак под карикатурами Кукрыникова, только к непосредственным откликам на события дня?

Д. Данин умалывает значение и роль политики в советской поэзии как её насущного жизненного начала, как её мировоззрения, а возрождает, по сути дела, старое и глубоко реакционное деление литературы на так называемую «высокую — аполитичную» и так называемую «низкую — газетную», политическую. Он не ориентирует, а дезориентирует нашу поэзию, ведёт её не вперёд, а назад.

С порочных эстетских позиций Д. Данин огулом критикует всех наших поэтов за то, мол, что они не пишут «политические стихи», понимая под ними дань «злобе дня», наряду с «высокой», «вечной», надо думать, не политической поэзией.

Автор статьи «Разговор с продолжением»

ссылается на Маяковского: оп-де один делал «в области политической поэзии» больше, чем все советские поэты делают сегодня. Масштабы деятельности Маяковского известны и могут служить примером служения поэта обществу. Но как бы лестно для него ни выглядело признание Д. Данина, заметим, что политическая поэзия была для Маяковского не областью. Он защищал нечто другое, противоположное тому, что защищает Д. Данин.

Политическая активность стихов Маяковского, их идейная насыщенность и полнота — нечто большее, чем «область». Это главная и вездесущая особенность поэта новой, советской формации. Таким поэтом новой формации и был Маяковский.

В разные времена разные поэты по-разному определяли своё место в жизни. Пупкинский «Пророк» и «Памятник» — это одна точка зрения на роль и место поэта. Тютчев же видел назначение поэзии в том, что «она с небес слетает к нам — несбывшая к земным сынам» и на бунтующее море... «лёт примирительный слей»<sup>1</sup>. Это другая точка зрения на роль поэзии и т. д. и т. д.

Реакционность взглядов и практики поэтов декаданса заключалась не только в том, что их взгляд на жизнь был пассивен, созерцателен, а в том, что они стремились увести искусство от реальной жизни, проповедывали ложную, антинародную теорию «искусства для искусства» и своим «аполитизмом» поддерживали политическую реакцию.

Маяковский яростно боролся против реакционного понимания искусства. После завоевания власти трудящимися поэт, заступив рукава, взялся за создание нового, активного искусства, — участвующего в строительстве общества. Когда редакция наших газет просила у него стихи на «сегодняшнюю» тему, он часто отвечал: «Знаю, знаю, у меня уже половина написана». Просьба редакций не была для Маяковского неожиданностью. Она отвечала его собственному замыслу, его общественным интересам.

Понимая, что литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, колёсиком и винтиком одного единого социалистического механизма, он поставил своё творчество на службу социалистической революции, на службу советскому народу. Недаром формулировки взглядов на роль искусства Маяковский черпает из высказываний В. И. Ленина и особенно из статьи «Партийная организация и партийная литература». Он видел миссию поэта в том, что-

<sup>1</sup> Стихотворение это было написано в 1848 г., когда произошло Французская революция. Нетрудно догадаться, что подразумевал под «бунтующим морем» Тютчев.

бы быть народоводителем и одновременно народным слугой. Поэтическое слово было для него полководцем человеческой силы, оружием в борьбе.

«В чем насущность сегодняшней поэзии?»

«Да здравствует социализм!» — под этим лозунгом строит новую жизнь политик.

«Да здравствует социализм!» — этим, взвышенней, идёт под дула красноармеец.

«Днесь небывалой сбывается былью социалистов великая ересь», — говорит поэт.

Если б дело было в идее, в чувстве, — всех троих пришлось бы назвать поэтами. Идея одна. Чувство одно.

Разница только в способе выражения.

У одного — политическая борьба.

У второго — он сам и его оружие.

У третьего — венок слов»

Так утверждал Маяковский ещё в 1918 году. А в 1929 году, натравливая «чёрную» литературную кость на белую, он писал: «Поэзия — путь к социализму».

Он говорил на общемосковском собрании читателей «Комсомольской правды» 21 февраля 1930 года: «Пора, товарищи, нам переключить уважение к литературе из эстетического отношения в общественное, в социальное, в политическое».

Вот позиция Маяковского!

Литературные взгляды Маяковского, в частности, определение места поэта в рабочем строю, существовали не сами по себе, не вне его поэтической практики; для чего характерно единство взглядов и практики.

Маяковский остаётся политическим поэтом во всех своих стихах, независимо от их темы, в тех, которые были непосредственным откликом на события дня, и в тех, которые таковыми не были.

«Блак будто

годы

взял за чуб я:

— Станьте

и не шлите-ка! —

рукою

своею собственной

щупаю

бестелое слово

«политика».

Для других это слово было действительно «бестелым». Маяковский же ощущал его, как жизнь, и оно полно было для него жизни.

По Д. Данину выходит, что Маяковский писал «Хорошо», как политический поэт, а в стихах о любви, о море, о молодости он переселялся в тихое лоно поэзии «для души». Но вспомним, как Маяковский писал о любви.

Есть у него стихотворение, которое так и называется «Любовь».

«Надо голос

поднимать

за чистоплотность.

Отношений наших

и любовных дел.

Надо обязать

и жизнь мужчин и женщин

словом нас объединяющим

«Товарищи».

В другом стихотворении («О сущности любви») мы находим то новое нравственное, этическое начало, которое способно «подымать и вести и влечь», которое делает человека духовно богаче и красивее.

«Любить

это значит:

в глубь двора

вбежать

и до ночи граблей,

блестя томором,

рубить дрова,

силой

своей

играючи...»

Для поэта любовь — могучий стимул жизни и созидания: «От любви надо мосты строить и детей рожать».

А разве в поэме «Про это», посвящённой ей и мне, не слышен голос советского человека, которому ненавистно пошлое благоразумие мешан, всё, «что в нас ушедшим рабским вбито», восставшего против «любовислужанки» и всей своей огромной «сердечной мерою» верующего в нашу обновлённую, перестроенную землю.

Маяковский прав, утверждая, что

«...битвы революций

посерьёзнее «Полтавы»,

и любовь

пограндиознее

онегиинской любви».

Пограндиознее — значит не просто «больше». Любовь стала содержательней; она освобождена от лживых пут религии и лицемерной буржуазной морали, она равноправна. Говорить о такой любви в противовес романсовой пошлости — значит писать идейные, советские политические стихи о любви. Да, политические! Ибо утверждение коммунистической морали, этики, утверждение новой человеческой личности во всех её проявлениях соответствует жизненным интересам государства и народа. Формирует новое общественное сознание, воспитывает молодёжь в духе высокой нравственности.

Одни стихи о любви вдохновляют, радуют, рождают бодрость, ведут на труд и подвиг, другие опустошают и ожесточают, плodyт ньютиков. Одни стихи — товарищи и помощники, другие — недруги и враги счастья. В этом разница между стихами о любви Маяковского и, например, Ахматовой. Кто скажет, что это не политическая разница?

Возьмём такую вечную тему, как «равнодушная природа». Откройте стихотворение Маяковского «Атлантический океан». Что увидел поэт в бескрайнем водном пейзаже?

«Волны  
будоражить мастера: —  
детство выплеснут,  
другому —  
голос милой.

Ну, а мне б  
опять  
знамёна простирать.

Вон пошло,  
затарактелю,  
загромило...»

И поэт увидел, как «волны клянутся всеводному ЦИКу оружие бурь до победы не класть», как шумят митинги волн, и могучий, страстный, живой океан для Маяковского — это

«По шири,  
по делу,  
по крови,  
по духу,  
мой революции  
старший брат».

Вспомните лирику молодости у Маяковского:

«Мало быть  
восемнадцати лет.  
Молодые —  
это те,  
кто бойцовым  
рядам поределым  
скажет  
именем  
всех детей:

«Мы земную жизнь переделываем».

Примеры можно множить и множить, вывод остаётся один: для Маяковского вся поэзия была и не могла не быть поэзией политической.

Д. Данин делает различие между политической и идейностью. И это — явное заблуждение. В наших условиях между упомянутыми двумя терминами нет и не может быть различия, так как руководящим принципом политики советского государства служит большевистская идейность. Для нас слова «безидейный» и «аполитичный» — синонимы. И если справедливо, что «вопрос о современности лирики — это вопрос об её идейности», — как пишет т. Данин, — то также справедливо, что идейность не есть нечто аморфное, а живое, активное, политическое понятие. Народ наш приемлет не всякую идейность, а только большевистскую, служащую интересам народа — интересам коммунизма.

Маяковский не делал различия между идейностью и политической. Для него понятия эти едины и слитны. Недаром он писал:

«Стихотворение должно иметь в себе полный политический идейный заряд».

Понимая политику не примитивно, не конъюнктурно-вульгарно, Маяковский с её высот обозревал «своих стихов войска», проверял их боеспособность:

«Не-хочу,  
чтоб меня, как цветочек с полян,  
рвали  
после служебных тягот.  
Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан,  
Мне давая  
задания на год».

Вот что он хотел и чего он не хотел. Вот его «плохо» и его «хорошо»:

«Я хочу,  
чтоб к штыку  
приравняли перо.  
С чугуном чтоб  
и с выделкой стали  
о работе стихов  
от Политбюро,  
чтобы делал  
доклады Сталин».

Не странно ли, что когда партия ведёт советскую литературу на линию огня, когда каждое удачное произведение приравнивается к выигранному сражению, находятся люди, которые отгораживают так называемую лирику от политики, противопоставляют идейность политике, сводят политическую поэзию только к стихотворным текстам под карикатурами и к откликам на злобу дня. Тем самым проблему максимального насыщения нашей поэзии политикой, подъёма её идейного уровня, проблему борьбы за более высокое коммунистическое сознание нашей поэзии, за более высокое мировоззрение поэта они ставят с ног на голову.

Д. Данин не одинок. То, что он проповедует в статьях, другие утверждают в стихах.

«...Так ты пойдёшь, немедленно и гордо.  
Как полководец сквозь железо лет,  
И станешь безошибочным и твёрдым,—  
Но тут уже кончается поэт». —  
убеждает нас один молдой поэт, уверенный, что поэзия кончается там, где начинается политика.

Всё это вредный вздор, опасный репидив. Его необходимо не столько оспаривать, сколько разоблачать.

## II

С ног на голову поставлена и другая проблема — наше понимание традиций, наше к ним отношение. И не только это!

Автор «Заметок о поэзии А. Твардовского» Н. Вильям-Вильмонт решил прежде всего определить различие между прозой и поэзией. Понадобилось это по той причине, что до него «об условности границ, отделяющих прозу от поэзии, говорилось не раз, но, к сожалению, почти всегда недостаточно вра-

зумительно». Н. Вильям-Вильмонт, отнюдь не страдающий скромностью, посчитал своим долгом прежде всего внести сюда вразумительность.

С этой целью он и привлёк в качестве безусловного авторитета Вильгельма Гумбольдта, чьё суждение всегда казалось Н. Вильям-Вильмонту «весьма плодотворным». Что же вразумительного нашёл автор «Заметок» во взглядах В. Гумбольдта? Мы читаем:

«...По его (т. е. В. Гумбольдта.— С. Т.) утверждению поэзия «воспринимает действительность в её чувственных проявлениях такой, какой она извне и изнутри открывается нашему чувству, отнюдь не заботясь о том, в силу чего эта действительность, более того, преднамеренно игнорирует эту её сторону» (курсив наш.— С. Т.) Напротив, проза «отыскивает в действительности её корни, входящие в самую почву бытия, нити, связующие её с этой почвой», стремится к воссозданию объективной связи явлений».

Н. Вильям-Вильмонт находит в этом чудовищно идеалистическом взгляде немецкого учёного нечто такое, что, по его мнению, способно прояснить проблему. Правда, он считает, что положению Гумбольдта свойственен некоторый «схематизм». Мол, «здесь обозначены лишь два полюса в искусстве слова и упущено всё то, что находится «между этими полюсами». Но «эта схематичность сама собой отпадает, коль скоро даёшь себе отчёт во взаимном оплодотворении прозы и поэзии».

О каком схематизме может идти речь и о каком зерне истины, которое-де остаётся, если всё положение Гумбольдта абсолютно реакционно? На одном из его «полюсов» существует глупая и неземная поэзия, а на другом — неподвижная проза, являющаяся слепком с действительности. Это и есть то «вразумляющее», то «весьма плодотворное», что вошёл в разговор о поэзии и прозе Н. Вильям-Вильмонт с помощью Вильгельма Гумбольдта, конкретные работы которого в области языковедения представляют известный научный интерес, но чья лингвистическая философия сложилась под влиянием немецких идеалистов.

Однако, дело сейчас не в Гумбольдте, а в Н. Вильям-Вильмонте. Исследуя с помощью филолога-идеалиста творчество А. Твардовского, Н. Вильям-Вильмонт касается проблемы традиций и определяет наше к ним отношение. И здесь он уже самостоятельно вносит нечто столь «вразумляющее», что требует самого серьёзного внимания.

Мы помним известное утверждение «Коммунистического манифеста», что бур-

жуазия превратила в меновую стоимость личное достоинство человека. Она превратила в наёмных работников врача и юриста, священника и поэта, людей науки и искусства. Она сорвала с семейных отношений их трогательно-сентиментальный покров и превратила их в дело простого денежного расчёта и т. д. и т. д. На этом основании Карл Маркс в подготовительной работе для «Святого семейства»<sup>1</sup>, рассматривает уничтожение частной собственности как уничтожение человеческого самоотчуждения и утверждает, что при коммунизме произойдёт возвращение человека к себе как к общественному, то есть человеческому человеку. Маркс пишет, что при капитализме:

«Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и т. д.— это только особенные формы производства, подчиняющиеся его (капитализма.— С. Т.) всеобщему закону.

Поэтому положительное уничтожение частной собственности — этого элемента жизни человеческой действительности — как присвоения человеческой жизни, есть положительное уничтожение, снятие всякого отчуждения, т. е. возврат человека из религии, семьи, государства и т. д. к своему человеческому, т. е. общественному, бытию».

Кажется, всё здесь абсолютно ясно.

Но вот мы читаем статью Н. Вильям-Вильмонта, в которой он упрекает критиков А. Твардовского в «невежестве чувств» и во внутреннем непонимании самой сути нашей культуры, нашего быта. По адресу же таких критиков Н. Вильям-Вильмонтом сказано буквально следующее:

«Очевидно одно: они не понимают, что марксово возвращение человека к человеку при коммунизме на практике осуществляется не иначе, как через предварительное (!) обращение наций к лучшим своим основам, к лучшим своим национальным народным традициям».

Н. Вильям-Вильмонт утверждает, что именно в этом и состоит суть сталинской постановки национального вопроса и её глубокий философский смысл.

Так ли это на самом деле? Не в очередной заблуждение впадает автор «Заметок»?

В статье «Марксизм и национальный вопрос», написанной И. В. Сталиным ещё в 1913 году, сказано другое, например, следующее:

«Национальный вопрос на Кавказе может быть разрешён лишь в духе вовлечения запоздалых наций и народностей в общее русло высшей культуры. Только такое решение может быть прогрессивным и приемлемым для социал-демократии»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Том III, стр. 622

<sup>2</sup> Том II, стр. 351

Товарищ Сталин писал в этой статье о необходимости втягивать запоздалые нации в общее культурное развитие, помогать им выдти из скверных мелконациональной замкнутости. Он направлял их вперёд — к благам высшей культуры, — а не назад — к патриархальным основам и отсталым традициям.

Откуда взял Н. Вильям-Вильмонт, что борьба за коммунизм предусматривает какой-то период «предварительного обращения» наций к своим лучшим первоосновам, идеализацию отсталости? Ведь любому нашему школьнику известно, что с первых дней советской власти мы провозгласили ленинско-сталинский принцип культуры национальной по форме и социалистической по содержанию, то есть высшей социалистической культуры. Ни о каком «предварительном периоде» обращения к «основам» и «традициям» не шла речь.

Социалистическая культура предполагает критическое осознание всего культурного наследия. Мы глубоко ценим и чтим лучшие народные традиции. Но мы смотрим на них, как на трамплин для прыжка вперёд, а не как на магнит, который тянет народ наш назад.

Не поняв этого, Н. Вильям-Вильмонт пишет дальше следующее:

«...На наших глазах происходит возвращение русского человека к лучшему русскому человеку...»

К какому же лучшему русскому человеку возвращается наш советский русский человек? Мы знаем, что Чернышевский дал роману «Что делать?» подзаголовок: «Повесть о новых людях». Лучшие представители русского народа всегда мечтали о новых людях — людях будущего. В этом как раз и состоит великая традиция передовой русской литературы. Разве советские люди не являются этими новыми людьми? Разве в нашей стране не выросло новое человечество? Как выжотся утверждение Н. Вильям-Вильмонта с тем, о чём так выразительно говорил недавно тов. Жданов:

«Мы сегодня не те, что были вчера, и завтра будем не те, что были сегодня. Мы уже не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот».

Этого не понял или не хотел понять Н. Вильям-Вильмонт, и отсюда вся порочность его позиции.

Далее автор «Заметок» пишет, что-де некоторые недалёкие наши критики, встретившись с Василием Тёркиным, то есть с реальным новым человеком, порождённым нашим социалистическим обществом, не опознали его только потому, что он чем-то напомнил им толстовского Платона Каратаева. «Но чем же именно?» — спрашивает Н. Вильям-Вильмонт. И отвечает: «Да как раз тем, чем и должен был напомнить чело-

век нашей преобразённой социализмом страны носителя утопической мечты Толстого: прекрасными свойствами непокалёченной русской души, подлинной спайкой с народом, с коллективом».

Вот оно что значит по Н. Вильям-Вильмонту «возвращение русского человека к лучшему русскому человеку...» к Платону Каратаеву!

До сих пор мы, читая Ленина, были убеждены в том, что утопические мечты Льва Толстого, его грубо тенденциозная проповедь ласивности — явление глубоко реакционное. Мы были также убеждены в том, что Каратаев и каратаевщина — нечто патриархальное, рутинное, покорное, забытое, терпеливое, всепрощающее, тёмное. Это искалёченная крепостничеством душа русского крестьянина! Графу Пьеру Безухову, попавшему в плен к французам и подвзвляемому сценой жизни, которую ему пришлось наблюдать, Платон Каратаев показался «олицетворением всего русского, доброго, круглого», потому что тот был неспостижим для Пьера. Толстой характеризовал Каратаева: «...Привязанностей, дружбы, любви, как понимал Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил во всем, с чем его сводила жизнь... Он любил свою шапку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом...» Уровень сознания Каратаева — в поговорке, которой он придерживался: «От сумы, да от тюрьмы никогда не отказывайся». Каратаев ничего не знал, кроме своей молитвы. Он говорил Пьеру: «...Рок голсы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытацишь — ничего нету. Так то...» Смирность эта, козность и были для Пьера Безухова «олицетворением духа простоты и правды», чем-то «непостижимым и «вечным». Оно и понятно!

Непонятно лишь, почему эти мысли и чувства стали мыслями и чувствами советского литературного критика. Считать Платона Каратаева олицетворением «непокалёченной русской души» может только человек, который ничего не понимает в марксизме.

И. В. Сталин писал в 1901 г. о крестьянстве: «К сожалению, русское крестьянство ещё забито вековым рабством, нищетой и темнотой, оно просыпается лишь теперь, оно ещё не поняло, где его враг»<sup>1</sup>. Так было почти столетие спустя после 1812 г. — того времени, когда жил Платон Каратаев. А Н. Вильям-Вильмонт хочет убедить нас в том, что Каратаев уже был полон неприязни к угнетателям — господам и военачальникам, ко всем осквернителям крестьянской «правильной» жизни».

Н. Вильям-Вильмонт вспоминает, что Горький «судил и осудил Платона Каратае-

<sup>1</sup> Том I, стр. 22, 23.

ва», как начало, которое преграждало русскому народу дорогу к революции. Это правда. Горький видел в Каратаеве человека, который не только «лишён сознания своей индивидуальности, считает себя ничтожной частью огромного целого», но для которого «мир оправдан весь, со всем его злом, со всеми несчастиями и зверской борьбой людей за власть друг над другом». Он писал, что отношение Каратаева к рабству было тождественно отношению митрополита Филарета, который на вопрос Николая, надлежит ли уничтожить крепостное право, — ответил: «Церковь безразлично, кто сын её — раб или свободный»<sup>1</sup>. Но Н. Вильям-Вильмонт не желает принять такого вывода, он оспаривает Горького, утверждает прямо противоположное ему. Нетрудно заметить, что Горький в своей оценке каратаевщины стоит на ленинско-сталинских позициях, а его критик — на противоположных.

Всё дело в том, что человек, порождённый нашим социалистическим обществом, воспитанный Лениным и Сталиным, ничем не напоминает Платона Каратаева и не должен его напоминать. Почему наш передовой советский крестьянин или колхозный деятель, Герой Социалистического Труда, должен оглядываться на Каратаева, если каратаевщина по своему существу всегда была явлением консервативным, антиреволюционным?

Н. Вильям-Вильмонт оговаривается, что «новое слияние» с народом... бесконечно выше и содержательнее каратаевского». Но и эта оговорка не выдерживает критики. Оно — это слияние — не «выше» и не «содержательнее», а совсем иное, оно отвергает каратаевщину, а не продолжает её. Автор же «Заметок» пытается нам навязать каратаевщину, как ценное наследство, которым мы должны дорожить.

Вся цепь рассуждений критика, от Гумбольдта до Каратаева, понадобилась Н. Вильям-Вильмонту для того, чтобы «объяснить» особенности творчества поэта А. Твардовского. Странный метод критика заключается в том, что он ищет в творчестве поэта «возвращение к лучшему русскому человеку», тенденции, понятные, связывающие образы с прошлым, «традиционным», но отнюдь не интересуется тем, что же новое, советское, социалистическое сумел увидеть поэт в своих героях. Такой метод критики сам по себе представляет определённую концепцию, ставящую вверх ногами задачи нашего литературоведения. Добавим ещё, что критик при

этом оказывает поэту медвежьё услугу, принося в жертву своей ложной концепции действительную значительность и «истинные масштабы» его таланта.

Случайно ли сие? Думаем, что не случайно. Мы имеем дело с определёнными взглядами. Не их ли имел в виду А. М. Горький, когда в докладе на первом Всесоюзном съезде советских писателей обращал внимание на то, что мы не замечаем, проходим мимо «попыток воскресить и ввести в жизнь некоторые идеи народнической литературы»<sup>2</sup>?

Н. Вильям-Вильмонт сделал такую попытку.

Одна из главных черт народничества, как известно, заключалась в фальшивой идеализации русского крестьянина, в вере в самобытность старой России, в восхвалении её былой отсталости как «счастья». В «Заметках», о которых мы ведем речь, очень сильно попахивает этим народническим духом.

Ещё в 1897 г. В. И. Ленин в статье «От какого наследства мы отказываемся», направленной против народников из «Русского богатства», писал, что «народничество является теперь теорией реакционной и вредной, сбивающей с толку общественную мысль, играющей наруку застою и всяческой азиатчине»<sup>3</sup>. Конечно, теперь не сбить с толку нашу общественную мысль. Тем не менее, критикуемые нами вредные и реакционные положения Н. Вильям-Вильмонта нашли место на страницах советского журнала.

\* \* \*

Мы сочли необходимым остановиться на этих двух положениях, содержащихся в статьях Д. Данина и Н. Вильям-Вильмонта, вскрыть их реакционный смысл, по той причине, что ошибки эти не единичны. «Теоретические» высказывания существуют не сами по себе, не в отрыве от литературной практики. Именно поэтому нужно было подвергнуть их обстоятельной критике, несмотря на то, что статьи Д. Данина и Н. Вильям-Вильмонта напечатаны несколько месяцев назад. Следует лишь помнить, что они появились после известных постановлений ЦК ВКП(б) о литературе и искусстве и после доклада товарища Яданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это-то не может нас не беспокоить.

<sup>2</sup> М. Горький. «Литературно-критические статьи». Гослитиздат. 1938, стр. 658.

<sup>3</sup> Том II, стр. 323.

<sup>1</sup> М. Горький «История русской литературы». Гослитиздат. 1939, стр. 292, 293.

## СОДЕРЖАНИЕ

МИХАИЛ БУБЕННОВ. Белая берёза. <i>Роман</i> . . . . .	3
НИКОЛАЙ УШАКОВ. Земля стойких. <i>Стихи</i> . . . . .	59
АРКАДИЙ ПЕРВЕНЦЕВ. В колхозной станице. <i>Рассказ</i> . . . . .	64
ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА. Домик в Батуми. <i>Стихи</i> . . . . .	75

### ИЗ ЛИТОВСКИХ ПОЭТОВ

АНТАНАС БАРАНАУСКАС. Аникшчяйский бор. Перевод Н. Тихонова . . . . .	76
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС. Время. Перевод Г. Титова . . . . .	78
АНТАНАС ВЕНЦЛОВА. Родина и поэт. Перевод С. Мар . . . . .	79
АЛЕКСИС ХУРГИНАС. Горные колокольчики. Перевод П. Шубина . . . . .	79
ТЕОФИЛИС ТИЛЬВИТИС. Как чёрный холмик у норы кротовьей. Перевод В. Державина . . . . .	80
ВАЛЕРИЯ ВАЛЬСЮНЕНЕ. На ветру зазвенели берёзы. Перевод С. Мар . . . . .	80

### ПУБЛИЦИСТИКА

И. ЕРМАШЕВ. Политика Уоллстрита (Статья вторая) . . . . .	81
Генерал-майор Н. М. ЗАМЯТИН. Под стенами Берлина . . . . .	107
М. ПОЛИКАРПОВ и А. СЛАВУЦКИЙ. На дальних трассах. <i>Очерк</i> . . . . .	114
БОРИС КРИНИЦКИЙ. Путешествие по Закарпатыю . . . . .	122
Л. ФРИДЛАНД. Рассказы о больших находках . . . . .	131

### ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

М. ЧАРНЫЙ. А. А. Фадеев . . . . .	144
-----------------------------------	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

С. ЩИРИНА. В борьбе за партийность литературы. «Правда» 1912—1914 гг. . . . .	159
ТИХОН СЕМУШКИН. Русская Америка . . . . .	171
А. ВЕНЦЛОВА и К. ЗЕЛИНСКИЙ. Саломея Нерис . . . . .	176
В. КИРПОТИН. «Времена года» Донелайтиса . . . . .	181

### Трибуна писателя

Семён Трегуб. Смысл двух ошибок (Критические заметки) . . . . .	184
---	-----

Главный редактор — Ф. ПАНФЕРОВ.

Редколлегия: Вс. ИВАНОВ, В. ИЛЬЕНКОВ, М. ИЛЬИН, В. КИРПОТИН,  
Л. ЛЕОНОВ, А. ПЕРВЕНЦЕВ, Б. ПОЛЕВОЙ, Г. САННИКОВ.

Адрес редакции: Москва, ул. «Правды», 24, комн. 533, тел. Д 3-32-37.

---

А—06027. Тираж 63 300. Подписано к печати 27/V 1947 г. Печ. л. 12.  
Изд. № 356. В печ. л. 60 000 зн. Заказ № 1208.

---

Типография газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 5 руб.

# ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВНУТРЕННЕМУ ВЫИГРЫШНОМУ

# 10000

МОЖНО  
ВЫИГРАТЬ:

- 25,000 руб.
- 10,000 руб.
- 5,000 руб.
- 1,000 руб.
- 400 руб.

ВНУТРЕННИЙ  
АЕМ 1938 ГОДА  
НА СУММУ  
10000 РУБ.

АКЦИОНЕРНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОЧЕРЕДНОЙ ТИРАЖ  
**25**  
ИЮЛЯ 1947 года.

ОБЛИГАЦИИ ЗАИМА СВОБОДНО  
ПРОДАЮТСЯ И ПОКУПАЮТСЯ  
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ.

## ПРИБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ ЗАИМА 1938 ГОДА